

Арсений Гулыга

Кант

МОСКВА

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1977

Гулыга А. В.

Кант. М., «Молодая гвардия», 1977.

304 с. ил. (Жизнь замечат. людей. Серия биографий. Вып. 7 (570).

Жизнь Канта — основоположника немецкой классической философии — почти лишена внешних событий, она однообразна, протекает в основном в четырех стенах, за письменным столом. Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего это история самовоспитания — физического и духовного. Девиз Канта «Если ты не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех поколений.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора

Глава первая. Плоды Просвещения

Глава вторая. Наука, действительно нужная человеку

Глава третья. Самокритика разума

Глава четвертая. Идея личности

Глава пятая. Истина, добро и красота

Глава шестая. Вера — надежда. Любовь

Глава седьмая. К вечному миру

Вместо эпилога

Основные даты жизни и деятельности

Краткая библиография

*Алексею Федоровичу Лосеву
с любовью посвящает эту книгу автор*

ОТ АВТОРА

Жизнь философа — написанные им книги, самые волнующие события в ней — мысли. У Канта нет иной биографии, кроме истории его учения. Почти весь свой век он прожил в одном городе — Кенигсберге, он никогда не покидал пределов Восточной Пруссии. Он не искал славы, не добивался власти, не знал ни деловых, ни любовных треволнений. Он не был женат.

Внешняя жизнь Канта текла размеренно и однообразно, может быть, даже монотоннее, чем у людей его рода занятий. Этого не скажешь о жизни внутренней, о жизни его духа. Здесь

происходили удивительные свершения. Рождались дерзновенные идеи, крепи, вступали в единоборство с другими, гибли или мужали в борьбе. Мысль скиталась по континентам, устремлялась за земные пределы, пытаясь достичь границ универсума. Мысль проникала в глубь человеческой души, стремясь познать самое себя. Мысль жила напряженно и драматически.

Почти все разновидности современного философствования так или иначе восходят к Канту. Его идеи подверглись трансформации, но продолжают жить. Знакомство с учением Канта — хорошее начало для изучения философии вообще. Он приучает мыслить самостоятельно.

Канта сравнивают с Сократом. Ибо философия его человечна. Эллинский мудрец впервые низвел философию с небес, утвердил на земле, отвлекся от космоса и занялся человеком. Для Канта проблема человека стоит на первом месте. Он не забывает и о вселенной, но главное для него — человек. Кант размышлял о законах бытия и сознания с одной только целью: чтобы человек стал человечнее. Чтобы жилось ему лучше. Чтобы не лилась его кровь, чтобы не морочили ему голову утопии и иллюзии. Кант все называет своими именами.

Кант вовсе не был затворником, отшельником, человеком не от мира сего. По природе он был общителен, по воспитанию и образу жизни — галантен. Просто у него рано возник всепоглощающий жизненный интерес — философия, и этому интересу он сумел подчинить все свое существование. Жить для него значило работать, в труде он находил главную радость. Жизнь Канта — пример единения слова и дела, проповеди и поведения. Он умер со спокойной совестью, с сознанием исполненного долга.

С детства будущий философ отличался хилым здоровьем, ему предрекали короткую, непродуктивную жизнь. Он прожил долгие, изобильные творчеством годы, никогда не болел. Этого он добился силой своей воли. Он разработал строгую систему гигиенических правил, которых неукоснительно придерживался, и добился поразительных результатов. Кант сделал самого себя. И в этом отношении он уникален.

Все свои сознательные годы Кант искал истину. Но истина — процесс. Кант не произносил таких слов, он только руководствовался ими. Никогда не овладевало им чувство, что все сделано, что обретен абсолют. Кант улучшал, уточнял, шлифовал свое учение. Жизнь Канта — непрестанное духовное развитие, вечный поиск. Вплоть до последних лет, когда мысль вышла из-под его контроля.

Читать Канта трудно. Понимать еще труднее. Но понятая мысль радует и возвышает. Игра стоит свеч, затраченное интеллектуальное усилие вознаграждается сторицей. У иного замысловатого автора разденешь фразу, освободишь от словесных хитросплетений, и перед тобой банальность, а то и вообще ничего нет. У Канта трудность изложения всегда связана с трудностью проблемы, с тем, что зачастую ему первому пришлось к этой проблеме прикоснуться. О простых вещах Кант говорит просто, порой блистательно.

Писать о Канте — честь и ответственность для философа. Тем более что существует глубинная связь между учением Канта и сокровенными помыслами русских классиков. Достаточно назвать два имени — Достоевский и Толстой. Их, как и Канта, волновала судьба человека, они, как и Кант, видели всю глубину связанных с ней коллизий, контрверз, катаклизмов.

Толстой, который более чем прохладно относился к Гегелю, зачитывался Кантом. Он был уверен, что их воззрения совпадают. Он собрал и издал афоризмы Канта. Он говорил, что на него «всегда производила сильное впечатление жизнь Канта». Однажды Толстого спросили: «Доступна ли философия Канта заурядному человеку и возможно ли популярное изложение ее?» Ответ гласил:

«Популярное изложение ее было бы величайшим делом. Интересно узнать, есть ли такие попытки на Западе. Во всяком случае это было бы в высшей степени желательным».

Данная книга не претендует на всестороннее и исчерпывающее рассмотрение философии Канта, она посвящена его жизни. Но у Канта нет иной биографии, кроме истории его духа.

Поэтому уйти от философии было невозможно. Автор пытался говорить о главном и — насколько позволяет материал — просто. Если это не всюду удалось, да простит ему читатель.

Глава первая

Глава первая

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Имей мужество пользоваться собственным умом.

Кант

По традиции мы начнем жизнеописание Канта с истории его города. Гранитом этого города как бы выложены строгие конструкции философа, воздухом дышат его живые творения...

На землях между Вислой и Неманом издревле жили языческие балтийские племена, именовавшие себя пруссами. Христианство пришло к ним с завоевателями. После неудачи крестовых походов на Ближнем Востоке немецкие рыцари двинулись на тот восток, который был им поближе — в Прибалтику. Почти весь XIII век продолжалось покорение прусских земель Тевтонским орденом.

В 1255 году в устье реки Преголи был заложен замок. В честь союзника — чешского короля Оттокара II, участвовавшего в походе, орден назвал замок Королевской горой — Кенигсбергом. Чешские воины именовали его по-своему — Краловец.

Вокруг замка стали селиться бюргеры. Возникли три города: самый старый — Альтштадт, восточнее его — Лёбенихт, южнее, на острове, который образует река, — Кнайпхоф. Города торговали, соперничали, враждовали. Иногда между ними даже вспыхивали войны. Только в 1724 году они объединились в единый город. Кант и город Кенигсберг — ровесники.

Замок походил скорее на крепость, чем на дворец. Возводившийся в разные времена и в разных стилях, он представлял собой каре с обширным внутренним двором, множеством помещений, парадных, жилых и подсобных, огромным Московитским залом, одним из самых больших в тогдашней Германии, высокой сторожевой башней, первоначально предназначенной для военных целей, а затем превращенной в пожарную каланчу.

Горожане — пришлый народ со всех концов Германии. После того как Европу стали раздирать религиозные распри, появились и иностранцы. Жилось на завоеванной земле тревожно и неудобно, всегда в напряжении, почти что в боевой готовности. Напряжения, выдержки, сил требовала и природа; болота не годились под пастбища, суровые зимы губили посевы. Жизнь учила труду и дисциплине.

Когда началась Реформация, страна быстро приняла лютеранство. К этому времени орден распался, и на восточной его половине возникло герцогство Прусское. В начале XVII века Пруссия объединилась с маркграфством Бранденбург в единое государство, которое с 1701 года стало именоваться королевством. Столицей был Берлин; Кенигсберг — самым крупным городом, центром восточных земель, лежавших особняком, за владениями польской короны.

Кенигсберг быстро набирал силы. Оживленный порт, он служил мостом между Западной Европой и Восточной. Здесь процветали ремесла и торговля. Здесь возник университет («Альбертина»), куда за получением образования стекалась молодежь со всей Прибалтики. Здесь находился сильный гарнизон, размещенный по обычаю того времени не в казармах, а на постое у населения: улицы всегда пестрели мундирами.

Их обилие отличало прусские города. По количеству населения Пруссия занимала в Европе тринадцатое место, по численности войск — четвертое (после Франции, России, Австрии). Оружием молодое королевство раздвигало свои границы. Для того чтобы маленькому государству содержать большую армию, приходилось усиливать налоговое обложение и экономить на всем. После воинской доблести бережливость считалась второй прусской добродетелью. Принцесса Вильгельмина оставила описание скудной трапезы у своего

венценосного отца Фридриха-Вильгельма I, участники которой встали из-за стола голодными, а разговор вели только о солдатах и экономии. Первый интерес «солдатского короля» явно преобладал над вторым: скупость не мешала ему тратить большие деньги на содержание гвардейского полка «долговязых парней», великанов, собранных со всех концов света. Самый высокий, родом из Ирландии обошелся ему в 9 тысяч талеров (что значительно превышало годовой бюджет Кенигсбергского университета). Экономил король на всем остальном. Например, на моде: были отменены дорогостоящие неуклюжие парики, мужчинам велели собирать волосы в простенькую косичку, вскоре это распространилось по всей Европе. Сам король всегда ходил в военной форме (это тоже было нововведением). Экономил прусский король и на науке: он фактически прикрыл академию, основанную в Берлине Лейбницем при его предшественнике.

В историю немецкой философии Фридрих-Вильгельм I вошел тем, что приказал в 48 часов под угрозой виселицы покинуть пределы Пруссии Христиану Вольфу: королю донесли, что вольнодумное учение, отрицающее свободу воли, будто бы оправдывает дезертирство. О Лейбнице Фридрих-Вильгельм I отзывался с пренебрежением; по его мнению, «этот парень» был непригоден даже для того, чтобы стоять в карауле. Когда однажды королю, находившемуся в добром расположении духа, попался на глаза философ Эдельман, он подарил ему гульден; мыслитель хотел было в качестве сдачи вернуть два, но вовремя понял, что дело может кончиться палками. Единственный научный эксперимент, предпринятый «солдатским королем», состоял в попытке получить рослое потомство от его долговязых гвардейцев. Он женил их на специально подобранных девицах высокого роста; эксперимент, естественно, не удался. Единственный университетский диспут, устроенный по приказу короля, был посвящен теме: «Все ученые болтуны и балбесы»; королевские шуты проходили по штатам Академии наук. Из книг Фридрих-Вильгельм I признавал только Библию и воинский устав. Его любимой присказкой было: «Мы господин и король и можем делать все, что пожелаем».

Как часто бывает, сын Фридриха-Вильгельма являл собой противоположность отцу. Кронпринц увлекался музыкой, сочинял стихи, любил французскую литературу и философию. В Пруссии ему стало невмоготу, и он собрался удрать за границу, был, однако, схвачен и угодил в крепость. Его сообщника обезглавили у него на глазах. Наследнику угрожал военный суд и расстрел за дезертирство. Все, однако, обошлось, и в 1740 году он вступил под именем Фридриха II на отцовский престол, который затем занимал сорок шесть лет.

Первые семь из них прошли в войнах с Австрией. В результате Пруссия приобрела Силезию, а армия выросла на столько-то батальонов и столько-то эскадронов. Коренного переустройства в стране не произошло. «Фридрих, — пишет Франц Меринг, — с самого же начала понял, что согласно прусским порядкам каждый прусский король должен неуклонно продолжать старый курс; его право на историческое значение или на историческое величие — если здесь можно применить это слово — основывается как раз на том обстоятельстве, что он ни разу не пытался плыть против течения, хотя в силу своих природных способностей и склонностей это искушение было для него сильнее, чем для всех прочих прусских королей». Флейтист и поэт, называвший свой мундир «саваном», стал олицетворением прусского милитаризма. Автор «Анти-Макиавелли», трактата, написанного до вступления на трон и провозгласившего монарха «слугой подданных», получив власть, воплотил в себе принцип абсолютизма. Эпикуреец по натуре разыгрывал роль почти что стойка. Галломану, влюбленному во все французское, пришлось воевать с Францией.

И все же перемены были. На троне оказался король, начитанный в философии, сам писавший ученые трактаты, вольнодумец, отпускавший рискованные прибаутки, вроде: «Всемогущий боже, если таковой имеется, помилуй мою грешную душу, если таковая у меня есть». При дворе Фридриха гостил Вольтер; Ламетри, изгнанный из Франции и Голландии, нашел убежище в Берлине, где был обласкан королем, назначившим его на придворную должность. «Покровительство, которым пользовался Ламетри в качестве его лейб-медика, — пишет Ф. Меринг, — и прекрасные слова, которые в 1751 г. король посвятил памяти этого опороченного материалиста, особенно ясно показывают, что Фридрих стоял на такой высоте философского понимания, какой, вероятно, не достигал в то время никакой немец, даже и молодой Лессинг, как раз тогда громивший Ламетри». Прусский деспотизм стал «просвещенным». Эпоха Просвещения постепенно и здесь вступала в свои права.

Просвещение — необходимая ступень в культурном развитии любой страны, расстающейся с феодальным образом жизни. Просвещение в основах своих демократично, это культура для народа. Главную свою задачу оно видит в воспитании и образовании, в приобщении к знаниям всех и каждого. Возрожденческий идеал свободной личности обретает атрибут всеобщности. И ответственности: человек Просвещения думает не только о себе, но и о других, о своем месте в обществе. Почву под ногами получает идея социальности; в центре внимания — проблема наилучшего общественного устройства. Умы волнует идея равенства; не только перед богом (что принесло с собой христианство), но и перед законами, перед другими людьми. Это равенство формально, но в ином буржуазный правопорядок не нуждается. Просвещение цепко держится за идею формального права, усматривая именно в нем гарантию гуманизма.

Панацею от всех социальных неурядиц Просвещение видит в распространении знаний. Знания — сила, обрести их, сделать всеобщим достоянием — значит заполучить в руки ключ к тайнам человеческого бытия. Поворот ключа, и Сезам открылся, благоденствие обретено. Возможность злоупотребления знанием при этом исключается. Ранее Просвещение рационалистично, это век рассудочного мышления. Разочарование наступает довольно быстро. Тогда ищут спасения в «непосредственном знании», в чувствах, в интуиции, а где-то впереди маячит и диалектический разум. Но до тех пор, пока любое приращение знания принимается за благо, идеалы Просвещения остаются незабываемыми.

И наконец, третий характерный признак Просвещения — исторический оптимизм. Идея прогресса — завоевание этой эпохи. Предшествующие времена не задумывались над самооправданием. Античность знать ничего не хотела о своих предшественниках, христианство относило свое появление на счет высших предначертаний, даже Ренессанс, выступивший арбитром в диалоге двух предшествующих культур, считал своей задачей не движение вперед, а возвращение к первоистокам. Просвещение впервые осознало себя новой эпохой. Отсюда было уже рукой подать до историзма как типа мышления. И хотя не все просветители поднялись до исторического взгляда на вещи, его корни лежат в этой эпохе.

Просветители вели непримиримую борьбу против суеверий, фанатизма, нетерпимости, обмана и оглушения народа. Они рассматривали себя в качестве своеобразных миссионеров разума, призванных открыть людям глаза на их природу, их предназначение, исправить человеческие дела и направить их по пути истины.

Просвещение не привязано к определенной хронологии. Распад феодальных отношений в разных странах происходил в разное время. Голландия и Англия опередили других в Европе. Затем настала очередь Франции. Для Германии эпоха Просвещения — XVIII век. По сравнению с Англией и Францией Германия выглядела отсталой страной, тем не менее и здесь в недрах феодального строя постепенно складывались новые, капиталистические производственные отношения. Преобладающую роль в экономике Германии играло сельское хозяйство, но и сюда проникало влияние рынка. В городах возникали капиталистические мануфактуры, росла торговля. Повсюду назревали социальные перемены.

Характерной особенностью исторического развития немецкой нации в этот период была экономическая и политическая раздробленность страны. Расчлененная на множество карликовых монархий, Германия не представляла собой единого государства. Формально существовала Германская империя, охватывавшая почти все немецкие земли (Восточная Пруссия даже номинально не входила в ее состав), но фактически каждый монарх был полным хозяином у себя дома. На лидерство в немецких делах претендовала Австрия. Возвышение Пруссии создало ей опасного соперника. Передовые умы Германии, задумываясь над судьбами своей родины, видели, что путь к ее благоденствию лежит через устранение феодальных порядков и объединение страны. Идея национального единства доминировала в творчестве просветителей, но в XVIII веке она никогда не переросла в национализм и шовинизм. Все народы равны, как равны все люди; слыть «гражданином мира», чуждым национальной ограниченности и спеси, в интеллектуальной среде считалось модным.

Философия немецкого Просвещения формировалась под влиянием не только социальных сдвигов, но также и прогресса научных знаний. Если в экономике и политике Германия отставала от Англии и Франции, то этого не скажешь о науке. Немецкое естествознание в XVIII

веке находилось на подъеме, переживая те же процессы, которые были характерны для европейской науки в целом. Накопление огромной массы фактов, расклассифицированных в предшествующую эпоху, ставило вопрос об их истолковании, о рассмотрении природы в ее живой связи, в развитии. Это подготавливало почву для расцвета философии.

Преобладающим влиянием на первых порах пользовалась школа Христиана Вольфа. Он уже семнадцать лет занимал кафедру в Галле, написал ряд трудов, получивших европейскую известность, когда «солдатский король» приказал ему в течение двух суток убраться вон. Зная крутой нрав своего монарха, философ не стал дожидаться истечения предоставленного ему срока и через двенадцать часов после вручения королевского указа покинул город. Изгнание только увеличило славу Вольфа: он получил место первого профессора в Марбурге (здесь у него учился потом Ломоносов). Лондон и Париж выбрали его членом своих академий. Стокгольм и Петербург пригласили на службу; в России предполагалось открытие Академии наук, и Петр I предложил Вольфу пост вице-президента, философ вежливо отказался. Не спешил он и возвращаться восвояси. Даже после того как Фридрих-Вильгельм I его реабилитировал. Заполучить Вольфа снова в Пруссию удалось только новому королю. Фридрих II пожаловал ему титул тайного советника и положил неслыханный по тем временам оклад в 2 тысячи талеров. Вольф не принял пост в столице и попросился назад в Галле.

Возвращение Вольфа в Галле вылилось в подлинный триумф. Его встретили далеко за городом, тут же возникла импровизированная процессия. Впереди ехали на лошадях три почтальона, трубившие в свои рожки, за ними пятьдесят студентов также верхами, затем в карете, запряженной четверкой, господин тайный советник Вольф с супругой и, наконец, целый поезд экипажей с именитыми горожанами и профессорами. Когда процессия достигла центра города, грянул оркестр; музыка еще долго не смолкала в этот день.

Вольф приступил к чтению курса. Но странное дело: ломившаяся поначалу аудитория стала от семестра к семестру редеть. Некогда прославленный лектор оказался однажды перед пустыми скамьями. Почитатели Вольфа утверждали, что это свидетельство не поражения, а победы: вольфианство пустило столь глубокие корни в немецком образовании, что главу направления уже не было необходимости слушать. Противники Вольфа считали, что он просто пережил свою славу. Искусственно раздутая, она оказалась недолговечной.

По сравнению с Лейбницем Вольф сказал немного нового, а ряд идей сформулировал проще и проще. Эпитет «плоский» обычно прилагается к вольфианской телеологии, учению о конечных целях, которое приобрело у Вольфа совсем примитивные черты.

Заслуга Вольфа состояла в систематизации лейбницианской философии, он впервые в Германии создал систему, охватившую основные области философского знания. Он впервые создал и философскую школу. Вольфианцы сделали много для распространения научных знаний. Их учение получило наименование «популярной философии», поскольку предназначалось для широкой читающей публики. Вольфианцы были убеждены, что распространение образования незамедлительно приведет к решению всех острых вопросов современности. Культ разума сочетался у них с пиететом перед христианской верой, которой они пытались дать «рациональное» истолкование. Центром «популярной философии» был Берлин. Появился даже термин «Берлинское Просвещение».

Наряду с вольфианством в немецком Просвещении существовало и другое направление, связанное с народным протестом против социального гнета, враждебное официальной церковной догме. Идейным источником свободомыслия была философия Спинозы, начавшая интенсивно проникать в Германию уже в конце XVII столетия, несмотря на противодействие как официальных блюстителей идейной чистоты, так и умеренного крыла Просвещения. Двери университетов для спинозизма были наглухо закрыты. Спинозистские книги сжигали, их авторов преследовали. Зачастую это были малоприметные, а иногда и совсем неизвестные литераторы, внезапно откуда-то появлявшиеся, сеявшие смятение в умах и столь же бесследно исчезающие. Вольнодумные произведения распространялись тайно, ходили в списках, порой получая широкую известность, а порой оставаясь доступными лишь узкому кругу посвященных. О том, что Лессинг исповедовал спинозизм, узнали только после его смерти.

Немецкие вольнодумцы в отличие от своих французских собратьев осторожно обращались с верой в бога. Авторитет религии был прочен. В средние века религия господствовала в духовной жизни, подчиняла себе науку и искусство, активно вторгалась в политику. Благодаря Реформации Германия в значительной степени освободилась от господства римской курии, однако Лютер и его последователи отнюдь не были склонны поощрять свободомыслие. Протестантская ортодоксия, выработав свою систему догматов, выступила в той же роли, которую до нее играл католицизм. Церковь старалась не выпустить из узды духовную жизнь страны. В этом она находила полную поддержку со стороны власти имущих. Борьба за Просвещение, против ортодоксального христианства за редкими исключениями проходила под лозунгами веротерпимости, создания «улучшенной» религии.

Специфически немецким вариантом обновленного протестантизма был пиетизм. Это движение возникло на исходе XVII столетия как протест против духовного застоя и перерождения лютеранской церкви. Истоки пиетизма восходят к великому мистика Якобу Бёме. Один из его последователей, Квиринус Кульман, много путешествовавший и всюду несший слово учителя, в конце концов как еретик угодил на костер. Другому — Якобу Шпейеру повезло больше: он стал основателем обновленческого течения в протестантизме. Пиетисты отвергали обрядность и ритуал, переносили центр тяжести религии на внутреннюю убежденность, знание текстов Священного писания и личное поведение. В дальнейшем пиетизм породил новую нетерпимость, выродился в фанатизм и экзальтированный аскетизм. Но в свое время он сыграл освежающую роль; многие деятели Просвещения выросли на идейной почве пиетизма, развивая его радикальные, антидогматические и антиклерикальные тенденции. Пруссия (Галле и Кенигсберг в первую очередь) была рассадником пиетизма.

* * *

В пятом часу утра 22 апреля 1724 года в семье Кенигсбергского шорника Иоганна Георга Канта родился сын. По старому прусскому календарю был день святого Иммануила, и мальчика нарекли этим библейским именем, означающим в переводе «с нами бог».

Кант полагал, что его предки были родом из Шотландии. Но, как установили совсем недавно дотошные исследователи, философ ошибался: его прадед Рихард Кант — балтийских кровей, выходец из-под Прекуле, что в нынешней Латвии. Судя по сохранившимся документам, прадед не владел немецким языком. Сын Рихарда поселился в Мемеле, стал шорником и передал профессию своему сыну Иоганну Георгу, который перебрался в Кенигсберг. Две дочери Рихарда Канта были замужем за шотландцами, отсюда, возможно, и пошла легенда о шотландском происхождении. Мать будущего философа Анна Регина — дочь шорника, родом из Нюрнберга.

Мальчик рос на окраине города среди мелкого ремесленного и торгового люда. В обстановке труда, честности, пуританской строгости. В семье он был четвертым ребенком. Всего Анна Регина родила девяти детей. Из них выжило пятеро. У Иммануила Канта были старшая сестра, две младшие и младший брат — Иоганн Генрих.

Иммануил отличался хилым здоровьем. Потеряв к тому времени двух детей, Анна Регина в меру своих возможностей старалась привить сыну физическое и нравственное здоровье, разбудить в нем пытливость и воображение. «Никогда не забуду своей матери. Она взлелеяла во мне первые зародыши добра, она открыла мое сердце впечатлениям природы, она пробудила и расширила мои представления, и ее поучения оказывали постоянное спасительное воздействие на мою жизнь». Это сказано Кантом на склоне лет.

В доме Иоганна Георга царил дух пиетизма. «Пусть говорят о пиетизме что угодно, но люди, относившиеся к нему серьезно, — настаивал Кант, — показали себя с самой лучшей стороны. Они обладали благородными человеческими качествами — спокойствием, веселым нравом, внутренним миром, который не нарушала никакая страсть. Они не боялись ни нужды, ни гонений; никакая распря не могла привести их в состояние враждебности и гнева». Кант вспоминал, как однажды случилась тяжба между двумя ремесленными цехами — шорников и седельщиков. Отец его при этом сильно пострадал, но он ни разу не позволил себе сказать резкое слово о тех, кто причинил ему убытки. Было ли так на самом деле, трудно сказать; важно

то, что так считал Кант, что это отложилось в его памяти, стало одним из первых нравственных уроков, усвоенных будущим великим моралистом. От отца перешла и любовь к труду.

По совету пастора Франца Альберта Шульца, навещавшего в числе своих прихожан и семью мастера Канта, восьмилетнего Иммануила отдали в «коллегию Фридриха», государственную гимназию, директором которой был назначен сам Шульц. Здесь будущий философ провел восемь лет. Он учился на латинском отделении. Главными предметами были латынь (до 20 часов в неделю!) и богословие (зубрежка катехизиса). Отсюда Кант вынес любовь к римской поэзии и антипатию к внешним проявлениям религиозного культа. Родители хотели видеть в своем отпрыске пастора, но мальчик, увлеченный талантливыми уроками преподавателя латыни Гейденрейха, мечтал посвятить себя древней словесности.

Желание стать священником отбивали монастырские порядки, царившие в «коллегии Фридриха». Школа была пиетистской, нравы строгими. Что такое каникулы, здесь не знали. Занятия начинались в семь утра, но еще до шести школьники должны были быть на месте. Утренняя молитва продолжалась полчаса, молитвой начинался каждый урок. Кончались уроки в четыре пополудни. По средам и субботам шли факультативные занятия по математике, музыке, французскому и польскому языкам. Изучение греческого и древнееврейского было обязательным (входило в программу богословия). Естествознание и история не преподавались. Слабое здоровье мешало занятиям Иммануила, но выручали сообразительность, хорошая память, прилежание. Ряд лет он шел первым учеником, окончил школу вторым.

Осенью 1740 года шестнадцати лет от роду Иммануил Кант поступает в университет. На какой факультет? Ответить на этот простой вопрос трудно, так как в сохранившихся списках нет указаний на принадлежность студентов к тому или иному факультету. В Кенигсберге было четыре факультета; три из них — богословский, юридический, медицинский — считались высшими; философский — низшим. По распоряжению Фридриха-Вильгельма I студенты могли числиться только на одном из «высших» факультетов («солдатскому королю» нужны были люди на государственную службу, о его отношении к философии мы уже знаем). Первые биографы Канта полагали, что он по желанию родителей выбрал теологию. Против этого говорит целый ряд соображений. И прежде всего те предметы, изучению которых студент Кант уделял преимущественное внимание. Гимназическое увлечение филологией уступило место живому интересу к физике и философии. Не исключено, что Кант записался на медицинский факультет; впоследствии он проявит завидную компетенцию в этой области и даже напишет работу о болезнях головы.

Новым своим интересом он был обязан человеку, который больше, чем Франц Шульц и Гейденрейх, повлиял на его духовное развитие. Профессор Мартин Кнутцен умер в возрасте 37 лет. Если бы не ранняя смерть, немецкая философия, может быть, имела бы в числе корифеев и это имя. Сейчас Мартин Кнутцен известен только как учитель Канта. В двадцать один год он получил профессорское звание. Пиетист и вольфианец, Кнутцен проявлял большой интерес к успехам английского естествознания. От Кнутцена Кант впервые услышал имя Ньютона. Не без влияния Кнутцена, не без помощи его книг на четвертом году университетского обучения Кант принялся за самостоятельное сочинение по физике.

Работа продвигалась медленно. Сказывались не только отсутствие навыков и недостаток знаний, но и нужда, в которой пребывал студент Кант. Поступив в университет, он покинул отчий дом. Матери уже не было в живых (она умерла сравнительно молодой, когда Иммануилу исполнилось тринадцать лет), отец еле-еле сводил концы с концами. Иммануил перебивался уроками. Подкармливали состоятельные однокашники, у них в трудную минуту приходилось брать на время одежду и обувь. Говорят, он утешал себя афоризмами: «Я стремлюсь подчинить вещи себе, а не себя вещам», «Не уступай беде, а выступай ей смело навстречу». Иногда ему помогал пастор Шульц, чаще — родственник по матери, преуспевающий мастер сапожного дела. Есть сведения, что именно дядюшка Рихтер взял на себя значительную часть расходов по опубликованию кантовского первенца — работы «Мысли об истинной оценке живых сил».

Писал ее Кант три года; четыре года печатал. Титульный лист украшает дата — 1746, однако это дата начала, последние листы вышли из типографии только в 1749 году. Экземпляр книги автор посылает Альбрехту Галлеру, швейцарскому ученому и поэту, другой — в

Петербург математику Леонарду Эйлеру. Это первые известные нам почтовые отправления Канта. Ответы на них не поступили.

Возможно, что виной тому послужило содержание работы, в которой Кант попытался выступить арбитром в споре картезианцев и лейбницианцев об измерении кинетической энергии. Согласно Декарту она прямо пропорциональна скорости, согласно Лейбницу — квадрату скорости движущегося тела. Кант решил развести спорщиков: в одних случаях, полагал он, применима формула Декарта, в других — Лейбница. Между тем за шесть лет до этого, в 1743 году, Даламбер дал решение проблемы,

выразив его формулой $F = mv^2/2$. Кант об этом, по-видимому, не знал.

В истории науки такие вещи бывают. Полвека спустя Гегель защитил диссертацию, где утверждалось, что между Марсом и Юпитером не может быть никакой неизвестной еще планеты, хотя уже к тому времени была открыта Церера. Промах Канта послужил поводом для эпиграммы Лессинга:

Затея явно не под силу, — Кант учит целый свет; Живые измеряет силы, А собственные нет.

И все же юношеская работа Канта интересна не только как эпизод из его жизни. Она вошла и в жизнь науки. Внимание современной космологии, например, могут привлечь рассуждения Канта о связи трехмерности пространства с законом всемирного тяготения. «Трехмерность происходит, по-видимому, оттого, что субстанции в существующем мире действуют друг на друга таким образом, что сила действия обратно пропорциональна квадрату расстояния». Обосновать свое предположение Кант не берется — пусть это сделают другие.

Интересен первый опыт кантовского пера и в стилистическом отношении. Стиль — это человек. Книга Канта написана не по-латыни, а на родном языке, притом хорошей прозой, удивительно ясной и простой. От книги веет молодым задором и самоуверенностью. Бросается в глаза эпиграф из Сенеки: «Идти не тем путем, по которому идут все, а тем, по которому должно идти». Выбрал ли он собственную стезю? Да, он это сделал. «Я уже предначертал себе путь, которого намерен держаться. Я вступил на него, и ничто не должно мне мешать двигаться по этому пути». В работе по физике подобная декларация может показаться неуместной. Но она знаменательна: молодой ученый спешит высказать все то, что его волнует. В дальнейшем он станет писать более строго, а пока что буквально захлебывается от избытка сил, мыслей, слов.

Первое сочинение Канта — документ эпохи, решившей вынести на суд разума все накопившиеся предрассудки. Авторитеты отменены, наступило новое время. Ныне, настаивает Кант, можно смело не считаться с авторитетом Ньютона и Лейбница, если он препятствует открытию истины, не руководствоваться никакими иными соображениями, кроме велений разума. Никто не гарантирован от ошибок, и право подметить ошибку принадлежит каждому. Карликовый ученый нередко в той или иной области знания превосходит другого ученого, который, однако, по общему объему своего научного знания стоит гораздо выше первого. Это уже явно о себе. «Истина, над которой тщетно трудились величайшие мыслители, впервые открылась моему уму». Написав такое, юноша спохватывается: не слишком ли дерзновенно? Фраза ему нравится, он оставляет ее, снабдив оговоркой: «Я не решаюсь защищать эту мысль, но я не хотел бы от нее отказаться». Получается нечто вроде компромисса.

Деталь характерна. В первой же работе Канта проявилось не только бескомпромиссное стремление к истине, но и явная склонность к разумным компромиссам, когда налицо две крайности. Сейчас он пытается «совместить» Декарта и Лейбница, в зрелые годы эта попытка будет предпринята в отношении главных философских направлений. Выявить противоречие, но проявить терпимость, преодолеть односторонность, дать принципиально новое решение, синтезируя при этом накопленный опыт, не победить, а примирить — вот одно из центральных устремлений будущей критической философии.

В университете Кант провел без малого семь лет. В 1747 году, не защитив магистерской диссертации, он покидает родной город. Но странствия его не дальние. В трех глухих углах Восточной Пруссии он подвизается в должности домашнего учителя. Сначала это деревня Юдшен близ Гумбиненна; здесь Кант учит трех сыновей пастора Андерша. Коренное население — литовцы — сильно поредело после опустошительной чумы 1709 года; местность заселили

переселенцами из французской Швейцарии. Пастор, выходец из Силезии, вынужден приноравливаться к своим иноязычным прихожанам. Кант видит, как «дети разных народов» могут ужиться на одной земле. Здесь у него возник интерес к литовской культуре, который он пронес через всю жизнь.

Летом 1750 года Кант перебирается в противоположный конец провинции, под Остероде. Теперь он оказывается в семье помещика. На его попечении снова три мальчика, сыновья майора Хюльзена. Младший из них, Георг Фридрих, сохранил на долгие годы симпатию к своему первому учителю. Не под влиянием ли Канта зародилась у будущего хозяина имения мысль освободить своих крепостных, что он и осуществил впоследствии? Сказать трудно. Но какие-то семена здравомыслия и нравственности Кант, видимо, заронил в душу своего воспитанника.

Третье учительское место — в семье графа Кайзерлинга. Биографы расходятся во мнениях, жил ли Кант в поместье графа под Тильзитом или наезжал из Кенигсберга в замок, расположенный близ города. Первое дошедшее до нас изображение Канта — рисунок графини Кайзерлинг. Молодая красавица увлекалась философией, злые языки утверждали, что увлечение распространялось и на появившегося в ее доме философа. И будто бы не осталось без взаимности.

В прусском захолустье Кант приобрел не только педагогические навыки. Он прошел хорошую школу житейского опыта, пригляделся к людям, познакомился с нравами в различных слоях общества. Книги плюс обилие свободного времени заложили фундамент будущей научной деятельности. Вернувшись в Кенигсберг, Кант привез объемистую рукопись по астрономии, первоначально озаглавленную «Космогония, или Попытка объяснить происхождение мироздания, образование небесных тел и причины их движения общими законами движения материи в соответствии с теорией Ньютона».

О том, что она скоро увидит свет, Кант сообщил в небольшой статье, напечатанной в июне 1754 года в двух номерах Кенигсбергского еженедельника. Статья была написана на конкурсную тему, предложенную Прусской академией наук: «Претерпела ли Земля в своем вращении вокруг оси, благодаря которому происходит смена дня и ночи, некоторые изменения со времени своего возникновения». Принять участие в конкурсе Кант, однако, не решился, премия была присуждена некому священнику из Пизы, который на поставленный вопрос дал отрицательный ответ. Между тем Кант в противоположность незаслуженному лауреату пришел к правильному выводу о том, что Земля в своем вращении испытывает замедление, вызываемое приливным трением вод Мирового океана. Расчеты Канта неверны, но идея правильна.

Суть ее в том, что под воздействием приближения Луны морские приливы перемещаются с востока на запад, то есть в направлении, противоположном вращению Земли, и тормозят его. Правда, отмечает Кант, если сопоставить медленность этого движения с быстротой вращения Земли, незначительность количества воды с громадными размерами земного шара, то может показаться, что действие такого движения следует считать равным нулю. Но если, с другой стороны, принять во внимание, что этот процесс совершается неустанно и вечно, что вращение Земли представляет собою свободное движение, малейшая потеря которого остается невозмещенной, то было бы совершенно неподобающим для философа предрассудком объявить этот малый эффект не имеющим значения.

В конце лета 1754 года Кант публикует еще одну статью — «Вопрос о том, стареет ли Земля с физической точки зрения». Процесс старения Земли не вызывает у Канта сомнений. Все сущее возникает, совершенствуется, затем идет навстречу гибели. Земля, конечно, не составляет исключения. Что касается конкретных геологических процессов, то Кант осторожен: он критикует скоропалительные решения. Некоторые из них напоминают ему старческое брюзжание по поводу того, что мир теперь не тот, что прежде; старые добродетели отжили свой век, уступив место новым порокам, ложь и обман сменили честность; старики настолько тщеславны, что воображают, будто небо постаралось породить их во времена высшего благоденствия, они не могут себе представить, что и после их смерти мир будет так же прекрасен, как до их рождения.

Две статьи Канта были своеобразной прелюдией к космогоническому трактату. Его окончательное название гласило: «Всеобщая естественная история и теория неба, или Попытка истолковать строение и механическое происхождение всего мироздания, исходя из принципов Ньютона». Трактат вышел анонимно весной 1755 года с посвящением королю Фридриху II.

Книге не повезло: ее издатель обанкротился, склад его опечатали, и тираж не поспел к весенней ярмарке. Но видеть в этом (как делают некоторые авторы) причину того, что имя Канта как создателя космогонической гипотезы не получило европейской известности, все же не следует. Книга в конце концов разошлась, анонимность автора была раскрыта, а в одном из гамбургских периодических изданий появилась одобрительная рецензия.

В 1761 году И.-Г. Ламберт в своих «Космологических письмах» повторил идеи Канта о структуре мироздания; в 1796 году французский астроном Лаплас сформулировал космогоническую гипотезу, аналогичную кантовской, оба — и Ламберт и Лаплас — ничего не знали о своем предшественнике. Все в духе времени: Кант не был знаком с работой Даламбера о кинетической энергии, на Западе не слышали о его труде.

Приступая к изложению космогонической системы, Кант озабочен одним: как согласовать ее с верой в бога? Мыслитель настаивает: противоречий между требованиями религии и его гипотезой нет. Вместе с тем он не может отрицать определенного сходства между собственными взглядами и учением древних материалистов — Демокрита и Эпикура. Как и эти философы, Кант полагает, что первоначальным состоянием природы было всеобщее рассеяние первичного вещества, атомов. Эпикур говорил о тяжести, заставляющей атомы падать, эта мысль близка теории тяготения Ньютона, на которую опирается Кант. Воспитанник пиетистов вынужден оправдываться: «Даже в самых бессмысленных взглядах, которые когда-либо пользовались успехом у людей, всегда можно найти какую-то долю правды».

В XVII веке естествоиспытатели (в том числе Ньютон и Галилей) были убеждены в божественном происхождении небесных светил. Кант хотя и отмежевывался от древних материалистов, но фактически (вслед за Декартом) распространил принципы естественнонаучного материализма на космогонию. «Дайте мне материю, и я построю из нее мир, то есть дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен возникнуть мир». Формула Канта звучит как афоризм. В ней основной смысл книги; Кант действительно показал, как под воздействием чисто механических причин из первоначального хаоса материальных частиц могла образоваться наша солнечная система.

Отрицая за богом роль зодчего вселенной, Кант видел в нем все же творца того хаотического вещества, из которого (по законам механики) возникло современное мироздание. Другой проблемой, которую Кант не брался решать естественнонаучным путем, было возникновение органической природы. Разве допустимо, спрашивал он, сказать: дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее можно сделать гусеницу. Здесь с первого же шага можно споткнуться, поскольку многообразие свойств объекта слишком велико и сложно. Законов механики недостаточно для понимания сущности жизни. Мысль правильная; высказав ее, молодой Кант, однако, не искал иных естественных путей для решения проблемы жизни. Лишь в старости, размышляя над работой мозга, он подчеркнет наличие в организме более сложного типа взаимодействия.

Трактат по космогонии сохраняет ту эмоционально насыщенную манеру, в которой была выдержана работа Канта о «живых силах». Автор потрясен величиим мироздания и старается быть адекватным открывшейся ему поэтической картине; то и дело он цитирует своих любимых поэтов — Попа, Галлера, Аддисона. Сама его проза готова соперничать со стихами. Кант предлагает, например, мысленно перенестись на Солнце. Что представится нашему взору? «Мы увидим обширные огненные моря, возносящие свое пламя к небу; неистовые бури, своей яростью удваивающие силу пламени, заставляя его то выходить из своих берегов и затоплять возвышенные местности, то вновь возвращаться в свои границы; выжженные скалы, которые вздымают свои страшные вершины из пылающих бездн и то затопляются волнами огненной стихии, то избавляются от них, благодаря чему солнечные пятна то появляются, то исчезают; густые пары, гасящие огонь, и пары, которые, будучи подняты силой ветров вверх, образуют зловещие тучи, низвергающиеся огненными ливнями и изливающимися горящими потоками с высот солнечного материка в пылающие долины; грохот стихий; пепел сгоревших веществ и

борющуюся с разрушением природу, которая даже в самом ужасном состоянии своего распада содействует красоте мира и пользе творения». Стиль — это человек, а молодой Кант — человек Просвещения. Он полон просвещенческого пафоса. Изумление перед гармонией природы и силой собственного умозрения выливается в поток восторженных слов.

Красоты стиля не уводят, однако, от главного — от космогонической проблемы. Трактат состоит из трех частей. Первая носит вводный характер. Здесь Кант высказывает идеи о системном устройстве мироздания. Млечный Путь следует рассматривать не как рассеянное без видимого порядка скопление звезд, а как образование, имеющее сходство с солнечной системой. Галактика сплюснута, и Солнце расположено близко к ее центральной плоскости. Подобных звездных систем множество; беспредельная вселенная в целом также имеет характер системы, и все ее части находятся во взаимной связи.

Во времена Канта были известны шесть планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн. Молодой ученый высказал предположение, что за Сатурном находятся неизвестные планеты. Еще при его жизни был открыт Уран, в XIX веке — Нептун, в наше время — Плутон.

Вторая часть трактата посвящена проблеме образования небесных тел и звездных миров. Для космогенеза, по Канту, необходимы следующие условия: частицы первоматерии, отличающиеся друг от друга плотностью, и действие двух сил — притяжения и отталкивания. Различие в плотности вызывает сгущение вещества, возникновение центров притяжения, к которым стремятся легкие частицы. Падая на центральную массу, частицы разогревают ее, доводя до раскаленного состояния. Так возникло Солнце, столь красочно описанное Кантом.

Сила отталкивания, противодействующая притяжению, препятствует скоплению всех частиц в одном месте. Часть их в результате борения двух противоположных сил обретает круговое движение, образуя вместе с тем другие центры притяжения — планеты. Аналогичным образом возникли и их спутники. И в других звездных мирах действуют те же силы, те же закономерности. «Все неподвижные звезды, доступные глазу в неизмеримой глубине неба, где они кажутся рассеянными с какой-то расточительностью, представляют собой солнца и центры подобных же систем. По аналогии нельзя, следовательно, сомневаться, что и эти же системы возникли таким же путем, как и та, на которой мы находимся, возникли и образовались из мельчайших частиц первичной материи, которое наполняло пустое пространство, это бесконечноеместилище бытия божьего».

Сотворение мира — дело не мгновения, а вечности. Оно однажды началось, но никогда не прекратится. Прошли, быть может, миллионы лет и веков, прежде чем окружающая нас природа достигла присущей ей степени совершенства. Пройдут еще миллионы и «целые горы миллионов» веков, в ходе которых будут создаваться и совершенствоваться новые миры. А старые гибнут, как гибнет на наших глазах бесчисленное множество живых организмов. Природа богата и расточительна, одинаково неисчерпаема в порождении и уничтожении как самых ничтожных, так и самых сложных созданий.

Вселенная Канта расширяется. Небесные тела, находящиеся вблизи от ее центра, формируются раньше других, но и гибнут скорее. А по краям в это время возникают новые миры. Кант предсказывает гибель и нашей планетной системы. Солнце, раскаляясь все больше и больше, в конце концов сожжет Землю и другие свои спутники, разложит их на простейшие элементы, которые рассеются в пространстве, с тем чтобы потом снова принять участие в новом мирообразовании. «Через всю бесконечность времен и пространств мы следим за этим фениксом природы, который лишь затем сжигает себя, чтобы вновь возродиться юным из своего пепла».

Третья часть книги содержит «опыт сравнения обитателей различных планет». Образованные люди в XVIII веке не сомневались в том, что небесные светила населены. (Ньютон считал обитаемым даже Солнце.) Кант уверен в том, что разумная жизнь существует в космосе, и его единственная оговорка — не всюду: как на Земле встречаются не пригодные для жилья пустыни, так и во вселенной есть необитаемые планеты. Для тех, кто считает, будто человеческий род уникален, философ приводит рассказ сатирика: твари, населявшие заросли на голове нищего, с давних пор привыкли смотреть на место своего пребывания как на необъятный

мир, а на самих себя — как на венец творения, пока одна из них не увидела вдруг голову некоего дворянина. Тотчас собрала она своих соседей и с восторгом сообщила: мы не единственные живые существа в природе, смотрите, вот новая страна, еще более густо заселенная.

Кант предлагает рассуждать без предвзятости. Бесконечность творения охватывает все создания, вызываемые к жизни его неистощимым богатством. От высшего класса мыслящих существ до презреннейшего насекомого ни одно звено не может выпасть, не нарушив этим красоты целого. А человек бесконечно далек от высшей ступени совершенства, обольщаться на этот счет не приходится. Разве в обитаемых зарослях на голове нищего мог кто-либо произвести опустошения среди своих сограждан, подобные тем, что сотворил Александр Македонский?

Итак, полагает Кант, большинство планет обитаемо, а необитаемые со временем будут заселены. «Должна ли бессмертная душа, — восклицает он, — во всей бесконечности своей будущей жизни, которую даже могила не прекращает, а лишь видоизменяет, остаться всегда прикованной к этой точке мирового пространства, к нашей Земле?.. Кто знает, не суждено ли ей когда-нибудь узнать вблизи те отдаленные тела мироздания и их совершенство, которые и издали столь сильно возбуждают ее любопытство? Быть может, для того и образуются еще некоторые тела планетной системы, чтобы по истечении времени, предписанного для нашего пребывания здесь, уготовить нам новые обитатели под другими небесами? Кто знает, не для того ли вокруг Юпитера обращаются его спутники, чтобы когда-нибудь светить нам?»

Что это? Предвосхищение космоплавания или попытка сочетать пытливість натуралиста с привычными догмами церкви? Скорее второе. Естественнонаучные штудии Канта легли на прочный фундамент пиетистского воспитания. А сочетание смелых научных догадок с полумистическими прозрениями — знамение времени. Автор просит читателя запомнить процитированный абзац: три десятилетия спустя Кант прочтет нечто подобное у Гердера, вознегодует по сему поводу и осыплет своего ученика насмешками.

Пока же его занимает проблема, в какой мере удаленность от Солнца влияет на способность мыслить у живых существ. Обитатели Земли и Венеры, полагает Кант, не могут поменяться своими местами не погибнув: житель Земли создан из вещества, приспособленного к определенной температуре, в жару его организм высохнет и испарится. Обитатель Венеры в более прохладной области неба застынет и лишится подвижности. Тело обитателей Юпитера должно состоять из более легких и текучих веществ, чем у землян, дабы слабое воздействие Солнца могло приводить их в движение с той же силой, с какой двигаются организмы на других планетах. И Кант выводит общий закон: вещество, из которого состоят обитатели различных планет, тем легче и тоньше, чем дальше планеты отстоят от Солнца.

А силы души зависят от брэнной оболочки. Если в теле движутся только густые соки, если живые волокна грубы, то духовные способности ослаблены. И вот установлен новый закон: мыслящие существа тем прекраснее и совершеннее, чем дальше от Солнца находится небесное тело, на котором они обитают. Человеческая природа, занимающая в последовательном ряду существ как бы среднюю ступень, видит себя между двумя крайними границами совершенства. Если представление о разумных существах Юпитера и Сатурна вызывает у нас зависть, то взгляд на низшие ступени, на которых находятся обитатели Венеры и Меркурия, возвращает душевный, покой. Какое изумительное зрелище, восклицает философ. С одной стороны, мыслящие существа, для которых какой-нибудь гренландец и готтентот показался бы Ньютоном, а с другой — существа, которые и на Ньютона смотрели бы с таким же удивлением, как мы на обезьяну.

Когда читаешь эти строки, на ум невольно приходит «Микромегас» Вольтера. Герой этого философского памфлета — обитатель планетной системы Сириуса, ростом в двадцать четыре тысячи раз выше человеческого, путешествует по космосу в сопровождении карлика с Сатурна, который только в тысячу раз больше человека. В конце концов они попадают на Землю, которая им кажется весьма жалкой. С большим трудом при помощи микроскопа пришельцы обнаруживают на нашей планете разумные существа, вступают с ними в беседу (это были члены французской научной экспедиции во главе с астрономом Мопертюи, измерявшей земной меридиан) и быстро убеждаются в их непроходимой тупости, которая, впрочем, не мешает обладать определенным запасом точных научных сведений.

Если бы «Микромегас» не появился на три года раньше, чем «Всеобщая естественная история и теория неба», можно было бы подумать, что Вольтер пародирует Канта. В памфлете упоминаются «силы притяжения и отталкивания» и имя англичанина Дергема, работа которого, по свидетельству Канта, впервые навела его на идею системности мироздания. И все же эти совпадения не случайны. Вольтер, осыпанный милостями Фридриха II, жил в начале 50-х годов в Пруссии; «Микромегас» высмеивал не только схоластические распри различных философских школ, но и некоторые специфические черты «Берлинского Просвещения». Увлечение астрономией было повальным. Приглашенный из Парижа Мопертюи возглавлял Прусскую академию наук. Кант хотя и не бывал в Берлине, но жил духовными веяниями, приходившими из столицы, его трактат впитал их сильные и слабые стороны. Вот почему «Микромегас» звучит сегодня как сатирический парафраз некоторых страниц кантовского труда. Впрочем, последний нам известен лучше других, ныне забытых, но в свое время пользовавшихся популярностью и содержавших куда более фантастические спекуляции, чем те, на которые решался Кант. В «Космологических письмах» Ламберта утверждалось, например, что наиболее разумные существа обитают на кометах.

Сегодня многое во «Всеобщей естественной истории...» (даже то, что не вызывает улыбки) представляется устаревшим. Современная наука не приемлет ни основную гипотезу об образовании солнечной системы из холодных рассеянных частиц вещества, ни ряд других положений, которые пытался обосновать Кант. Но главная философская идея — историзм, идея развития — остается незыблемой. «Кантовская теория возникновения всех теперешних небесных тел из вращающихся туманных масс была величайшим завоеванием со времени Коперника, — писал Энгельс. — Впервые было поколеблено представление, будто природа не имеет никакой истории во времени. До тех пор считалось, что небесные тела с самого начала движутся по одним и тем же орбитам и пребывают в одних и тех же состояниях... В этом представлении, вполне соответствовавшем метафизическому способу мышления, Кант пробил первую брешь»¹.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 56.

* * *

Создатель космогонической гипотезы, проложившей дорогу диалектическому воззрению на мир, автор двух книг и двух оригинальных статей, обративших на себя внимание, все еще числился студентом; точнее — кандидатом (так и сейчас в ГДР и ФРГ называют человека, который прослушал курс наук, но не завершил надлежащим путем свое высшее образование). Задумываясь о будущем, Кант видел себя университетским преподавателем. За годы учительства он скопил небольшую сумму, необходимую для начала академической карьеры. Дело оставалось за ученой степенью.

Незадолго до того, как ему исполнился тридцать один год, 17 апреля 1755 года Кант подает на философский факультет магистерскую диссертацию «Об огне». Это написанная на 12 листах каллиграфическим почерком латинская рукопись. Магистерская диссертация не защищалась, ее назначение — получить допуск к экзамену. Диссертация была принята, и через четыре недели Кант держит устный экзамен. Наконец 12 июня — заключительный торжественный акт возведения в ученую степень, промоция. Декан произнес речь, посвященную одной из проблем гебраистики, затем соискатель прочитал доклад на латинском языке, в заключение он обратился со словами благодарности к ученому сообществу, открывшему перед ним дверь в науку.

Но это еще не означало принятия в члены факультета. Для того чтобы магистр (или доктор — звания эти были равноценны) получил право читать лекции, он должен был пройти габилитацию, то есть защитить еще одну диссертацию. Габилитация предусматривала диспут. Поэтому титульный лист второй кантовской диссертации выглядел следующим образом: «Новое освещение первых принципов метафизического познания, каковое сочинение магистр Иммануил Кант из Кенигсберга с разрешения высокого философского факультета будет защищать в публичной дискуссии в философской аудитории 27 сентября 1755 года от 8 до 12 часов утра на предмет принятия его в число членов означенного факультета. При этом респондентом выступит кандидат богословия Христофор Авраам Борхардт из Гейлигенбейля в

Пруссии, а в качестве оппонентов — студент богословия Иоганн Готфрид Меллер из Кенигсберга, кандидат прав Фридрих Генрих Самуил Лизиус из Кенигсберга и кандидат прав Иоганн Рейнгольд Грубе из Кенигсберга». Респондентом назывался участник диспута, поддерживавший соискателя. В процедуре защиты ему отводилась важная роль; от имени Борхардта диссертация была посвящена губернатору Восточной Пруссии Левальду.

Диспут состоялся в назначенное время и принес Канту звание приват-доцента, то есть внештатного преподавателя, труд которого оплачивался самими студентами. Вскоре после габилитации Кант дебютировал как лектор. Аудиторий в «Альбертине» не хватало, поэтому многие преподавали дома. Кант жил в то время у профессора Кипке, в доме которого имелось помещение, приспособленное для занятий. Здесь и состоялась первая лекция нового приват-доцента. Слушателей собралось больше, чем мог вместить зал; студенты стояли на лестнице и в прихожей. Кант растерялся, первый час говорил совершенно невнятно и только после перерыва овладел собой. Так началась его длившаяся затем 41 год преподавательская деятельность.

Уже через полгода он претендует на экстраординарную (то есть без оклада) профессию. Ничего необычного в этом не было: его учитель Кнутцен занял профессорскую должность в возрасте двадцати одного года, и с тех пор, как он умер, она пустовала вот уже пять лет. В апреле 1756 года Кант обратился к Фридриху II с просьбой предоставить ему вакантное место и написал необходимую для этого третью латинскую диссертацию («Физическая монадология»). Диссертацию он защитил (одним из оппонентов выступал шестнадцатилетний студент Боровский, будущий его биограф), но хлопоты оказались напрасными: правительство закрыло вакансию. Прежде чем Кант станет профессором, пройдет еще 14 лет.

В первую свою университетскую зиму он читал логику, метафизику, естествознание и математику. Затем к ним прибавились физическая география, этика и механика. В магистерские годы Канту приходилось одновременно вести 4—6 предметов. Минимальная его нагрузка составляла 16, а максимальная 28 часов в неделю (включая небольшое количество практических занятий). Вот расписание одного из наиболее напряженных дней. С 8 до 9 — логика, с 9 до 10 — механика, с 10 до 11 — теоретическая физика, с 11 до 12 — метафизика; и после обеда с 2 до 3 — физическая география, с 3 до 4 — математика.

«Я сижу каждодневно за своей кафедрой, как за наковальней, и кую тяжелым молотом мои похожие одна на другую лекции», — жалуется Кант. Не мудрено, что во второй половине 50-х годов он почти ничего не пишет: преподавание поглощает все время, все силы. Но безбедное существование обеспечено. Приват-доцент в состоянии держать слугу. К нему нанимается отставной солдат Мартин Лампе.

Особой гордостью Канта был курс физической географии. География, говорил он, — фундамент истории. Кант принадлежал к тем, кто впервые стал преподавать географию как самостоятельную дисциплину. Другие предметы он вел по готовым учебникам (хотя чем дальше, тем больше интерпретировал их по-своему), география не имела ни учебных пособий, ни обобщающих трудов. Не располагал Кант и собственными, вынесенными из путешествий впечатлениями. Их отсутствие компенсировалось чтением.

Хорошая память, живое воображение, внимание к деталям и способность создать из них целостный образ помогали ему живо и точно описывать чужие края. Не покидая своего кабинета, Кант совершал кругосветные путешествия, переплывал моря, преодолевал пустыни. Преподаватель географии никогда не видел горных хребтов, а рассказывал о них так увлекательно, будто сам взбирался на недоступные вершины.

«Я черпал из всех источников, отыскивал множество всевозможных сведений, просмотрел наиболее основательные описания отдельных стран». Другое дело, что сами эти источники порой были скудны, сведения недостоверны, описания неполны.

Вот буквально все, что мог (судя по изданному тексту) сообщить Кант своим слушателям о России: «Азиатские земли этого государства географически отличаются от европейских, физическую границу, как полагает Гмелин, образует Енисей, ибо восточнее этой реки меняется весь облик земной поверхности, местность становится гористой, здесь растут другие растения, водятся другие животные. Рыба белуга, обитающая в Волге, глотает большие камни в качестве балласта, чтобы удержаться на дне. Стерлядь и осетр отличаются только тем,

что у первой более нежный вкус. В монастырях Троице-Сергиевском и в районе Киева есть естественным образом неразложившиеся покойники, которых выдают за великомучеников».

Относительно Сибири Кант располагал аналогичного типа информацией. Нигде на свете, утверждал он, пьянство не развито в такой степени, как здесь (исключение составляют мусульмане, религия которых запрещает употребление алкоголя). Зимой в Сибири так много снега, что люди ходят, прикрепляя к ногам длинные доски, табак они не только курят, но и едят. Грузию Кант называет «оранжереей красавиц». В Мигрелии, по его представлениям, всегда стоит дождливая погода. Почва здесь такая мягкая, что ее не нужно пахать перед посевом.

И это еще цветочки. Кант, правда, с недоверием относится к сообщению Плиния об одноглазых и одноногих народах. Но сведения о людях «с небольшим отростком обезьяньего хвоста», обитающих в джунглях Формозы, Борнео и в Оренбургских степях, представляются ему правдоподобными. Издателю кантовских лекций по географии (вышедших в конце жизни автора и уже без его участия) пришлось особо оговаривать аутентичность подобных мест в тексте, свидетельствовавших лишь об уровне знаний XVIII столетия.

К тому же не они делали погоду. Кант создал впечатляющее по тем временам, обобщенное описание земной поверхности, флоры и фауны, царства минералов и жизни народов, населяющих четыре континента — Азию, Африку, Европу, Америку. Кант открыл механизм образования ветров — пассатов и муссонов. Забегая вперед, скажем, что именно географические труды Канта были учтены в первую очередь при избрании его членом Петербургской академии наук.

Естественнонаучные материи по-прежнему доминируют в духовном мире Канта. Но наряду с ними появляется и нечто новое — интерес к философии. Первой собственно философской работой Канта была его габилитационная диссертация «Новое освещение первых принципов метафизического познания». Кант исследует в ней установленный Лейбницем принцип достаточного основания. Он проводит различие между основанием бытия предмета и основанием его познания, реальным и логическим основанием. Реальным основанием движения света с определенной скоростью служат свойства эфира. Основание для познания этого явления дали наблюдения за спутниками Юпитера. Было замечено, что вычисленные заранее затмения этих небесных тел наступают позднее в тех случаях, когда Юпитер находится на наиболее удаленном расстоянии от Земли. Отсюда сделали вывод, что распространение света протекает во времени, и была вычислена скорость света. В этих рассуждениях зародыш будущего дуализма: мир реальных вещей и мир наших знаний нетождественны.

Принцип достаточного основания Кант соотносит с поведением человека. Так возникает перед ним другая проблема, которая будет волновать его на протяжении всей остальной жизни, — проблема свободы. Здесь она также не может оставить автора равнодушным, и это сказывается на манере изложения: в латинскую диссертацию, построенную по строгим канонам — определение, обоснование, интерпретация, — вдруг вклинивается свободно написанный диалог. Вольфианец Титий спорит с Гаем, последователем философии Крузия.

Мы помним, как «солдатскому королю» интерпретировали вольфианство: свободы воли нет, а значит, нельзя привлекать к суду дезертира, он не несет ответственности за свой поступок. Аргументация Крузия против Вольфа в конечном итоге сводилась к тому же, и Кант воспроизводит ее: если все имеет определяющее основание, нам нельзя вменить в вину наши проступки, ибо единственная причина всего — бог; мы лишь неуклонно исполняем предопределенный жребий. Свобода воли несовместима с детерминизмом.

Сам Кант считает, что идея определяющего основания не противоречит свободе. Крузианская свобода воли означает случайное принятие решения, без каких-либо твердых мотивов. Это свобода выпадения игральных костей, игры в чет-нечет, свобода выставить вперед левую или правую ногу. Кант понимает свободу иначе — как сознательную детерминацию поступка, как приобщение к воле мотивов разума. Проблема ответственности, вменения предстает при этом как вопрос о вменяемости, то есть о ясности сознания. В богосотворенном мире зло существует, но вина лежит исключительно на человеке. Вольфианец Титий в кантовском диалоге говорит: «Поступать свободно — значит поступать согласно своему влечению, и притом сознательно». В дальнейшем Кант придет к выводу, что на влечения

полагаться нельзя, они могут завлечь куда угодно; все влечения жестко детерминированы природой, поступать в соответствии с ними — значит оставаться животным.

В целом он пока отстаивает лейбнианско-вольфианскую точку зрения. Хотя в некоторых существенных деталях от нее уже начал отходить. Кант опять ищет компромисс, на этот раз между метафизикой Лейбница — Вольфа и физикой Ньютона. Его не устраивает лейбнианское учение о предустановленной гармонии, об изначально заданной, синхронной, хотя и независимой работе двух субстанций — тела и души. Ему ближе ньютонианская идея взаимодействия. Что касается гармонии бытия и его общей устремленности к благу, то Кант пока в этом не сомневается.

Между тем у других сомнения возникают. В 1753 году Берлинская академия объявила конкурс на лучшее исследование тезиса Александра Попа: «Все благо». Современники восприняли это как подкоп под Лейбница и Вольфа. Пользуясь покровительством короля-галломана, Берлинскую академию оккупировали французы, они принесли с собой дух скептицизма, но прямо выступить против идей основателя академии Лейбница никто не смел. Поэтому объектом критики выбрали английского поэта, в своем знаменитом «Опыте о человеке» переложившего на стихи лейбницевскую концепцию о лучшем из миров. Премию получил крузианец Рейнгардт, доказывавший возможность другого, не менее совершенного мира, чем существующий.

Дело не ограничилось официальной процедурой. В печати началась полемика. Затем в обсуждение проблемы вмешалась сама природа. В конце 1755 года произошло трагическое событие, потрясшее европейские умы, которые давно уже привыкли к тишине, покою, благоденствию. Чудовищной силы землетрясение обрушилось на Лиссабон. Землетрясения бывали и раньше, но на этот раз катастрофа смела цветущий город, столицу европейской державы.

Очевидцы с ужасом вспоминали подробности. Казалось, что море вдруг закипело; гигантская волна двинулась на порт, круша корабли, стоявшие у причала, выбрасывая их на сушу. Королевский дворец рухнул и в мгновение ока оказался под водой. Церкви рассыпались как карточные домики. Земля извергала пламя. За несколько минут погибли десятки тысяч людей, сотни тысяч оказались искалеченными и без крова.

Много лет спустя Гёте в «Поэзии и правде» восстановил картину душевного смятения тех дней. «Может быть, никогда еще демон ужаса так быстро и могущественно не распространял трепет по всей земле. Мальчик, которому много раз приходилось слышать все это, был поражен. Бог, создатель неба и земли, которого первые объяснения религии изображали ему столь мудрым и многосущим, оказался вовсе не таким любящим отцом, одинаково погубив и правых и неправых. Напрасно молодая душа старалась восстановить в себе равновесие, нарушенное этими впечатлениями, тем более что мудрецы и ученые писатели не могли согласиться между собою, как следует смотреть на это явление».

Вольтер откликнулся на беспримерную со времени Геркуланума и Помпеи трагедию поэмой «О гибели Лиссабона, или Проверка аксиомы: «все благо».

*О вы, чей разум лжет: все благо в жизни сей,
Спешите созерцать ужасные руины,
Обломки, горький прах, виденья злой кончины,
Истерзанных детей и женщин без числа,
Под битым мрамором простертые тела;
Сто тысяч бедных жертв, землей своей распятых.
Что спят, погребены в лачугах и палатах¹.*

¹ Перевод А. С. Кочеткова.

Неужели эти бедствия нужны всеблагому богу? Наказание за грехи? Но чем Лиссабон хуже Лондона или Парижа? В каком преступлении повинны дети, раздавленные на материнской

груди? Вольтер не может найти ответ и лишь дает волю своему сарказму по отношению к концепции фатального оптимизма. Окончательно он с ней разделается в повести «Кандид». В ряду непрерывных бедствий героям повести приходится пережить и лиссабонскую катастрофу, и хотя во взглядах сторонника предустановленной гармонии Панглосса изменений не наступает, читателю все же ясно, что к чему. Со временем Кант прочтет и полюбит «Кандида».

Но пока он сам настроен как вольтеровский Панглосс. Лиссабонское землетрясение приковало его внимание, но не поколебало убеждений. Он опубликовал по поводу стихийного бедствия две статьи и брошюру, которая поступала в продажу листами по мере их готовности — так велик был интерес к случившемуся. Человеческую трагедию Кант рассматривает как натуралист. Приступая к изложению истории землетрясения, он оговаривается, что понимает под последней «не историю бедствий, которые пришлось испытать людям, не перечень опустошенных селений и погребенных под их развалинами жителей. Нужно напрячь всю силу воображения, чтобы хоть как-то представить себе ужас, охвативший людей, под ногами которых колеблется почва, на которых низвергаются здания и потоки подземных вод, их страх и отчаяние перед лицом смерти и полной потери имущества. Подобный рассказ мог бы быть трогательным и, действуя на сердца, способствовать их очищению. Однако я предоставляю это более умелым рукам. Я здесь описываю только работу природы».

Кант подчеркивает прежде всего, что землетрясения имеют естественные причины. Он предлагает своим читателям проделать опыт: возьмите 25 фунтов железных опилок, столько же серы, смешайте их с водой и закопайте это месиво на полтора фута в землю, утрамбовав поверхность. Через несколько часов поднимется густой пар, земля начнет колебаться, а из ее глубины вырвется пламя. Таким образом, только в геологических процессах следует искать объяснение стихийного бедствия, жертвой которого пал Лиссабон. Кстати, не один Лиссабон, но и другие португальские города, в большей или меньшей степени пострадавшие от подземных толчков и необычайной силы приливной волны. Все это носило характер не мгновенной расправы с одним городом, а длительного природного процесса. С интервалами в несколько дней подземные толчки продолжались в течение всего ноября и последующих месяцев, их действие отмечалось в различных местах Европы и Африки. И не всюду они были губительными, в некоторых местах даже благотворными. Так, знаменитые целебные источники в Тёплице, на какое-то мгновение иссякнув, затем стали бить с удвоенной силой. И Кант включает в свою брошюру раздел «О пользе землетрясений». Его просветительский оптимизм пока не поколеблен. Он остается на вольфианской позиции, хотя старается смотреть на вещи достаточно трезво. «Человек так занят собой, что считает себя единственной целью божьих предначертаний, как будто они имели в виду лишь его одного, устанавливая управляющие миром законы. Мы знаем, что вся совокупность природы является предметом божественной мудрости и ее предначертаний. Мы составляем часть ее, а хотим быть целым».

Заканчивалась брошюра о землетрясении следующей тирадой: «Охваченный благородным порывом монарх, которого нужда людская не может не подвигнуть на избавление от бедствий войны тех, кому и без того со всех сторон грозят несчастья, есть благодетельный перст доброй десницы господя, награда народам, которую они не могут не оценить по достоинству». Для естественнонаучного трактата несколько необычный конец, не правда ли?

Он станет нам понятен, если мы вспомним, когда писались эти строки. Весна 1756 года. Европейская атмосфера дышит военной грозой. Не надо быть пророком, чтобы почувствовать приближение катастрофы, куда более кровопролитной, чем землетрясение в Португалии. И философ обращается к своему королю с призывом проявить благоразумие.

Но Берлин охвачен военными приготовлениями. В международной политике произошла перегруппировка сил, своего рода «дипломатическая революция». Традиционные соперники — Франция и Австрия находят общий язык, их беспокоит возвышение Пруссии, которая между тем заключает союз с Англией. Русские, саксонцы и шведы на стороне противников Пруссии. Соотношение сил не в пользу Фридриха II, но, окрыленный успехами в двух предшествовавших схватках с Австрией, он первый открывает военные действия.

Что война продлится семь лет, разорит вконец страну и поставит ее на грань катастрофы, Фридрих тогда не предполагал. В августе 1756 года его войска без труда захватили Саксонию и вторглись в австрийские земли. Победы чередовались с поражениями. Блистательным был

разгром французов при Россбахе, принесший Фридриху славу национального героя (французская армия считалась непобедимой, перед ней трепетали все немецкие княжества на Рейне). Россия вступила в войну летом 1757 года. В конце августа прусский корпус Левальда был разбит под Гросс-Егерсдорфом. Однако фельдмаршал Апраксин медлил с дальнейшим продвижением, а затем повернул назад, в Курляндию, на зимние квартиры. Возможно, что у него были тайные указания из Петербурга, где заболела царица Елизавета Петровна, и ждали перемены правительственного курса. Елизавета выздоровела, Апраксина убрали, новому командующему — генерал-аншефу графу Фермору был дан приказ наступать немедленно. Тем более что войска противника ушли из Восточной Пруссии оборонять Померанию от шведов.

Фермор, стоявший в Мемеле, двинул армию на Кёнигсберг, в том числе и кратчайшим путем — по Куршской косе и льду залива. 22 января русские вступили в столицу Восточной Пруссии. «Все улицы, — рассказывает участник похода Андрей Болотов, — окна и кровли домов усеяны были бесчисленным множеством народа. Стечение оно было превеликое, ибо все жадничали видеть наши войска и самого командира, а как присовокуплялся к тому и звон в колокола во всем городе и игранье на всех башнях и колокольнях в трубы и литавры, продолжавшееся во все время шествия, то все сие придавало оному еще более пышности и великолепия.

Граф стал в королевском замке и в самых тех покоях, где до него стоял фельдмаршал Левальд, и тут встречен был всеми членами правительства Кенигсбергского, и как дворянством, так и знаменитейшим духовенством, купечеством и прочими лучшими людьми в городе. Все приносили ему поздравления и, подвергаясь покровительству императрицы, просили его о наблюдении хорошей дисциплины, что от него им и обещано».

В составе Российской империи появилась новая административная единица. 24 января Кенигсберг присягал на верность императрице. Пастор зачитывал немецкий текст, присутствовавшие повторяли его, затем скрепляли клятву собственноручной подписью. Вместе с преподавателями университета принес присягу и доцент Кант. Как все, он обязался «быть верным и покорным всесветлейшей и великодержавнейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне etc., etc. и ее величества высокому престолонаследнику его императорскому высочеству великому князю Петру Федоровичу, с внутренним удовольствием поддерживать их высокие интересы, не только своевременно сообщать обо всем, что направлено против них, но и всеми способами этому препятствовать».

Прусский одноглавый орел уступил место на городских воротах и в учреждениях русскому двуглавному. В богатых домах появились портреты Елизаветы Петровны. В церквях служили благодарственные молебны.

Войны в XVIII веке почти не затрагивали населения; религиозный фанатизм, ожесточавший кровопролитие в предшествующую эпоху, улетучился, тотальное истребление как способ добиться победы еще не народилось. В ходе боевых действий случались, конечно, убийства, насилия, пожары, грабежи, но на это смотрели как на стихийное бедствие. Кровавую тяжбу вели венценосцы, сражались их армии. Администрация, передав город противнику, оставалась на своих местах, завоеватель ограничивался контрибуцией, и жизнь текла по-прежнему. При перемене военного счастья, когда возвращался прежний хозяин, за сотрудничество с неприятелем, как правило, не наказывали. Недовольство Фридриха своими подданными, присягнувшими на верность Елизавете, выразилось только в том, что после войны он никогда более не появлялся в Кенигсберге.

В феврале из Петербурга пришел указ императрицы, подтверждавший все существовавшие ранее «привилегии, вольности, преимущества и права» города Кенигсберга; гарантировалась свобода вероисповедания, передвижения, торговли, неприкосновенность имущества и т. д. и т. п. Специальный раздел указа был посвящен Кенигсбергскому университету, бюджет его оставался без изменения, как и доходы преподавателей, объявлялась полная свобода прохождения учебных курсов. «Студентам дозволяется при академии оставаться и науки свои при оной оканчивать; также и все прочее остается на прежнем основании».

Губернатором Восточной Пруссии был назначен генерал Фермор. Вот свидетельство о пребывании русских в Кенигсберге из немецкого источника: «Фермор пресекал все нарушения

установленного порядка, грабителей расстреливал. Регулярно посещал он вместе со своими офицерами — среди них было много прибалтов — университет, официальные церемонии в актовом зале и лекции Канта, который тогда был приват-доцентом. Кант частным образом читал для русских офицеров лекции по математике, фортификации, военному строительству и пиротехнике. Русская императрица хотела показать себя с лучшей стороны, поэтому управление было поручено гуманным и справедливым офицерам. Фермор ввел новые для здешних нравов порядки — устраивались праздничные обеды с деликатесами русско-французской кухни, балы, маскарады, в которых и молодой Кант принимал деятельное участие. Кенигсберг пробудился от провинциализма»¹.

¹ Эти строки заимствованы из книги «Красный граф», автобиографии Александра Стенбок—Фермора, изданной в ГДР. Автор — прямой потомок русского, полковника. Наследник крупнейшего в Прибалтике имения, подаренного Фермору Елизаветой, он оказался в период гражданской войны в рядах белогвардейского корпуса фон дер Гольца. В последующие годы, лишенный средств к существованию, он стал сначала шахтером, потом левым журналистом, а после второй мировой войны видным общественным деятелем.

К сожалению, пишет не очевидец, и опирается он лишь на семейные предания рода Ферморов, не во всем достоверные. Дело в том, что граф пробыл в Кенигсберге недолго. Вместе с войсками он ушел в Померанию, куда перенесся театр военных действий. Летом 1758 года произошло кровопролитное сражение под Цорндорфом близ Кюстрина. Русские выстояли под натиском Фридриха II, а год спустя наголову разбили его под Кунерсдорфом. Осенью 1760 года русские заняли (правда, ненадолго) Берлин. Король метался в кольце противников, которое должно было вот-вот задушить его. Но союзники медлили, интриговали друг против друга, и катастрофа не наступала.

Между тем Кенигсберг вел мирную жизнь. Завоеванный край находился по сравнению с центральными губерниями России на льготном положении. Здесь не проводили рекрутских наборов, а сумма расходов на содержание армии была сравнительно небольшой. Первое время объявлялись тревоги; однажды среди зимы прошел слух, что приближается армия Фридриха, приказано было обложить все дома «пехкранцами» — горючим материалом, чтобы сжечь город в случае отступления; несколько дней горожане ходили понуриив голову, но и эта тревога оказалась ложной. Когда же боевые действия перенеслись на Одер, а зимовать русская армия уходила за Вислу, то Восточная Пруссия оказалась в таком глубоком тылу, что и думать забыла о бедствиях войны.

Из Петербурга прибыл новый губернатор — барон Николай Андреевич Корф, недалекий и неуравновешенный вельможа, сделавший карьеру только благодаря связям при дворе. Все казенные дела он передоверил подчиненным, а сам проводил время в увеселениях. Человек он был сказочно богатый и привык жить на широкую ногу. Званные обеды, балы, маскарады следовали один за другим. И каждый раз с огромным множеством приглашенных из русского офицерства, местной знати и даже высокопоставленных пленных, с бешеной расточительностью, приводившей в трепет бережливых кенигсбергцев. Из вражеского Берлина пригласили актерскую труппу. Маскарады сначала устраивались только для гостей губернатора в его покоях, а затем в опере для всех желающих.

«Со всех сторон, — повествует А. Болотов, — выписываемы были и съезжались к нам наилучшие музыканты и для всякого почти бала привозимы были новые музыканты и танцы. Коротко, все новое и лучшее надлежало видимо и слышано быть у нас, и можно безошибочно сказать, что жители прусские не видывали с самого начала своего королевства никогда таких еще в столичном городе своем пышностей, забав и увеселений, какие тогда видели и вряд ли когда-нибудь и впредь увидят. Ибо и самые прусские короли едва ли могут когда-нибудь так весело, пышно и великолепно жить, как жил тогда наш Корф». На балах у губернатора блистала графиня Шарлотта Кайзерлинг, покровительствовавшая Канту. Корф был от нее без ума.

Вместе с губернатором из Петербурга прибыл и штат губернской канцелярии — два секретаря, протоколист, канцеляристы, подканцеляристы и копиисты. Собирались долго, но упустили важную деталь: не взяли с собой переводчика; чиновничья братия ни слова не знала по-немецки, а местные жители, как на грех, не понимали по-русски. Плохо знал официальный язык империи и губернатор Корф — прибалтийский немец. Толмача пришлось искать среди

военных. Так пехотный офицер подпоручик Андрей Болотов (воспоминания которого представляют собой не только исторический источник, но и замечательный литературный памятник эпохи) оказался прикомандированным к губернскому ведомству. Долгое время он был единственным (из тех, кто фактически вершил делами), знавшим оба языка. Через его руки проходили все жалобы, прошения и прочие бумаги. Не иначе как ему пришлось вникать и в суть прошения магистра Иммануила Канта.

Университет не прерывал занятий. Кант продолжал читать свои курсы, к обычным прибавились занятия с русскими офицерами. Кант действительно читал и фортификацию и пиротехнику. Среди его слушателей могли оказаться Григорий Орлов, будущий екатерининский вельможа, раненный под Цорндорфом и находившийся в Кенигсберге на излечении, и Александр Васильевич Суворов, тогда подполковник, навещавший в прусской столице своего отца генерала В. И. Суворова, который сменил Корфа на губернаторском посту; друг Канта Шеффнер в своих воспоминаниях пишет, что был знаком с будущим русским генералиссимусом как раз в те годы.

В декабре 1758 года умер профессор философии Кипке. На освободившееся место объявилось пять претендентов. Среди них был и Кант, выставивший свою кандидатуру по настоянию давнего благожелателя — пастора Шульца, ныне профессора богословия и ректора университета. Из пяти кандидатов академический сенат отобрал двух — Бука и Канта; представление на высочайшее имя отправили 14 декабря 1758 года. В тот же день Кант от себя лично направил императрице Елизавете Петровне прошение, которое мы приведем полностью:

***«Всесветлейшая, великодержавнейшая императрица,
самодержица всех россиян, всемилостивейшая императрица и великая жена!***

С кончиной блаженной памяти доктора и профессора Кипке освободился пост ординарного профессора логики и метафизики Кенигсбергской академии, который он занимал. Эти науки всегда были предпочтительным предметом моих исследований.

С тех пор как я стал доцентом университета, я читал каждое полугодие по этим наукам private лекции. Я защитил публично по этим наукам 2 диссертации, кроме того, 4 статьи в Кенигсбергских ученых записках, 3 программы и 3 других философских трактата дают некоторое представление о моих занятиях.

Лестная надежда, что я доказал свою пригодность к академическому служению этим наукам, но более всего всемилостивейшее расположение Вашего Импер. Величества оказывать наукам высочайшее покровительство и благосклонное попечительство побуждают меня верноподданнейше просить Ваше Импер. Величество соблагovolить милостиво определить меня на вакантный пост ординарного профессора, уповая на то, что академический сенат в рассуждении наличия у меня необходимых к сему способностей сопроводит мою верноподданнейшую просьбу благоприятными свидетельствами. Умолкаю в глубочайшем унижении,

Вашего Импер. Величества верноподданнейший раб Иммануил Кант Кенигсберг 14 декабря 1758 г.»

Текст прошения был впервые опубликован в 1893 году Дерптским (ныне Тартуским) университетом по копии, неизвестно кем и когда снятой. Публикатор русского перевода Юрий Бартенев (журнал «Русский архив». 1896, № 7) задавался вопросом, где находится подлинник прошения и кто докладывал о нем Елизавете Петровне. Автор настоящих строк отправился в архивы. К сожалению, розыски ничего не дали. Ни в Архиве внешней политики России, где хранятся реляции, поступавшие из Кенигсберга, и царские указы, направлявшиеся в Прусское королевство, ни в Центральном архиве древних актов, где собраны все сохранившиеся материалы Кенигсбергской канцелярии, нет следов прошения Канта. (Есть прошение профессора И. Г. Бока об освобождении его от уплаты контрибуции; Бок занимал в университете кафедру поэзии, русские войска он встретил одой в честь Елизаветы Петровны, стихи переслали императрице, ей понравились, и повелено было из казны выдать автору 500 ефимков, а Петербургской академии наук принять его «себе в сочленье»; платить контрибуцию русскому академику, разумеется, не пришлось.) Вопрос о профессорской вакансии решался, по-видимому, не в Петербурге, а в Кенигсберге.

Решен он был не в пользу Канта. Оплачиваемое место профессора получил Бук, который был старше и по возрасту, и по преподавательскому стажу. Может быть, сыграло определенную роль и другое обстоятельство. Упомянутый Андрей Болотов, занимавший ответственное положение в губернской канцелярии, проявлял живой интерес к философии. Вольфианство внушало ему отвращение, казалось рассадником цинизма, вольнодумства и безбожия. (В Вольтере и Гельвеции Болотов видел «извергов и развратителей человеческого рода».) Одно время, начитавшись вольфианских сочинений, он сам усомнился в истинности догматов откровения и испытывал мучительные угрызения совести. Случайно купленная за грош проповедь Крузия спасла положение. «Была она не столько богословская, сколько философическая, и великий муж сей умел так хорошо изобразить в ней великую важность удостоверения себя в истине откровения и ужасную опасность сомневающихся в том, что меня подрало ажно с головы до ног при чтении сего периода, и слова его и убеждения толико воздействовали в моем уме и сердце, что я чувствовал тогда, что с меня власно как превеликая гора свалилась и что вся волнующаяся во мне кровь пришла при конце оной в наиприятнейшее успокоение. Я обрадовался неведано как и сам себе возопил тогда: когда уже сей великий и по всем отношениям наивеличайшего уважения достойный муж с таким жаром вступает за истину откровения, и так премудро и убедительно говорит о пользе удостоверения себя в истине оного, то как же можно более мне в том сомневаться, мне в тысячу раз меньше его все сведущему! Нет, нет! продолжал я, с сего времени да не будет сего более никогда, и я не премину последовать всем его предлагаемым в ней советам. Словом, как она, так и самая особливость сего случая так меня поразила, что я, пав на колена, и со слезами на глазах благодарил Всевышнее Существо за оказанную мне всем тем, почти очевидно, милость и прося Его о дальнейшем себя просвещении; с того самого часа, при испрошаемой его себе помощи, положил приступить к тому, что г. Крузий от всех слушателей и читателей своих требовал, а именно, чтоб прочесть наперед все то, что писано было в свете в защищение истины откровенного закона божьего».

Кант был явным антикрузианцем. Что касается религии, то даже благоволившее к нему университетское начальство не было уверено в ортодоксальной чистоте его убеждений. «Живете ли вы по-прежнему в страхе божьем?» — спросил Канта ректор Шульц и, только получив утвердительный ответ, предложил ему добиваться профессуры.

В записках Болотова, подробно освещающих Кенигсбергскую жизнь тех лет, имя Канта не упоминается. Зато неоднократно речь идет о его противнике по университету крузианце Веймане, лекции которого с увлечением слушал Болотов, укрепляясь еще сильнее в антипатиях к вольфианству. Болотов учил наизусть тексты Крузия и переводил их на русский язык. Умиленный Вейман считал Болотова своим лучшим учеником. Возможно, что новоявленный крузианец предпочел передать кафедру философии математику Буку, равнодушному к острым мировоззренческим вопросам, чем вольфианцу Канту.

В октябре 1759 года Вейман проходил габилитацию. К защите он представил диссертацию «О мире не самом лучшем». Признать наш мир лучшим, утверждал он, значит ограничить свободу божественной воли. Кант отказался выступить оппонентом, а на следующий день после защиты вышла его брошюра «Опыт некоторых рассуждений об оптимизме» — проспект лекций на зимний семестр. Брошюра содержала полемику с Крузием и его последователем Рейнгардом, получившим премию на конкурсе Берлинской академии. Имя Веймана не упоминалось, но он принял брошюру на свой счет и выпустил «Ответ на опыт некоторых рассуждений об оптимизме».

Кант полемику не продолжил, он полагал, что в его проспекте лекций идея совершенства нашего мира обоснована безукоризненно. На первый взгляд она содержит противоречие: как к любому числу можно прибавить единицу, так к любой сумме реальностей можно присовокупить новую реальность, новое совершенство. Кант не согласен: реальность не количественное понятие; наибольшее число действительно невозможно, а наибольшая реальность не только возможна, но и действительна, она пребывает в боге. «Именно потому, что из всех возможных миров, которые бог знал, он избрал только один этот мир, надо полагать, что он считал его наилучшим, и так как его выбор никогда не бывает ошибочным, то, значит, это так и есть в действительности».

Много лет спустя Кант назовет свое состояние в магистерские годы «догматическим сном». Он запретит пользоваться своими ранними трудами, а что касается трактата об оптимизме, то даже выскажет пожелание, чтобы все сохранившиеся его экземпляры были уничтожены. Действительно, вдумайтесь в следующую тираду: «Избранный наилучшим из всех существ быть незначительным звеном в самом совершенном из всех возможных замыслов, я, сам по себе ничего не стоящий и существующий лишь ради целого, тем более ценю свое существование, что был предназначен занять некоторое место в самом лучшем из замыслов творения... Целое есть наилучшее, все хорошо ради целого». Трудно сказать, чего здесь больше, — примитивной церковной догматики или плоского просветительского догматизма. «Я, сам по себе ничего не стоящий...» Как контрастирует эта уничижительная декларация с будущим кантовским девизом «Человек есть цель сама по себе».

Все благо. Все к лучшему. Но вот во цвете лет умирает юноша. Не может ли мать покойного возроптать против бессердечия всевышнего? Кант пишет матери письмо, которое затем публикует в виде брошюры. «Мысли магистра Иммануила Канта, преподавателя мировой мудрости в Кёнигсбургской академии, по поводу безвременной кончины высокородного господина Иоганна Фридриха фон Функа...»

Пути провидения, уверяет Кант, везде и всегда мудры и достойны преклонения. Преждевременная смерть тех, на кого мы возлагали надежды, повергает нас в ужас, а между тем как часто это бывает величайшей милостью неба! Не заключалось ли несчастье многих людей в том, что смерть приходила к ним слишком поздно? По Канту получается, что близким господина фон Функа надо не горевать, а радоваться его кончине. «Соблазны, уже надвигавшиеся, чтобы сломить еще не вполне окрепшую добродетель, горести и превратности судьбы, которыми грозило грядущее, — всего этого избежал сей счастливец, ранней смертью унесенный от нас в благословенный час».

Таковы плоды вольфианского Просвещения. Скоро они покажутся Канту горькими. Начнется пробуждение от «догматического сна».

Глава вторая

НАУКА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНАЯ ЧЕЛОВЕКУ

Какую философию ты выбираешь, зависит от того, что ты за человек,

Фихте

В 1762 году Семилетняя война пошла на убыль. В тот момент, когда Пруссия находилась на грани краха, когда Фридрих считал, что все потеряно, намеревался отречься от престола и носил с собой яд, из Петербурга пришло спасительное сообщение о смерти Елизаветы Петровны. Русским императором стал ее племянник Петр III — полунемец, женатый на немецкой принцессе, сторонник и поклонник прусского короля. Последствия сказались сразу же. Россия вышла из войны, заключила союз с Пруссией и повернула оружие против своих союзников. Фридрих, который был готов идти на любые территориальные уступки, расстаться, в частности, с Восточной Пруссией, неожиданно-негаданно получил назад все потерянные земли. В русской гвардии ввели прусские мундиры и прусскую муштру. Русскую армию стали готовить к войне за прусские интересы.

К этому времени в Кенигсберге уже не было ни легкомысленного губернатора Корфа, ни сменившего его сурового администратора Суворова. Убыл на родину и поручик Андрей Болотов, подарив на прощание своему учителю философии магистру Вейману тулуп из овчины. 8 июля последний русский губернатор Восточной Пруссии Воейков издал прокламацию, освобождавшую население от присяги царю. С городских ворот и административных зданий сняли русские гербы и снова водрузили прусские.

Начались новые молебствия и торжества. И вдруг стало известно о дворцовом перевороте в Петербурге: на престоле императрица Екатерина II. Воейков снова принял на себя губернаторские полномочия, снова появились в Кенигсберге и русские гербы и русские часовые.

Екатерина II (урожденная Софья Августа, принцесса Цербстдорнбургская) была дочерью прусского генерала. Немецкие симпатии боролись в ней с желанием утвердиться на русском престоле. В результате возникло компромиссное решение: союз с Фридрихом расторгнуть, но завоеванное вернуть. В августе Восточную Пруссию окончательно передали пруссакам: фельдмаршал Левальд вернулся в Кенигсбергский замок. (Фридрих отблагодарил Екатерину избранием в Берлинскую академию наук, где она стала первой женщиной и оставалась единственной вплоть до конца следующего столетия.)

1762 год был переломным и для героя нашей книги. Принято считать, что важнейшую роль в новых исканиях Канта, которые в дальнейшем привели к созданию критической философии, сыграло знакомство с творчеством Жан-Жака Руссо. В конце лета в руки Канта попал роман «Эмиль». Книга, сожженная рукой палача и в католической Франции, я в кальвинистской Швейцарии, так его захватила, что он несколько дней не выходил на свою обычную прогулку, проводя время за чтением. На стене кабинета появилось единственное украшение — портрет женеvского гражданина.

Руссо стал для Канта, по его признанию, «вторым Ньютоном». Если через призму ньютоновских уравнений Кенигсбергский философ смотрел на беспредельный звездный мир, то парадоксы Руссо помогли ему заглянуть в тайники человеческой души. По словам Канта, Ньютон впервые увидел порядок и правильность там, где до него находили лишь беспорядочное многообразие, а Руссо открыл в людском многообразии единую природу человека. Книгам Руссо Кант был обязан прежде всего освобождением от ряда предрассудков кабинетного ученого, своеобразной демократизацией мышления. «Я испытываю огромную жажду познания... Было время, когда я думал, что все это может сделать честь человечеству, и я презирал чернь, ничего не знающую. Руссо исправил меня. Указанное ослепляющее превосходство исчезает: я учусь уважать людей». Это была не просто перемена воззрений, это было нравственное обновление, революция в жизненных установках.

Руссо стал известен благодаря своему трактату «Рассуждение о науках и искусствах», получившему премию на конкурсе Дижонской академии наук. Конкурсная тема была сформулирована следующим образом: «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов». Речь шла об эпохе Возрождения, но Руссо, воспользовавшись двусмысленностью термина, поставил вопрос о прогрессе вообще и его противоречиях. Вот его вывод: «Прогресс наук и искусств, ничего не прибавив к нашему истинному благополучию, только испортил нравы».

Руссо ярче и раньше других выразил нарождающееся умонастроение эпохи, начинавшей пересматривать постулаты раннего Просвещения — веру во всеисилье рассудочного мышления и благоразумие монархов.

Семилетняя война кое-чему научила. Но в Германии потребуются еще десятилетие, прежде чем движение «Бури и натиска» откроет новую страницу в духовной жизни страны. Пока только отдельные, наиболее чуткие умы фиксируют кризисную ситуацию.

На глазах Канта произошла удивительная духовная метаморфоза. В 1756 году он познакомился с Иоганном Георгом Гаманом, уроженцем Кенигсберга и воспитанником здешнего университета. Гаман проезжал тогда через родной город, направляясь в Лондон в качестве представителя рижской торговой фирмы «Беренс». Гаман был увлечен коммерцией, он хотел изучать экономику, в Англии, полагал он, можно преуспеть и в том и в другом. В Лондоне, однако, возникли иные интересы; любознательный, впечатлительный, легко поддающийся влияниям, Гаман ведет рассеянную жизнь и быстро остается без средств. К денежным трудностям присоединяется болезнь. В поисках выхода Гаман обращается к Библии и находит в ней утраченную жизненную опору. Домой он возвращается преображенным. Беренс готов простить ему понесенные убытки, он прибегает к помощи Канта, пытаясь вернуть своего друга в лоно Просвещения. Безуспешно; на уме у Гамана совсем другое: с фанатизмом прозелита он погружен в Священное писание, читает его в подлиннике, учит греческий и арабский. Впрочем, не забывает и о современной литературе — английской, французской, родной немецкой. И вскоре сам начинает писать.

Магистр Кант, «маленький магистр» (так называет его Гаман) — человек иных интересов, иного склада ума и характера, но достаточно широкого, чтобы увидеть в Гамане незаурядную личность. Их знакомство крепнет. Дело происходит в 1759 году. От Гамана, проживающего в том же городе, приходит письмо на многих страницах — ответ на призывы друзей одуматься. Это явная проба пера, набросок литературного произведения. Действительно, вскоре выходит из печати тоненькая книжица «Сократические достопримечательности» с посвящением «никому и двум». «Никто» — это читающая публика, «двое» — Кант и Беренс. Не упоминая имен, Гаман дает выразительные характеристики. Об одном из них он говорит, что тот хотел бы уподобиться Ньютону и стать вардейном (так назывался контролер за качеством монеты) философии. Да только в денежном обращении Германии куда больше порядка, чем в учебниках метафизики. Мудрецы еще не изобрели эталон, с помощью которого можно было бы определить наличие истины в их идеях, как измеряют содержание благородных металлов в разменной монете. Всё это явно по адресу Канта.

Гаман пишет в тяжелой манере, перегруженной намеками и недомолвками. Он говорит не столько об афинском мудреце, сколько о себе самом, своих духовных исканиях. В письме к Канту Гаман называл его Сократом, Беренса — Алкивиадом, а себя — гением Сократа, его интуицией. Теперь, в «Сократических достопримечательностях», Кант и Беренс как бы софисты, носители казуистической учености, а сам он христианский Сократ. Подобно своему великому предшественнику, который встал в оппозицию к просвещенным афинянам, Гаман отрекается от просветительских постулатов. «Мы мыслим слишком абстрактно» — вот главная беда. Наша логика запрещает противоречие, между тем именно в нем истина. Запрет противоречия — это «отцеубийство мысли». Дельфийский оракул назвал мудрейшим Сократа, который признался, что он ничего не знает. Кто из них лгал — Сократ или оракул? Оба были правы.

Главное для Гамана — самопознание; здесь, по его мнению, разум бессилён, знания — помеха; помочь может только вера, основанная на внутреннем чувстве. Под его пером Сократ превращается в иррационалиста, провозвестника христианства: афинский философ хотел вывести своих сограждан из лабиринта ученой софистики к истине, которая лежит в «сокровенном», в поклонении «тайному богу». Таким видит Гаман и свой жребий. Канта подобная перспектива — сменить один лабиринт на другой — воодушевить не могла. В этом духе он высказался Гаману, в результате их отношения стали натянутыми.

И все же аргументы «северного мага» заставляли задуматься. Не мог не размышлять Кант и над новой книгой Гамана «Крестовые походы филолога» — сборником, центральное место в котором принадлежит эссе с несколько необычным названием «Эстетика в орехе». Необычным было прежде всего само слово «эстетика». Его ввел незадолго до этого Александр Баумгартен для обозначения учения о красоте, которое для него было равнозначно теории чувственного познания. Баумгартен, последователь Лейбница и Вольфа, считал эстетическое, сферу чувств низшей ступенью познания. Гаман на первой же странице своего эссе категорически утверждает противоположное — все богатство человеческого познания состоит в чувственных образах, выше образа ничего нет. Образ целостен, а «разрозненное — порочно».

«Великолепная максима, — говорил впоследствии по поводу этого афоризма Гёте, — но руководствоваться ею нелегко. К жизни и к искусству она, конечно, применима, но при обращении к слову, не относящемуся к поэзии, вряд ли пригодна, ибо слово должно освободиться, обособиться, чтобы что-нибудь говорить и значить. Человек, желающий утверждать то или иное положение, в тот миг волей-неволей односторонен; нельзя что-либо утверждать, не расчленив и не разрознив». Кант мог бы сказать примерно то же самое. И все же критика абстрактного мышления, вольфианского культа односторонней систематики не могла не привлечь его внимания.

Вольфианцев Гаман обвиняет в схоластике, в отрыве от жизни, от природы. «Ваша убийственно лживая философия убрала с своего пути природу... Вы хотите господствовать над природой, между тем вы связываете себя по рукам и ногам». Мнящие себя господами оказываются на самом деле рабами. Когда подобная инвектива, обращенная уже не к одной из философских школ, а ко всей современной цивилизации, придет с другого конца Европы, она не оставит Канта равнодушным. Гаман подготовил Канта к принятию Руссо.

Руссоистом Кант не стал; из своих занятий географией он вынес слишком хорошие знания о жизни отсталых народов, чтобы ее идеализировать. «Метод Руссо — синтетический, и исходит он из естественного человека; мой метод — аналитический, и исхожу я из человека цивилизованного... Естественным путем мы не можем быть святыми... Аркадская пастушеская жизнь и излюбленная у нас придворная жизнь — обе одинаково пошлы и неестественны. Ведь истинное удовольствие не может иметь место там, где его превращают в занятие». Эти выдержки из черновых набросков 60-х годов свидетельствуют о достаточно критическом отношении Канта к своему любимцу.

Помимо Руссо, Кант впоследствии называл еще Давида Юма в качестве мыслителя, который помог ему пробудиться от «догматического сна». Энтузиаст-француз и скептик-англичанин, опять две противоположности сливаются воедино в противоречивой натуре Канта. Руссо «исправил» Канта как человека и моралиста, Юм повлиял на его теоретико-познавательные поиски, толкнул к пересмотру метафизических догм.

В преддверии зимнего семестра 1762 года Кант, как и раньше, выпустил брошюру — приглашение к лекциям. В предыдущих трактовались естественнонаучные проблемы. На этот раз для рассмотрения был взят философский сюжет. Брошюра называлась «Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма» и содержала первую, еще робкую, но многообещающую попытку критики формальной логики, служившей опорой вольфианству. Кант называет формальную логику «колоссом на глиняных ногах»; он не льстит себя надеждой ниспровергнуть этот колосс, хотя и замахивается на него.

К логике Кант предъявляет требование проследить образование понятий. Последние возникают из суждений А в чем заключается таинственная сила, делающая возможными суждения? Ответ Канта — суждения возможны благодаря способности превращать чувственные представления в предмет мысли. Ответ знаменателен: он свидетельствует о первом, пока еще очень смутном стремлении Канта создать новую теорию познания. До этого он разделял вольфианское преклонение перед дедукцией, был убежден, что возможности выведения одних понятий из других безграничны (хотя его собственные исследования природы опирались на экспериментальные данные). Теперь он задумывается над тем, как в философию ввести опытное знание.

Этой заботой пронизана и другая, написанная в конце 1762 года (опубликованная два года спустя), работа «Исследование очевидности принципов естественной теологии и морали». Возникла она в связи с конкурсом Берлинской академии наук. Задача конкурса состояла в том, чтобы выяснить, содержат ли философские истины, в частности основоположения теологии и морали, возможность столь же очевидного доказательства, каким обладают истины в геометрии; если же такой возможности не существует, то какова природа этих основоположений, какова степень их достоверности и обладает ли последняя полнотой убедительности.

В конкурсе приглашались принять участие ученые всех стран (кроме членов Берлинской академии, которые выступали в роли жюри). Премия — золотая памятная медаль ценой в 50 дукатов. Чисто и разборчиво переписанную рукопись надлежало прислать непременно секретарю академии профессору Форма не позднее 31 декабря 1762 года. Авторы просили имени своего не указывать, а сообщить его в запечатанном конверте, начертав на нем, как и на рукописи, какое-нибудь изречение.

Казалось, что тема специально придумана для Канта, начинавшего свое пробуждение от «догматического сна» в объятиях вольфианской метафизики. Сопоставляя философию с математикой, Кант говорит о качественном многообразии объектов первой по сравнению с объектами второй. Сравните понятие триллиона с понятием свободы. Отношение триллиона к единице ясно каждому, но свести свободу к составляющим ее единицам, то есть простым и известным понятиям, пока еще никому не удавалось. Многие люди, конечно, считают философию более легкой наукой, чем высшая математика, однако эти люди именуют философией все то, что содержится в книгах с таким названием. Между тем подлинная философия еще не написана. Философия должна усвоить метод, который Ньютон ввел в естествознание и который принес там столь плодотворные результаты. Надлежит, опираясь на достоверные данные опыта, отыскать всеобщие законы.

Как быть, однако, с богословием? Каким опытом можно доказать бытие бога? Опыт, на который должна опираться философия, — это не только показания чувств, но и «внутренний опыт», непосредственно очевидное сознание. Благодаря последнему становится весьма достоверным познание бога.

Конкурсная работа требовала ответа и на вопрос об основоположениях морали. Здесь, по мнению Канта, еще не достигнута необходимая степень очевидности, дела обстоят хуже, чем с теологией. Хотя в принципе достоверное обоснование нравственности вполне возможно. И Кант высказывает важное для его дальнейшего философского развития соображение: нельзя смешивать истину и благо, знание и моральное чувство.

Мимоходом, в нескольких строках конкурсной работы была высказана еще одна примечательная мысль — о роли неосознанных представлений. Проблема подсознания встала перед наукой в XVII веке. Локк отверг возможность существования неконтролируемой психической деятельности. Думать, что душа мыслит и человек не замечает этого, значит делать из одного человека две личности. Если человек во сне мыслит, не зная этого, то спящий и бодрствующий человек — разные лица. Сократ спящий и Сократ бодрствующий, настаивал Локк, конечно, не одно и то же лицо. Канта, все более проникавшегося диалектическими идеями, подобные заявления смутить не могли. В дальнейшем он и сознательное поведение человека расчленил на две сферы, найти же некоторую оппозицию сознанию, которая была чем-то иным, но вместе с тем и не абсолютной его противоположностью, не представляло для него труда. Тем более что уже Лейбниц в свое время решительно высказался против Локка, назвав величайшим источником заблуждений мнение, будто душа наша обладает лишь такими восприятиями, которые она осознает. Бессознательное Лейбниц именовал «малыми восприятиями»; хотя они и малы, роль их велика, именно они формируют привычки и вкусы. Термин Канта — «темные представления». Те, кто отрицает их значение, «проходят мимо великой тайны природы, а именно вполне вероятно, что как раз в самом глубоком сне душа более всего способна к разумному мышлению». Это надо запомнить: здесь ключ к одному из важнейших разделов «Критики чистого разума».

Кант спешивал заканчивать свою работу, опасаясь не успеть к сроку. Поэтому кое-что осталось без надлежащей аргументации, одно не всегда вытекало из другого. Он отдавал себе отчет в слабостях своего сочинения и оговорил их в особой приписке, обещая при благоприятной оценке трактата в целом внести в текст соответствующие исправления.

Ждать результатов конкурса пришлось полгода. В прибывшей из Берлина газете он прочитал сообщение о том, что на заседании Академии наук 31 мая 1763 года было определено, какой работе присудить конкурсную премию. После вскрытия запечатанного конверта оказалось, как гласило официальное сообщение, что «здешний еврей Моисей, сын Менделя, является автором премированной работы. Одновременно академия признала немецкую работу под девизом

*«Но и следов, что я здесь слегка лишь наметил, довольно,
Дабы ты чутким умом доследовал все остальное»
почти равной сочинению ученого еврея, одержавшего победу».*

Именно этим латинским двустишием из поэмы Лукреция «О природе вещей» Кант зашифровал свой трактат. Премия ему не досталась, но что означает характеристика работы как «почти равной сочинению победителя»? Кант немедленно обратился за разъяснениями к профессору Форме. Означает ли это, что работа будет напечатана совместно с получившей премию? Если да, то можно ли внести в текст некоторые дополнения и исправления? Из Берлина пришел положительный ответ: обе работы будут изданы совместно, авторы могут осуществить необходимую доработку. Кант, однако, не удосужился заняться редактированием текста, который увидел свет в первоизданном виде.

Из Берлина Кант получил еще одно приятное известие: там появилась благожелательная рецензия на его предназначенный для Кенигсбергских студентов проспект лекций «Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма». Анонимный рецензент (это был все тот же Мендельсон) называл автора «отважным человеком, который угрожает немецким академиям страшной революцией».

Грядущую философскую революцию предвещают и те идеи, которые Кант высказывает в трактате «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин». Кант сетует на то, что рассматриваемые проблемы ему еще недостаточно ясны, но он публикует свою работу, исходя из твердой веры в их значительность и понимания того, что даже незаконченные опыты в области философии могут быть полезными, ибо чаще другой находит решение вопроса, нежели тот, кто его ставит.

Внимание Канта привлекает проблема единства противоположностей. Исходный пункт рассуждений — установленное еще в габилюационной диссертации различие между логическим и реальным основанием. Справедливое для логики может быть неистинным для реальной действительности. Логическая противоположность состоит в том, что относительно одной и той же вещи одновременно какое-либо высказывание утверждается или отрицается. Логика запрещает полагать оба высказывания истинными. Относительно тела нельзя одновременно утверждать, что оно движется и покоится: одно упраздняет другое, в результате получается ничто.

Иное дело — реальная противоположность, которая состоит в противонаправленности сил. Здесь также одно упраздняет другое, однако следствием будет не ничто, а нечто. Две равные силы могут действовать на тело в противоположных направлениях, следствием будет покой тела, который также есть нечто реально существующее.

Подобными реальными противоположностями полон окружающий нас мир. Математика в учении об отрицательных величинах давно уже оперирует понятием реальной противоположности. Философия должна перенять у математики некоторые принципы, истинность которых доказана самой природой. В частности, это относится к понятию реальной противоположности, которую можно обнаружить не только в природе, но и в поведении человека. Удовольствие и неудовольствие относятся друг к другу как положительная и отрицательная величины. Свою мысль Кант иллюстрирует примером. Матери-спартанке приносят весть о героических подвигах ее сына, чувство удовольствия наполняет ее душу. Но вот она узнает, что сын пал на поле брани, ее удовольствие уменьшается. Кант предлагает степень удовольствия при первом известии выразить символом $4a$; если мы предположим, что неудовольствие от второго известия представляет собой простое отрицание, равное нулю, то, сложив то и другое, мы получаем $4a+0=4a$, то есть удовольствие не было уменьшено известием о смерти, что неверно. Если же неудовольствие выразить какой-либо отрицательной величиной, например, $-a$, то тогда мы получим правильный результат: $4a - a=3a$.

То, что Кант переводит чувства на цифры, и полученный результат говорят не в его пользу. И все же не станем судить строго философа, мы знаем: он уже учится «уважать людей». Ученье требует времени, от старых предрассудков отделаться нелегко.

* * *

В зимнем семестре 1762 года у Канта появился новый студент, на которого он сразу обратил внимание. Молодой человек числился на теологическом факультете, обладал незаурядными способностями и усидчивостью, писал неплохие стихи, подражая любимым поэтам Канта — Галлеру и Попу. Одну из лекций своего учителя юноша переложил на стихи и вручил их при следующей встрече магистру, которому они так понравились, что тот прочел их вслух с кафедры. А ода, написанная им в честь восшествия на престол русского царя Петра III, уже увидела свет. Студент был беден, и Кант не брал с него денег за обучение.

Иоганн Готфрид Гердер, сын звонаря и учителя приходской школы в Морунгене, не помышлял о высшем образовании. Помог случай. В городке расположился на зимние квартиры русский полк. Военный хирург Шварц-Эрла принял участие в судьбе начитанного юноши, помогавшего ему в переводах на латынь. Он взял с собой Иоганна Готфрида в Кенигсберг, решив сделать из него врача. Чувствительный молодой человек упал в обморок при первом же вскрытии; Гердеру пришлось поступить на теологический факультет.

У Канта Гердер прослушал все его тогдашние курсы — метафизику, мораль, логику, математику, физическую географию. Старательно записывал их, приводя дома свои конспекты в порядок. Сохранились все его записи -аккуратные, ясные, обстоятельно излагающие суть

проблем, волнующих Канта. Вот лектор выдвигает тезис — душа представляет собой простую субстанцию. Хорошо, но означает ли это, что она занимает место в пространстве? Если да, то душа материальна и тогда должна открыться возможность ее измерить. Вы можете себе представить 1 кубический дюйм духов? И скажите, в каком месте тела человека находится его душа? Значит ли это, что духи бестелесны? Может быть, у них особые, органические тела? Как иначе они могли бы присутствовать и действовать во вселенной? Ведь существует же сила магнетизма, материальная, но невидимая. Пока напрашивается только один вывод: у души есть внутренняя природа, известная нам из факта сознания, что касается внешней ее природы, то об этом мы ничего не знаем.

Еще проблема. Сохраняет ли душа свое бытие после смерти тела? Весьма вероятно. (Обратите внимание, доцент королевского университета разрешает себе уклониться от безусловно утвердительного ответа на один из основных вопросов христианского вероучения. Недаром поручик Болотов с опаской взирал на вольфианство, усматривал в нем начало сомнения.) Что говорит в пользу бессмертия? Если я должен ждать своего полного исчезновения, значит, мое бытие всего лишь игрушка в руках создателя. Моя мысль протестует против этого, я вообще тогда не хочу жить. Я говорю: мир не скопище обломков, это некое единство, целое; а раз так, то должна существовать единая цепь от прошлого к будущему. Вопрос в том, является ли человек носителем подобной цепи? Человек приходит в жизнь в силу случайного стечения обстоятельств. Случаен факт зачатия, случайно выживание эмбриона и новорожденного. Иные живут так мало, что не успевают реализовать искомую связь между прошлым и будущим. А что, если ты живешь долго? Любая жизнь коротка по сравнению с беспредельной наукой. Ученый в старости может впасть в детство. Ньютон не знал удовольствий, ни отдыха, ни покоя, жил только наукой, а кончил старческим слабоумием, став предметом насмешек. Не лучше ли бездумная жизнь, в кругу друзей? Иди, ищи удовольствий! Смерть все равно поджидает тебя. (Кант как бы размышляет вслух, он явно на распутье. От самоуверенности юноши, гордо уверявшего, что он «выбрал путь», не осталось и следа.)

Кант говорит о боге. Ни на собственном, ни на чужом опыте мы не можем убедиться в его существовании. Нам остается положиться на разум: только система рассуждений приводит к выводу, что есть на свете некое высшее, абсолютное и необходимое существо. (Свои соображения по данному поводу Кант изложил в трактате «Единственно возможное основание для доказательства бытия бога». Работа вышла в конце 1762 года, принесла автору первую литературную известность, но богословов насторожила. Магистр Вейман немедленно выпустил ее опровержение; в католической Вене она угодила в список запрещенных книг.)

Встает, однако, вопрос: не подрывает ли подобное отношение к религии основ нравственности? Вслед за Бейлем и Хатчесоном Кант утверждает: мораль и религия — разные вещи. Мораль скорее всеобщий человеческий, нежели божественный, суд. Конечно, страшен бог без морали, но такое бывает (для готтентотов христианский бог выглядит как голландский капитан). Может и мораль обходиться без религии. Есть нравственные народы, не познавшие бога. Общество должно терпимо относиться к атеистам, если они ведут себя нравственно. Спиноза был честный человек. При воспитании надо сначала пробудить моральное чувство, а потом прививать понятие о божестве, иначе религия превратится в предрассудок, и вырастет хитрец, лицемер. Сначала надо выработать внутренние обязанности, а потом внешние. Культура морального чувства должна предшествовать культуре послушания. Поступай в соответствии со своей моральной природой — таким должен быть основной закон поведения.

Трудность, однако, состоит в том, чтобы определить моральную природу человека. Если спартанскую женщину вытаскивали обнаженной на улицу, это было для нее страшнее смерти. А на Ямайке индианки ходят голые. Жениться на сестре — преступление, а в Древнем Египте в подобных браках был сакраментальный смысл. Эскимосы, убивающие своих престарелых родителей, фактически оказывают им услугу, спасая от долгого умирания или мучительной смерти на охоте. Руссо имел основание задуматься над тем, что естественно, а что искусственно в человеке, в одном он был безусловно прав: одностороннее развитие науки приносит вред.

Гердер оставил не только выразительную картину духовных исканий Канта, но и яркий словесный портрет своего учителя. Последнее он сделал в преклонных годах, когда уже враждовал с Кантом, поэтому в желании польстить заподозрить его нельзя. «С благодарной

радостью, — писал он, — я вспоминаю свое знакомство в молодые годы с философом, который был для меня подлинным учителем гуманности. В цветущие годы своей жизни он обладал веселой бодростью юноши, которая, несомненно, останется у него и в глубокой старости. Его открытое, как бы созданное для мышления чело несло печать просветленности, из его уст текла приятная речь, отличавшаяся богатством мыслей. Шутка, остроумие и юмор были средствами, которыми он всегда умело пользовался, оставаясь серьезным в момент общего веселья. Его лекции носили характер приятной беседы; он говорил о каком-нибудь авторе, но думал за него сам, развивая дальше его мысли, при этом ни разу за три года, в течение которых я его слушал ежедневно, я не заметил у него ни капли заносчивости. У него был противник, стремившийся его опровергнуть, но он никогда не обращал на него внимания... Я слышал его оценки Лейбница, Ньютона, Вольфа, Крузия, Баумгартена, Гельвеция, Юма, Руссо, некоторые из них были тогда новыми писателями, и надо заметить, что единственной его целью при упоминании этих имен было пробудить порыв к истине, благородный энтузиазм к благу человечества, стремление подражать великому и доброму. Он не знал, что такое интрига; дух сектантства и пристрастности был ему совершенно чужд, он не стремился вербовать последователей, не прилагал специальных усилий к тому, чтобы его имя было на устах у молодежи. Его философия пробуждала самостоятельную мысль, и я не могу себе представить более действенного средства для этого, чем его лекции; его мысли как бы рождались на ваших глазах, и нужно было развивать их дальше; он не признавал никаких назиданий, диктовки, догм. Естественная история и жизнь природы, история народов и человека, математика и опытное знание были теми источниками, откуда он черпал свою всеоживляющую мудрость. К ним он отсылал своих слушателей; его душа жила обществом...»

Все знавшие Канта говорят, что это был общительный, отзывчивый человек. Ему приходилось много работать, он любил свой труд, но знал не только его. Он умел отдыхать и развлекаться, сочетая глубокомысленную ученость со светским лоском.

«Блажен, кто смолodu был молод...» Магистр Кант после занятий охотно проводил время за чашкой кофе или бокалом вина, играл в бильярд, вечером — в карты. Иной раз возвращался домой за полночь, а однажды, по собственному признанию, в таком подпитии, что не мог самостоятельно найти проход в Магистерский переулок, где ему довелось жить в 60-е годы. Вставать в любом случае приходилось рано: утром ждали лекции. К тому же слабое здоровье заставляло думать о более строгом режиме.

К физической слабости, мучившей его с раннего детства, прибавился с годами и род недуга душевного, который Кант называл ипохондрией. Симптомы этого заболевания философ описал в одной из своих работ: ипохондрика окутывает своего рода «меланхолический туман, вследствие чего ему мерещится, будто его одолевают все болезни, о которых он что-либо слышал. Поэтому он охотнее всего говорит о своем нездоровье, жадно набрасывается на медицинские книги и повсюду находит симптомы своей болезни». Благотворно на ипохондрика действует общество, здесь к нему приходит хорошее настроение и хороший аппетит. Может быть, именно поэтому Кант никогда не обедал в одиночестве и вообще любил бывать на людях.

Его охотно звали в гости, и он никогда не уклонялся от приглашений. Умный и живой собеседник, Кант был душой общества. В любой компании он держался на равных, легко, непринужденно, находчиво. Как-то за ужином молоденький лейтенант в присутствии старшего офицера пролил на стол красное вино и готов был провалиться сквозь землю от смущения. Магистр Кант, разговаривавший с этим старшим офицером о каком-то сражении, ничтоже сумняшеся плеснул из рюмки немного вина на скатерть и красными разводами стал изображать передвижение войск. Как совсем недавно русским, так теперь прусским офицерам Кант читал private лекции, за ним посылали генеральский экипаж, и два генерала числились его хорошими знакомыми.

Что касается дружбы, то на этот счет у Канта была любимая присказка: «Дорогие друзья, друзей не существует». Заимствованная у Диогена Лаэртция присказка звучала шуткой, но в любой шутке, как известно, содержится доля правды. Правда состояла в том, что Кант ценил дружбу (ставил ее выше любви, полагая, что она включает в себя любовь, но требует еще и уважения), был внутренне готов к настоящей дружбе, искал ее, полагал одно время, что нашел,

но на самом деле рядом с ним никогда не было человека, который целиком жил бы его духовными интересами.

Размышляя над тем, как сходятся люди, Кант отмечал, что холерический темперамент препятствует дружбе; у сангвника — все друзья (на деле оказывается, что, в сущности, он никому не друг); у меланхолика друзей немного, но это хорошие друзья. Свой темперамент Кант считал меланхолическим.

Поэтому следует внимательно вчитаться в кантовскую характеристику меланхолика. В известной степени это внутренний автопортрет. Не следует думать, отмечает Кант, что меланхолик лишен радостей жизни и вечно терзается в мрачной тоске. Нет, просто он впадает в такое состояние легче других под влиянием внешних или внутренних воздействий. Такой человек больше всего обладает чувством возвышенного. Наслаждение от развлечений у него принимает серьезный характер, не становясь от этого менее сильным. Он доброжелателен, постоянен, остро реагирует на несправедливость. Свои чувства подчиняет принципам. Поэтому чужие мнения его не волнуют, он опирается только на собственное разумье. Меланхолик хорошо хранит свои и чужие тайны, ненавидит ложь и притворство. «У него глубокое чувство человеческого достоинства. Он знает себе цену и считает человека существом, заслуживающим уважения. Никакой подлой покорности он не терпит, и его благородство дышит свободой. Все цепи — от позолоченных, которые носят при дворе, до тяжелых железных цепей рабов на галерах — внушают ему отвращение. Он строгий судья себе и другим, и нередко он недоволен как самим собой, так и миром».

Если характер меланхолика портится — Кант предвидел и такую возможность, — то серьезность переходит в мрачность, благоговение — в экзальтацию, любовь к свободе — в восторженность. Оскорбление и несправедливость воспаляют в нем жажду мести. В таком случае его надо остерегаться. Он пренебрегает опасностью и презирает смерть. Если чувства его извращены, а ум недостаточно ясен, он впадает в экзальтацию, он видит вещие сны и знамения. Ему грозит опасность стать чудаком, фантазером, фанатиком. Свои слабости надо знать, чтобы не дать им развиться!

Истинная дружба соответствует меланхолическому складу характера, ибо и то и другое возвышенно. Сам меланхолик может потерять непостоянного друга, но этот последний не так легко потеряет его. Даже память об угасшей дружбе для него священна.

Кто же удостоился чести быть другом Канта? Среди университетских коллег философ не нашел ровни. Другом Канта считался Иосиф Грин, английский коммерсант, постоянно обитавший в Кенигсберге. Кант не любил ученых разговоров на досуге, поэтому ему легко было в обществе этого далекого от философии, хотя и начитанного, человека. Грин и другой близкий Канту Кенигсбергский англичанин, Мотерби, напоминали о Великобритании, откуда, как он полагал, вышел его пращур.

Деловой человек, Грин учил пунктуальности своего ученого друга, который в молодости не был еще столь педантичен, как в пожилые годы. Рассказывают, что однажды они договорились о совместной поездке за город на лошадях Грина в восемь утра. Без четверти восемь Грин был готов. Без пяти он надел шляпу, взял трость и спустился вниз. Когда часы начали бить, уселся в коляску и тронулся с места. Он встретил запыхавшегося Канта на мосту через Преголю, но, несмотря на его окрики, проехал мимо. Вскоре и магистр Кант стал образцом точности. Каждый вечер он проводил у Грина, покидая его ровно в семь часов. Если Кант выходит от Грина, значит, семь, можно проверять часы.

Любил Кант бывать у лесничего Вобзера, домик которого за городской чертой в Модиттене стал местом, где он проводил свои каникулы. Здесь не только хорошо отдохалось, но и работалось.

Женщины не играли в жизни Канта той роли, которая выпала им, например, в жизни и творчестве его младшего современника Гёте. Он остался холостяком. Впрочем, у философов это не было редкостью: Платон, Декарт, Гоббс, Локк, Лейбниц, Юм не знали супружеских уз. Психоаналитики объясняют безбрачие Канта культом матери, затормозившим другие женские привязанности. Сам философ смотрел на дело иначе: «Когда мне могла понадобиться женщина, я не был в состоянии ее прокормить, а когда я был в состоянии ее прокормить, она уже не могла

мне понадобится». Если это признание сопоставить с другим — «мужчина не может испытывать удовольствие от жизни без женщины, а женщина не может удовлетворять свои потребности помимо мужчины», станет ясным, что безбрачие было вынужденным и в зрелые годы радости не принесло.

«Пуризм циника и умерщвление плоти отшельником ничего не дают общественному благу, это искаженные формы добродетели, для нее непривлекательные; отвергнутые грациями, они не могут притязать на гуманность». Так скажет Кант в глубокой старости; в расцвете сил монашеский аскетизм тем более не мог воодушевить его. Половое влечение, по словам Канта, — «величайшее чувственное наслаждение», «наслаждение особого рода», которое при этом не имеет «собственно ничего общего с моральной любовью». Одной силой умозрения к такому выводу не придешь.

Некая Луиза Ревекка Фриц на склоне лет категорически утверждала, что когда-то философ Кант был в нее влюблен. По расчетам биографов, это падает на 60-е годы. Не называя имен, Боровский, на глазах которого прошла значительная часть жизни Канта, утверждает, что его учитель любил дважды и дважды намеревался жениться.

Нельзя сказать, что прекрасный пол обходил Канта своим вниманием. Скорее наоборот. Вот, например, любопытное свидетельство — письмо, полученное им 12 июня 1762 года. «Дорогой друг! Вас не удивляет, что я решаюсь писать Вам, великому философу? Я надеялась увидеть Вас вчера в моем саду, но мы с подругой обыскали все аллеи и не нашли нашего друга под этим небосводом, мне пришлось заняться рукоделием — лентой для шпаги; посвящаю это Вам. Претендую на Ваше общество завтра в послеобеденное время. Я слышу, как Вы говорите: да, да, конечно, приду; ну хорошо, мы ждем Вас, мои часы будут заведены. Простите за это напоминание. Вместе с подругой я посылаю Вам воздушный поцелуй, у Вас в Кнайпхофе воздух тот же, и мой поцелуй не потеряет свою симпатическую силу».

Автор письма — местная красавица Мария Шарлотта Якоби. Ей исполнилось 23 года, десять из них прошли в замужестве. Столь ранний брак был неудачен и затем окончательно распался. Но что означает загадочная фраза — «мои часы будут заведены»? Вполне возможно — фривольность, намек на интимные отношения. Вспомните, как появился на свет джентльмен Тристрам Шенди, герой одноименного романа Лоренса Стерна. Его папа имел обыкновение по воскресным вечерам заводить большие напольные часы, а затем выполнять свои супружеские обязанности; в результате у миссис Шенди в соответствии с учением философа Локка возникла устойчивая ассоциация идей, «которые в действительности ничем между собой не связаны» — заведенными часами и любовной близостью. «Тристрам Шенди» вышел в 1760 году и пользовался успехом не только в Англии. Кант любил Стерна. Мадам Якоби слыла начитанной женщиной.

Кант был низкого роста (157 сантиметров) и щедедушного телосложения. Искусство портного и парикмахера помогало ему скрывать недостатки внешности; белокурые волосы, живые умные голубые глаза, высокий лоб, умение хорошо держаться делали его вполне привлекательным. Одевался со вкусом, в пределах тогдашней моды. (К моде Кант относился снисходительно, называл ее делом тщеславия, но говорил: «Лучше быть дураком по моде, чем дураком не по моде».) Треугольная шляпа и напудренный парик, коричневый кафтан с черной отделкой, золотым шитьем и пуговицами, обтянутыми шелком, такого же цвета жилет и панталоны, белая кружевная рубашка, серые шелковые чулки, туфли с серебряными пряжками, на боку короткая шпага — таков был его наряд. В памяти современников Кант сохранился не только как «маленький магистр», но и как «элегантный магистр». Ничто человеческое не было ему чуждо, и о человеке он писал, руководствуясь сведениями, почерпнутыми не только из книг.

Об этом следует помнить при чтении трактата Канта «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного», наиболее популярного в свое время, выдержавшего восемь прижизненных изданий. Перед нами новая проба пера. Философ выступает в необычном для себя жанре — как эссеист. Исчез восторженный пафос первых работ, появились юмор и ирония, слог обрел изящество и афористичность. Кант пишет о мире человеческих чувств, рассматривая их через призму двух категорий — прекрасного и возвышенного. При этом собственно об

эстетике в трактате речи нет. Нет в ней никаких строгих дефиниций. Все приблизительно, образно, развлекательно.

Ночь возвышенна, рассуждает Кант, день прекрасен. Возвышенное волнует, прекрасное привлекает. Возвышенное всегда должно быть значительным, прекрасное может быть и малым. Красота поступка состоит прежде всего в том, что его совершают легко и как бы без напряжения; преодоленные трудности вызывают восхищение и относятся к возвышенному. Ум женщины прекрасен, ум мужчины глубок, а это лишь другое выражение для возвышенного. Женщины избегают дурного не потому, что оно несправедливо, а потому, что оно безобразно. Никакого «надо», никакой обязанности, никакого принуждения женщина не терпит, она делает что-то потому, что так ей нравится. Прекрасный пол не руководствуется принципами. Зато провидение вселило в сердца женщин чувства доброты и благожелательства, дало им тонкое чувство приличия и благосклонность; не следует требовать от них жертв и самоограничения. В английском журнале Кант прочитал, будто для мужчины нет ничего оскорбительнее, чем прослыть лжецом, а для женщины — нецеломудренной, но сам он думает иначе: для мужчины нет ничего более обидного, чем обозвать его глупцом, а для женщины — сказать, что она безобразна.

Мужчина и женщина взаимно дополняют друг друга; в браке они образуют как бы одну нравственную личность, движимую рассудком мужа и вкусом жены. Плохо, когда возникает единство без единения, без взаимного равенства. Утонченность и нежность чувств проявляют всю свою силу лишь вначале, от общения в домашней жизни они постепенно притупляются, а потом переходят в дружескую любовь, когда великое искусство состоит в сохранении остатков первоначального чувства, дабы равнодушие и скука не уничтожили всю ценность той радости, ради которой единственно стоило заключать такой союз.

Здесь же Кант высказывает некоторые соображения о различии людей по темпераментам. Он опять-таки не стремится исчерпать тему; прекрасное и возвышенное служит для него своего рода стержнем, на который он нанизывает свои занимательные наблюдения. В сфере возвышенного пребывает темперамент меланхолический. Кант явно отдает ему предпочтение, хотя видит и некоторые слабые его стороны.

В душе сангвиника преобладает чувство прекрасного. Он любит веселое, шум жизни, перемены. Радость других доставляет ему искреннее удовольствие, но его моральное чувство лишено принципов и поэтому неустойчиво. Если вас постигло несчастье, он будет непритворно сочувствовать, но постарается незаметно исчезнуть, пока обстоятельства не переменятся. Он щедр, склонен к благотворительности, но забывает о своих долгах. Если его характер портится, он становится пошлым, мелочным, ребячливым.

Холерик, казалось бы, живет чувством возвышенного, но на самом деле его привлекает лишь обманчивый, внешний блеск, вводящий в заблуждение. К тому, что скрыто в глубине, он равнодушен; его не согревает искренняя доброта, хотя он рад, когда его считают добрым. Его поведение неестественно, ему важно не то, что он есть, а чем он кажется. Он всегда полон самим собой, принимает ли вид возлюбленного или друга. В религии он лицемерен, в обращении льстив, в политике непостоянен. Он охотно раболепствует перед сильными мира сего, чтобы самому стать тираном по отношению к нижестоящим.

Последний раздел своих «Наблюдений...» Кант посвящает особенностям национального характера. Это один из первых шагов социальной психологии — науки, которая лишь в наши дни обрела более строгую эмпирическую базу. Кант довольствуется собственными наблюдениями; впоследствии он возвращался к ним неоднократно: каждый раз, когда читал курс антропологии. Они не всегда точны, порой спорны, большей частью оригинальны.

Испанец серьезен, скрытен, правдив. У него гордая душа (самый простой крестьянин проникнут сознанием собственного достоинства перед лицом любого начальства), и он склонен совершать скорее величественные, нежели прекрасные поступки. Даже в личной жизни его поведение обнаруживает высокомерие и какую-то торжественность. Предвкушая встречу с иностранцем, он оставит плуг и будет разгуливать по пашне в плаще и при длинной шпаге, пока тот не проедет мимо. Он гордится тем, что может не работать. Влюбляясь, испанец ведет себя причудливо: во время боя быков особым поклоном приветствует свою повелительницу и

бросается в ее честь на опасное животное. Он жесток: об этом свидетельствуют костры инквизиции.

У француза преобладает чувство нравственно прекрасного. Он учтив, приветлив, любезен, но быстро становится фамильярным. Остроумие имеет для него принципиальную ценность. Он мирный гражданин и за притеснения мстит лишь сатирой. (Это было сказано за четверть века до великой революции; когда она случилась, Кант обнаружил в национальном характере французов «заразительный дух свободы, который вовлекает в свою игру даже разум и в отношениях народа к государству вызывает сокрушительный энтузиазм, переходящий самые крайние границы».)

Англичан отличает презрение ко всему иноземному. Для своих соотечественников они создают огромные благотворительные учреждения, которых нет у других народов, но чужестранцу, заброшенному на британскую землю и попавшему в нужду, всегда грозит смерть под забором. Англичанин мало заботится о том, чтобы казаться остроумным или блистать хорошими манерами, он держится особняком и даже у себя на родине предпочитает обедать в одиночестве, так как за общим столом требуется хотя бы минимальная вежливость. Он рассудителен и степенен. Постоянен порой до упрямства, смел и решителен до безрассудства. Легко становится чудачком, но не из тщеславия, а потому, что ему нет дела до других. (Портрет, очевидно, списан с коммерсанта Грина.)

Немец удачно сочетает чувства возвышенного и прекрасного. Он методичен во всем, даже в любви. Честность, прилежание, любовь к порядку — немецкие добродетели. Кант ощущал себя немцем. Гордился этим, но без тени самодовольства и кичливости. (Написав в «Антропологии» «два самых цивилизованных народа», он снабдил свои слова примечанием: «Само собой понятно, что здесь речи нет о немецком народе, ибо это была бы похвала автору, который сам немец», — в виду имелись французы и англичане.)

Может быть, вглядываясь в свои сокровенные глубины, Кант находил у немцев готовность ужиться с любым деспотическим режимом. Немец легче всего и продолжительнее всех подчиняется правительству, под властью которого он живет, ему не приходит в голову ни сопротивляться существующему порядку, ни придумывать новый. У немцев прямо-таки страсть классификации и субординации, они неистощимы в усовершенствовании табели о рангах, «холопствуют из чистого педантизма», сооружая между теми, кто повелевает и кто повинуется, целую лестницу званий и титулов, каждой ступени которой соответствует четко определенная степень общественного авторитета.

Арабы представляют собой как бы испанцев Востока, персы — французы Азии, японцы — ее англичане. Для индийцев и китайцев Кант не находит европейского эквивалента. О неграх он судит с пренебрежением, особенно осуждая их за третию женщин. «Трусливый человек всегда бывает строгим господином над более слабым, подобно тому как у нас всегда бывает на кухне тираном тот, кто вне своего дома едва решается попасться кому-нибудь на глаза». С восхищением Кант пишет об индейцах. Никто среди диких не отличается столь возвышенным характером, как аборигены Северной Америки. У них сильно развито чувство чести. В уважении к женщине они превосходят даже нашу образованную часть света. Женщины там повелевают, оплачивая, правда, свои преимущества дорогой ценой: они несут на себе всю тяжесть домашних дел и участвуют во всех мужских работах.

За всеми этими яркими, может быть, иногда произвольными пассажами скрывается глубокий смысл: они предвосхищают перемену в духовной атмосфере страны, грядущий поворот от рассудка к чувствам, появление живого интереса к уникальным переживаниям личности. Здесь, как и в произведениях Гамана, чувствуется приближение «Бури и натиска». Кант опережает время. В кругу его философских интересов появился человек.

При том, что наиболее выразительные места трактата не вошли в основной текст работы, они остались фрагментами и были напечатаны много лет спустя после кончины философа. Надо сказать, что у Канта смолоду выработалась привычка любую пришедшую в голову мысль немедленно заносить на бумагу. Иногда это были специально приготовленные листы, чаще — первый случайно попавший на глаза клочок: только что поступившее письмо, счет от торговца и т. д. Иной раз мы находим здесь заметки для памяти, лишенные научного и литературного

значения. Иной — поражающие глубиной прозрения, которые обгоняют систематизированную мысль. Есть здесь и незаконченные фразы, и отточенные афоризмы, и заготовки будущих работ. Это важнейшее дополнение к завершенным произведениям.

Была у Канта и другая привычка. Некоторые свои лекционные курсы он читал по чужим учебникам — логику по Майеру, метафизику по Баумгартену и т. д. Готовясь к занятиям, он имел обыкновение записывать на полях учебников, на форзаце, титуле и других свободных местах, даже в тексте между строчками все то, что приходило в голову. За многие годы преподавания принадлежавшие ему учебники оказались испещренными тысячами заметок. Одни записи в книге Майера «Логика» составили почти целиком содержание шестнадцатого тома академического собрания сочинений. А все черновые наброски заполняют десять томов — больше, чем опубликованные работы. Даты в записях Канта отсутствуют, но на основании целого ряда признаков публикатору кантовского рукописного наследия Э. Адикесу удалось не только рассортировать материал тематически, но приблизительным образом расположить его в хронологическом порядке. В результате современный читатель и располагает своего рода научным дневником Канта.

В данном случае перед нами фрагменты, которыми Кант, видимо, хотел пополнить новое издание «Наблюдений...». Кант размышляет над проблемой свободы. В абстрактной форме он задумывался над ней еще в габилюационной диссертации. Теперь под влиянием Руссо проблема приобретает социальную окраску. Свобода — антипод рабства, зависимости. Человек зависит от многих природных вещей, но гораздо более жестоким и неестественным, чем бремя внешней необходимости, является подчинение воле другого. Если я раньше был свободен, ничто не может ввергнуть меня в горе сильнее, чем мысль о том, что впредь мое положение будет зависеть не от моей воли, а от посторонней прихоти. Сегодня жестокий мороз; я могу выйти или остаться дома — как мне заблагорассудится, но воля другого человека определяет не то, что мне в данном случае наиболее приятно, а то, что нужно ему. Я хочу спать, а он меня будит. Я хочу отдыхать или играть, а он заставляет меня работать. И если он сейчас благодетелен ко мне, кто поручится за то, что завтра он не станет иным. Человек, зависящий от другого, уже не человек, он это звание утратил, он не что иное, как принадлежность другого человека. Рабство есть наивысшее зло в человеческой природе.

«Человек рожден свободным, а между тем он повсюду в оковах. Иной мнит себя повелителем других, а сам не перестает быть рабом в еще большей степени, чем они» — так начинался «Общественный договор». Кант продолжает варьировать и углублять тему, заданную Руссо. Казалось бы, свобода должна возвышать человека над животным, но на деле первый оказывается ниже последнего: его легче подчинить. Кроме рабства насилия, есть еще куда более опасное рабство ослепления. Последнее основывается либо на зависимости от вещей (например, от комфорта и роскоши), либо на зависимости от идей. Вещи находятся в большей власти человека, чем мнения, поэтому второй вид рабства ослепления наиболее нелеп и достоин презрения.

Кант вслед за Руссо подходит здесь к проблеме отчуждения. Термин ему неизвестен, но суть дела он схватывает верно. Речь идет о том, что антагонистические общественные отношения превращают результаты деятельности человека в нечто ему чуждое, враждебное. Как благо может превратиться в зло, Кант показывает на примере науки. «Вред, приносимый наукой людям, состоит главным образом в том, что огромное большинство тех, кто хочет себя в ней проявить, достигает не усовершенствования рассудка, а только его извращения, не говоря уже о том, что для большинства наука служит лишь орудием для удовлетворения тщеславия... Ученые думают, что все существует ради них. Дворяне думают так же».

По мнению Канта, наука в современном ему обществе заражена двумя болезнями. Имя одной — узость горизонта, однобокость мышления, имя другой — отсутствие достойной цели. Кант будет неоднократно возвращаться к этой теме. Вот еще красноречивые фрагменты из других тетрадей: «Ученое варварство может содержать большое усердие, но без цели, без идеи преимущественного служения благу человеческого рода». Наука нуждается в «верховном философском надзоре». Ученый становится своего рода одноглазым чудовищем, если у него «отсутствует философский глаз». Это опасное уродство, когда человек замыкается в предрассудках какой-либо одной области знаний. «Я называю такого ученого циклопом. Он —

эгоист науки, и ему нужен еще один глаз, чтобы посмотреть на вещи с точки зрения других людей. На этом основывается гуманизация наук, т. е. человечность оценок... Второй глаз — это самопознание человеческого разума, без чего у нас нет мерил величия наших знаний». Перед собой Кант ставит задачу преодоления пороков современной ему науки. «Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу, — а именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире — и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком».

Признание для Канта важности принципиальной. Он навсегда расстается с ученой спесью просветителя, любующегося своим многознанием, боготворящего всемогущую науку. Ценность знания определена нравственной ориентацией; та наука, которой он себя хочет посвятить, — наука людей. Отныне в центре философских исканий Канта проблема человека. Весь вопрос в том, что же действительно нужно человеку, как ему помочь.

Может быть, лучше всего расстаться с цивилизацией? После Руссо об этом все говорят. Модные одетые, надушенные, напудренные дамы и кавалеры вздыхают о прелестях жизни в лесу без опостылевшего им комфорта. А может быть, суть дела в том, чтобы забыть все ученые премудрости и искать истину в Священном писании?

Сам собой возник эксперимент. В январе 1764 года местную интеллигенцию всполошила новость: в лесу под Кенигсбергом объявился «природный человек», сбросивший с себя покров цивилизации и вернувшийся к первоистокам веры. Это некто Ян Павлович Здомозирских-Комарницкий, пятидесяти лет, с ним восьмилетний мальчик. Оба одеты в шкуры; босы в любую погоду, в любое время года; переходят с места на место, живут тем, что дает им их стадо — 14 коров, 20 овец, 45 коз. В руках «козьего пророка» всегда Библия, которую он беспрестанно (к месту и не к месту) цитирует.

В лес началось паломничество. Побывал там и Кант. На месте выяснились следующие подробности. Всему виной тяжелое желудочное заболевание, перенесенное Комарницким семь лет назад, — в течение двадцати дней он ничего не ел, затем ему явился Христос, наставивший на путь истины. Теперь он питается коровьим и козьим молоком, изредка, по большим праздникам, разрешая себе немного мяса. Полиция выдворила «козьего пророка» в Польшу, откуда он и пришел. Происшествие было описано в «Кенигсбергской научной и политической газете». А затем в ней появилась статья Канта о душевных болезнях.

Написана она в той же эссеистской манере, что и «Наблюдения...». Вывод Канта: корень болезней головы лежит в органах пищеварения. В природном состоянии человек не столь расположен к недугам Души, как современный. В гражданском устройстве Кант видит если не причины, то, во всяком случае, ферменты психических заболеваний, их усиливающие и поддерживающие. Мысль Канта, выраженная в современных терминах, звучит следующим образом: психоз представляет собой своего рода уродливый протест против уродливых форм социальности.

* * *

В 1764 году Канту исполнилось сорок лет. Он известен, его ценят и уважают. Лекции пользуются успехом, аудитория всегда полна, и некоторые курсы он передоверяет своим ученикам. Книги хорошо расходятся, а «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» принесли ему славу модного автора.

Но он все еще приват-доцент, не получающий ни гроша от университета. В Берлине понимают нелепость подобной ситуации. В августе 1764 года из министерства юстиции, ведавшего делами образования, поступает запрос, не согласится ли магистр Кант занять место профессора поэзии и красноречия, которое после смерти Бока (того самого, что получил от Елизаветы 500 ефимков и звание русского академика) пустует в Кенигсберге уже два года. В те времена не делали культа из узкой специализации. Богословы брались учить медицине, юристы проходили по конкурсу на естественнонаучные должности. Профессор Бук, перебежавший в свое время дорогу Канту, был математиком. Почему бы философу Канту не попытаться счастья в стихосложении: интересы его разносторонни, а сочинения о прекрасном и возвышенном убеждают в наличии у него тонкого вкуса. Редактировать же чужие вирши и сочинять

собственные на официальные случаи, что входило в обязанности профессора поэзии, труда не составляет.

Кант все же отказался. У него была цель, он шел к ней прямой дорогой, пусть долгой, но прямой, делать зигзаги было не в его правилах. Он ждал уже восемь лет, можно подождать еще.

Отказ оценили. Специальным рескриптом от имени короля было обещано «весьма умелого и со всеобщим успехом преподающего доцента Канта выдвинуть при первой же возможности».

Кант вспомнил об обещании через год. Его финансовые дела оставляли желать лучшего. Он никогда не занимал денег и был очень горд этим, говорил, что на любой стук в дверь он может спокойно ответить «войдите», зная, что к нему не пожалует кредитор, но в городе было известно, что иногда магистр Кант вынужден продавать свои книги. В октябре 1765 года Кант узнал, что освобождается место помощника библиотекаря в королевском замке. На эту должность было несколько претендентов, но Кант напомнил о правительственном обещании оказать ему предпочтение. В феврале 1766 года он приступил к новой работе, не оставляя преподавания в университете.

Библиотека занимала нижний этаж главной башни замка (наверху помещалась пожарная каланча). Книгохранилище считалось одним из лучших в городе, насчитывая 16 тысяч томов. Наш старый знакомый Болотов в бытность свою вершителем дел Кенигсбергских неоднократно посещал библиотеку королевского замка и оставил следующее ее описание: «Книги сии по большей части старинные и отчасти рукописные, и мне случалось видеть очень редкие, написанные древними монахами, весьма чистым и опрятным полууставным письмом, украшенным разными фигурами и украшениями из живейших красок; а что того удивительнее, что многие из них прикованные к полкам на длинных железных цепочках, на тот конец, дабы всяким можно было их с полки снять и по желанию рассматривать и читать, а похитить и с собою унести было бы не можно. Библиотека сия в летнее время в каждую неделю отворялась, и всякому вольно было в нее приходить и хотя целый день в ней сидеть и читать любую книгу, а наблюдали только, чтобы кто с собою не унес которую-нибудь из оных, и дабы чтением сим можно бы было удобнее пользоваться, то поставлены были посреди палаты длинные столы со скамейками вокруг, и многие, а особливо ученые люди и студенты, и действительно пользовались сим дозволением, и мне случалось находить тут человек по десять и по двадцати, упражняющихся в чтении».

Времени библиотека отнимала немного, теперь она была открыта только по средам и субботам с часу дня до четырех. Но и оклад библиотекаря был невелик — 62 талера в год. Канту по-прежнему приходилось думать о дополнительном заработке. Одно время он взял на себя заведование частной минералогической коллекцией.

А между тем его известность растет. Ламберт и Мендельсон обращаются к нему с предложением вступить в научную переписку. Иоганн Генрих Ламберт, математик, астроном, философ, на четыре года моложе Канта, но уже профессор и член Берлинской академии. Его письмо привез прибывший в Кенигсберг богослов. (Почтовый сбор в то время был весьма значителен, поэтому корреспонденцию предпочитали отправлять частным путем.) «Мы углублялись в почти одинаковые изыскания, не ведая этого», — писал Ламберт. Он имел в виду прежде всего совпадение взглядов на природу Млечного Пути. Ламберт в 1761 году повторил то, что Кант высказал за пять лет до этого. Но, уверял Ламберт, мысль рассматривать Млечный Путь как звездное скопление посетила его еще в 1749 году, однажды «после позднего ужина» при созерцании ночного неба; он тогда же сделал на листке бумаги соответствующую запись. (На Канта это сообщение не подействовало, он по-прежнему дорожил своим открытием и при случае подчеркивал принадлежащий ему приоритет.) Кроме того, Ламберт намекал, что они квиты: последние мысли Канта о философском методе воспроизводят то, что до него опубликовал он, Ламберт. Дабы в будущем избежать подобных взаимных повторений, нужно делиться друг с другом своими идеями и замыслами. Издатель Кантер уже объявил о ближайшем выходе сочинения Канта по проблеме метода метафизики, Ламберт ждет его с нетерпением.

Кант был польщен. Отвечая, он назвал Ламберта «первым гением Германии». Их методы действительно совпадают. (Это признание важно: Ламберт считал себя эмпириком, вслед за Бэконом свое главное философское произведение он назвал «Новый органон».) В своем методе, где главную роль играет наблюдение, он утвердился после «многих переворотов» в собственном сознании. То, о чем далее писал Кант, предвещало новый, более решительный переворот. Беда философии, что она не располагает общеобязательным эталоном для проверки своих положений. Что касается сочинения о философском методе, то это явное недоразумение, издатель поспешил с рекламой. Подобное сочинение, которое явится главной целью его жизненных усилий, еще очень далеко от выполнения. Ему он намеревается предпослать несколько мелких работ по теоретической и практической метафизике. Здесь впервые Кант говорит о своем «главном труде». Это заявка на «Критику чистого разума».

Следующее письмо Ламберта представляло собой уже целый трактат; в тринадцати пунктах он излагал свое понимание философского метода, затем в пяти пунктах уточнял взаимосвязь между формой и материей, дополняя эти пункты еще девятью тезисами. С нетерпением ожидал Ламберт мнения своего Кенигсбергского коллеги.

В XVII веке, когда не было научной прессы, ученые охотно использовали корреспонденцию для обмена идеями. Переписка Спинозы своего рода философский журнал. Иное дело письма Канта: за редким исключением не предназначавшиеся для печати, лапидарные, в меру обстоятельные, сухие, они представляют собой зеркало не столько научных, сколько деловых его интересов. В XVIII веке эпистолярный жанр стал одной из излюбленных форм литературного творчества. Канта это увлечение не коснулось, в переписке он не напрягал свой талант и не отличался прилежанием. Ламберту снова он написал лишь четыре с половиной года спустя.

Правда, хороший тон как будто при этом не пострадал. Через своего ученика Иенша, отправившегося в Берлин, Кант передал Ламберту дружеский привет.

И еще один ответ получил Ламберт от Канта. Пересланную через Мендельсона новую работу «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики». Это опять не трактат, а скорее эссе, посвященное деятельности Иммануила Сведенборга, человека необычайного. Шведский философ и математик, он рано прославился своими работами по механике, горному делу, минералогии и был избран в Петербургскую академию наук. Под старость Сведенборг объявил себя ясновидцем, которому сам бог поручил основать новую церковь, как она была обещана в откровении Иоанна Богослова. Он уверял, что состоит в близких отношениях с душами умерших, получает от них сведения из иного мира и, в свою очередь, рассказывает им о посюсторонних делах.

Впервые о Сведенборге Кант узнал от своего бывшего студента, датского офицера. Философ стал собирать подробности, сопоставлять свидетельства. Он написал Сведенборгу, но ответа не получил, ответ был обещан всем в виде книги. Один из знакомых Канта по его просьбе посетил Сведенборга в Стокгольме и из уст самого духовидца услышал ту же историю: бог наделил его особой способностью общаться по своему желанию с душами умерших. Доказательства? Они общеизвестны.

У вдовы голландского посланника в Стокгольме ювелир потребовал уплаты за серебряный сервиз, изготовленный по заказу мужа. Зная аккуратность покойного, вдова была уверена, что долг оплачен, но не могла найти квитанцию. Обеспокоенная этим, так как речь шла о значительной сумме, она пригласила к себе Сведенборга. Если, как утверждают все, он действительно одарен необыкновенной способностью беседовать с душами умерших, то не будет ли он любезен осведомиться у ее мужа относительно уплаты за сервиз? Сведенборгу исполнить ее просьбу не составило труда. Три дня спустя небольшое общество собралось за чашкой кофе у этой дамы. Явился также Сведенборг и со свойственным ему хладнокровием сообщил, что он говорил с покойным. Долг был уплачен за семь месяцев до смерти, а квитанция находится в шкафу в верхней комнате. Дама возразила, что шкаф совершенно пуст. Сведенборг на это ответил, что, по словам мужа, нужно вынуть левый ящик, отодвинуть доску внутри, там тайник, в котором хранится секретная голландская переписка, а также квитанция. Все отправляются наверх, открывают шкаф, поступают, как было сказано, и обнаруживают тайный ящик, о котором хозяйка ничего не знала, а в нем — указанные бумаги.

Другой случай казался Канту еще более убедительным, устраняющим все сомнения. Это было в конце сентября 1756 года. Находясь в пятидесяти милях от Стокгольма в гостях у одного купца, Сведенборг вдруг побледнел и заявил, что в Стокгольме пожар. Через некоторое время он сказал, что сгорел дом его друга, огонь приближается к его собственному. В восемь часов он радостно воскликнул: «Слава богу, пожар потушен недалеко от моего дома!» Спустя два дня из Стокгольма прибыл курьер, который привез описание пожара, полностью совпавшее со сведениями Сведенборга.

Было время, когда Кант не сомневался в достоверности того и другого рассказа. В письме к фрейлейн Кноблах, обратившейся к нему за разъяснениями, он воспроизвел их как вполне правдоподобные, хотя и поставившие его в тупик. Дата на письме неразборчива, в Полном собрании сочинений письмо отнесено к 1763 году. С последним позволительно не согласиться: уже за год до этого Кант решительно усомнился в существовании духов (вспомним гердеровскую запись его лекций). Письмо к Кноблах отражает воззрения Канта более раннего времени. По-видимому, прав первопубликатор письма Боровский, который считал, что оно написано в 1758 году.

В том, что Кант поначалу верил в духов, нет ничего удивительного. XVIII век кишел ясновидцами, «магнетизерами», алхимиками. Одни из них явно владели искусством гипноза, другие были просто шарлатанами. Впереди у нас будет речь о Калиостро. В годы Семилетней войны объявился его предшественник — граф Сен-Жермен, который уверял, что живет бесконечно долго: он присутствовал при вступлении Александра Македонского в Вавилон и был лично знаком с Иисусом Христом. Помимо общения с духами, граф занимался политическими интригами, последнее и погубило его репутацию. Свое влияние при французском дворе Сен-Жермен пытался использовать в пользу Пруссии. Его заподозрили в связях с Фридрихом II; опасаясь ареста, авантюрист бежал в Германию.

В том, что Сведенборг несет околесицу, Кант убедился, прочитав его книгу «Небесные тайны», выписанную им из Лондона за большие деньги. Интерес был так велик, что Кант рискнул требуемой суммой, с трудом выкроив ее из своих скромных доходов. В результате Кант получил восемь томов, «наполненных всякой чепухой», как он выразился в «Грезах духовидца», где сочинение Сведенборга подвергается язвительному разбору.

Воспроизводит в «Грезах духовидца» Кант и две уже известные нам истории, но только теперь они выдержаны в иронических тонах. «Кто-нибудь, наверное, спросит, что же побудило меня заняться таким презренным делом, как дальнейшее распространение сказок, которые благоразумный человек вряд ли терпеливо выслушает до конца, и более того, включить эти сказки в текст философского исследования», — задает Кант риторический вопрос. И меланхолично отвечает: «Граница между глупостью и разумностью столь незаметна, что, долго идя путем одной из них, трудно не коснуться иногда хоть сколько-нибудь и другой». Но граница все же есть, и нельзя осудить читателя, если он, вместо того чтобы считать духовидцев наполовину принадлежащими иному миру, просто запишет их на прием к врачу.

Дело, однако, не только в Сведенборге и его последователях. На одну доску с «духовидцами» Кант ставит адептов спекулятивной метафизики. Если первые «сновидцы чувства», то вторые «сновидцы ума». Метафизики тоже грезят, свои идеи они принимают за подлинный порядок вещей. Философ не завидует их «открытиям», он лишь боится, чтобы какой-нибудь здравомыслящий человек, не отличающийся учтивостью, не сказал бы им то же самое, что ответил астроному Тихо Браге, пытавшемуся по звездам определить дорогу, его кучер: «Эх, барин, вы, может быть, все хорошо понимаете на небе, но здесь, на земле, вы дурак».

Таково прощальное слово Канта, обращенное к вольфианской метафизике. Он смеется не только над визионерством, но и над умозрительными спекуляциями, он призывает людей науки полагаться на опыт и только на опыт, представляющий собой альфу и омегу познания.

С метафизикой Кант прощается, но расстаться не может. Вот его признание: «Волей судеб я влюблен в метафизику, хотя она лишь редко выказывает мне свое благоволение». Этот неудачный роман длился многие годы. Вся университетскую жизнь Кант читал курс метафизики («по Баумгартену»), его мучили «проклятые» метафизические вопросы — о

сущности мира, бога, души. Но чем дальше, тем яснее становилось, что ответы нельзя получить спекулятивным путем. Поэтому Кант мечтает о перевоспитании своей возлюбленной, он хочет видеть ее лишь «спутницей мудрости», прочерчивающей границы познания.

В предисловии к «Грезам духовидца» намечен и третий объект для философской иронии — церковь. «Царство теней, — пишет Кант, — рай для фантастов... Священный Рим владеет доходными провинциями в этом невидимом царстве, две короны которого поддерживают третью — ветхую диадему его земного величия, а ключи к обоим вратам другого мира в то же время подходят к сундукам этого мира». Речь идет о католической церкви. Не думайте, однако, что Кант говорит от имени протестантской ортодоксии. Как раз с ней ему и придется в дальнейшем столкнуться.

* * *

В 1766 году магистр Кант переменил квартиру. Старая в Кнейпхофе близ университета, в переулке, названном Магистерским, выходила окнами на Преголю, и шум проходящих мимо грузовых судов мешал сосредоточиться. Теперь он снял пол-этажа в Лёбенихте у книготорговца Кантера. Образованный и предприимчивый делец, Кантер не ограничивался торговлей, он организовал издательство и частную библиотеку, устраивал лотереи, приобрел газету, основал бумажную фабрику. Половину своего времени он проводил в разъездах, расширяя круг своей деятельности. Из каждого путешествия возвращался с новыми книгами. Из его рук Кант получил «Общественный договор» Руссо и, по-видимому, «Эмиля».

Книжная лавка Кантера была местной достопримечательностью, чем-то средним между торговой точкой и литературным клубом. Здесь встречались знаменитости, читали газеты, знакомились с книжными новинками, вели беседы, а порой помогали обслуживать покупателей. Два дня в неделю сюда для бесплатного чтения допускались студенты. Здесь регулярно появлялся Гаман. Магистр Кант на правах личного друга и квартиранта мог брать себе любое издание. С осени 1768 года его портрет (работы художника Беккера) украшал в числе других прусских знаменитостей контору Кантера.

Впрочем, Кант известен уже не только в Пруссии. В 1769 году профессор Хаузен из Галле намеревается издать «Биографии знаменитых философов и историков XVIII века в Германии и за ее пределами». Кант включен в сборник, и автор обращается к нему за необходимыми материалами.

Почти одновременно приходит и приглашение на работу в Эрланген (маркграфство Ансбах). Куратор местного университета в восторге от «Наблюдений над чувством прекрасного и возвышенного» и предлагает Канту занять только что созданную кафедру теоретической философии. Именно об этой кафедре мечтает магистр Кант. Оклад 500 гульденов, а из бесплатных натуралий — необходимое количество дров. Соблазн слишком велик, и Кант дает нечто вроде предварительного согласия. Немедленно происходит назначение, его уже ждет квартира (на первый случай из четырех комнат), эрлангенское студенчество ликует и готовит торжественную встречу. Тогда Кант, словно спохватившись, решительно отказывается.

Другое приглашение (в январе 1770 года) приходит из Иены. Здешняя вакансия похуже — второй профессор философии с окладом в 200 талеров, но ему гарантируют не менее 150 талеров от частной лекционной практики и уверяют, что цены в Веймарском герцогстве ниже, чем где-либо. Для Канта более веским аргументом могла бы послужить гарантия в том, что Веймар вскоре станет центром литературной Германии, что здесь возникнет великое содружество Гёте — Шиллер. Этого, разумеется, в то время никто не знал; Гёте только начинает писать, а одиннадцатилетний Шиллер еще учится грамоте.

Извиняясь и отказываясь от эрлангенского предложения, Кант ссылался на привязанность к родному городу, на слабое здоровье, а также на «возможные проблемки близкой вакансии» у себя дома. Последнее было не только желаемым, но и вполне реальным: профессор математики Лангханзен, семидесятидевятилетний старец, уже давно не вставал с постели. Он скончался в середине марта. Кант почтил его память траурным четверостишием, а на следующий день отправил в Берлин письмо, снова напоминая о себе правительству. Ему скоро пойдет 47-й год, а он все еще не зачислен в штат университета. Вакансия, правда, не

соответствует его профилю, но делу можно помочь путем нехитрой перестановки. Лучший знаток математики в университете Кристиани занимает должность профессора моральной философии; на должности профессора логики и метафизики находится математик Бук. Любой из них с радостью займет освободившееся место, а он, Кант, наконец получит то, что ему приличествует.

Через две недели поступает ответ — указ короля (от 31 марта 1770 года) о назначении Канта ординарным профессором логики и метафизики. (Оклад меньше, чем предлагала Иена, — 166 талеров и 60 грошей, поэтому профессор Кант еще на два года сохранит за собой совместительство в библиотеке.) Цель, однако, достигнута. 2 мая сенат университета вводит его в должность. Впрочем, предстоит еще одна формальность, без которой назначение недействительно: нужно защитить диссертацию. Четырнадцать лет назад Кант защитил уже одну профессорскую работу («Физическая монадология»), но истекший срок слишком велик, буква инструкции требует новой диссертации.

Летние месяцы уходят на ее написание. 21 августа состоялся диспут: Кант защищает свою уже четвертую по счету диссертацию. Оппоненты — два кандидата и один студент; респондент — Марк Герц, его ученик и друг. На диссертационном диспуте в качестве слушателя присутствовал молодой Ленц, будущий поэт «Бури и натиска», отметивший стихами это значительное событие в жизни своего учителя. Подлинной славой, говорилось в стихотворении, украшен лишь тот человек, в котором мудрость сочетается с добродетелью, который сам исповедует и почитает то, чему учит. Никакой ложный блеск не ослепит философа, никогда не выдаст он глупость за ум, сорвет с нее маску, даже если глупость внушает страх. Скольким открыл он свет, скольких приучил к простоте в мыслях и поведении. И Ленц дает клятву жить по Канту, учить других его заповедям. Иной француз может задуматься над тем, рождает ли север гениальные умы. Но

Рассеет Кант подобные сомненья

В одно мгновенье.

Диссертация называется «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира». В ней зафиксирован новый «переворот» во взглядах, совершившийся, по свидетельству Канта, год назад. На смену эмпирической, доходившей до скептицизма позиции пришел своеобразный дуализм. Канта уже не волнует вопрос, как данные органов чувств связаны с интеллектом, — он развел в разные стороны эти два вида духовной деятельности. «Источники всех наших представлений, — говорится в черновом фрагменте, относящемся к переломному 1769 году, — либо чувственность, либо рассудок и разум, Первые дают нам причины познаний, выражающих отношение предмета к особым свойствам познающего субъекта... Вторые относятся к самим предметам». Чувственность имеет дело с явлениями, феноменами; интеллигибельный, то есть умопостигаемый, предмет Кант называет ноуменом.

Мир, рассматриваемый как феномен, существует во времени и пространстве. Но и то и другое (время и пространство) не есть нечто само по себе существующее, это всего лишь субъективные условия, изначально присущие человеческому уму для координации между собой чувственно воспринимаемых предметов. В ноуменальном мире, то есть в сфере предметов самих по себе, времени и пространства нет, поэтому нелепо спрашивать, где находится бог и почему он не сотворил мир несколькими веками раньше.

В 1769 году, который Кант считал для себя переломным, вышла книга Л. Эйлера «Письма к немецкой принцессе», автор которой, поставив вопрос об отношении души к телу, отвечал, что это отношение можно помыслить, но нельзя увидеть. Кант усвоил идею великого математика, как ему казалось, содержащую решение давно волновавшей его проблемы, и перевернул ее: есть, в свою очередь, предметы, которые можно созерцать, но нельзя помыслить. Таковы пространственные отношения.

Еще недавно Кант призывал метафизику опираться исключительно на опыт, теперь у него другая забота — предостеречь ее от переоценки опыта; принципы чувственного познания не должны выходить за свои пределы и касаться сферы рассудка. В письме к Ламберту, которое наконец было написано и ушло в Берлин, сопровождая дарственный экземпляр диссертации,

Кант предлагает создать специальную дисциплину — «общую феноменологию» с задачей очертить пределы чувственного познания, дабы не переносить его на предметы «чистого разума». (Обратите внимание — появился термин «чистый разум».)

Дарственные экземпляры диссертации были вручены также Мендельсону и прославившему себя работами по философии искусства И.-Г. Зульцеру. И вот из Берлина одно за другим пришли три письма. Первым откликнулся Ламберт. Длинное его послание начиналось с сетований по поводу того, что наука повсюду в загоне, все увлечены изящным искусством, студенты читают только стихи и романы. Выйдя из стен университета, окунувшись в деловую жизнь, они вынуждены переучиваться или, вернее, учиться заново. Он, Ламберт, озабочен созданием печатного органа, где царил бы дух строгой научности, куда не проникали бы сочинения, полные еретических мыслей и всего недозволенного. Что касается диссертации Канта, то она превосходна. Возникают только некоторые вопросы и возражения. Кант противопоставляет чувственное и рассудочное знание; неужели они нигде не сходятся? Далее, проблема времени. Она связана с теми изменениями, которым подвержены вещи. Если реальны изменения, реально и время. То же самое относится и к пространству. Впрочем, все это дело темное, но стремиться к абсолютной ясности не следует, всегда должна оставаться некоторая неопределенность. И кажимость, если она постоянна, Ламберт готов принять за истину. «Язык кажимости» может нас обслуживать не хуже «языка истины».

Затем пришло письмо от Зульцера. Метр эстетики сообщал, что занят изданием нового трактата об изящных искусствах, это мешает ему разобраться до конца во всех тех «новых понятиях», которые содержит работа Канта. Эти понятия представляются ему основательными и значительными. Только с одной мелочью нельзя согласиться — проблемой пространства и времени. Здесь Зульцер стоит на позициях Лейбница и Вольфа, признававших подлинную реальность продолжительности и протяженности. С нетерпением ждет он труда Канта по метафизике морали. Его волнует вопрос, в чем состоит физическое и психологическое отличие добродетельной души от порочной. Он сам начал было размышлять над поставленным вопросом, столь важным для воспитания, да сейчас ему недосуг. Канту он искренне желает продолжения славно начатого пути, здоровья и сил для успешного его завершения.

В конце 1770 года высказался Мендельсон. Он прочитал диссертацию с огромным удовольствием, хотя за последний год его нервная система сильно сдала и ему трудно должным образом напрягать свои умственные способности. Для блага метафизики, которая ныне пришла в упадок, было бы крайне желательно, чтобы Кант скорее поделился с публикой запасом своих размышлений. Учтите, жизнь коротка, и нас настигает конец быстрее, чем мы успеваем все сделать наилучшим образом. И не бойтесь повторять сказанное ранее; в сочетании с вашими собственными мыслями старое приобретет новый вид, откроет новые перспективы. «Вы обладаете преимущественным талантом писать для многих». Мендельсон сделал несколько замечаний по тексту работы, как и другие не согласившись с кантовской трактовкой времени и пространства.

Кант не ответил ни на одно из этих писем. Каждое ставило перед ним проблемы, влекло за собой размышления, пока безрезультатные. Полгода спустя он написал об этом своему берлинскому другу Марку Герцу, просил передать извинения, ссылаясь на слабое здоровье, сообщал, что работает над книгой «Границы чувственности и рассудка».

Еще через восемь месяцев Кант снова пишет Герцу и снова просит его принести извинения Ламберту, Мендельсону и Зульцеру. В этом письме уже есть нечто большее, чем простая констатация факта, что надо еще думать над выдвинутыми возражениями и собственными идеями. Дату этого письма (21 февраля 1772 года) принято считать днем рождения (может быть, точнее, зачатия?) главного философского труда Канта. До появления на свет детища еще далеко, но эмбрион возник и развивается. И хотя по-прежнему Кант называет свою будущую книгу «Границы чувственности и рассудка», где-то в тексте возникает выражение «критика чистого разума». Будущая книга должна дать «ключ к тайне всей метафизики». Дело в том, что никто еще не ответил на вопрос, как возникают наши понятия. С чувственными представлениями все более или менее ясно: они суть пассивные отпечатки предметов. О понятиях этого не скажешь. Здесь мы имеем дело с порождением интеллекта, которое вместе с тем соответствует порядку вещей. Как это возможно?

Ответ на вопрос составит содержание подготавливаемого труда. Через три месяца, уверяет Кант, он напишет первую часть.

Прошло почти два года. Кант написал... новое письмо Марку Герцу: «Вы напрасно старательно ищете в каталоге ярмарки известное вам имя на букву «К». После всех затраченных усилий самое простое для меня было бы выступить с какой-нибудь работой из тех, что лежат почти готовыми. Да только я зашел так далеко в своем стремлении перестроить науку, над которой так долго впустую трудилась добрая половина философского мира, что я уже вижу в своих руках понятие, полностью раскрывающее неразгаданную пока загадку». Кант говорил о своем намерении не поддаваться авторскому зуду и не искать легкой славы до тех пор, пока не решит главную задачу. А она уже вот-вот и будет решена. «Я не потерял надежды закончить работу к пасхе».

Это написано Герцу в конце 1773 года. Ему же через три года: «Думаю, что к пасхе не справлюсь, придется захватить еще и часть лета». И еще через два года ему же: «Надеюсь к лету закончить».

Книга не получалась. Так медленно Кант еще никогда не работал. Что-то главное все время ускользало. Обретенная, казалось бы, истина вновь оборачивалась неразрешимой загадкой. К тому же он был занят не только «Критикой чистого разума». Неверно думать, что после 1770 года мысль Канта вся без остатка ушла в гносеологические проблемы и все свои силы он тратил на безуспешные попытки их решить. По-прежнему много времени и энергии уходит на преподавание. Нагрузка, правда, теперь уменьшилась: в среднем 14 часов в неделю. Зато он создает новые лекционные курсы — минералогию, антропологию (которая стала одним из его любимых предметов), педагогику.

* * *

Педагогические воззрения Канта формировались под влиянием Руссо и тех попыток осуществить руссоистские идеи, которые были предприняты на немецкой земле. В 1774 году известный педагог Иоганн Бернард Базедов открыл в Дессау на средства местного монарха учебное заведение «Филантропин», призванное реформировать педагогическое дело. Воспитание здесь носило сугубо космополитический характер: вместо христианского вероучения детям прививали идеи некой всеобщей, «естественной» религии, основанной на добродетели. Большое внимание уделялось природоведению и точным наукам. Учили играючи, без муштры и наказаний. В свободное время дозволялся полный беспорядок; за образцовое поведение выдавались ордена. Много времени уделялось физической подготовке. Заведение было закрытым, и обучение стоило больших денег; бедных детей принимали только в качестве прислуги.

Кант был увлечен новыми веяниями в педагогике. Хотя он фактически прекратил литературную деятельность, в поддержку «Филантропина» философ все же опубликовал две заметки в местной газете. Кант призывал не к реформе школьного дела, а к революции в нем. При содействии Канта его друг Мотерби отправил своего шестилетнего сына на учебу в Дессау. Это послужило поводом для переписки с руководителями «Филантропина» — Базедовым в Кампе. Несколько лет назад Виланд, основавший новый журнал «Немецкий Меркурий», попросил Канта на выгодных условиях заняться его распространением в Восточной Пруссии. Философ тогда отказался, предложив взамен себя книгоиздателя Кантера. Теперь, когда дело коснулось журнала, выпускаемого «Филантропином», Кант взялся за дело лично. Результат был, правда, скромный: на всю округу (включая Литву) 25 подписчиков. Аналогичная ситуация, правда, сложилась и в других частях мелкодержавной Германии: новые педагогические идеи успехом не пользовались.

В том же 1774 году, когда возник «Филантропин», в Кенигсбергском университете стали преподавать педагогику. Новый предмет читали, меняя друг друга, семь профессоров философского факультета. Очередь Канта настала зимой 1776 года (затем снова через шесть семестров). В качестве учебника Кант пользовался книгой Базедова, внося в нее, как обычно, свои исправления и дополнения. В результате возник самостоятельный труд «О педагогике», изданный незадолго до смерти философа его учеником Ринком.

«Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными: искусство управлять и искусство воспитывать». Но именно на них зиждется общество. «Человек может стать человеком только через воспитание. Он — то, что делает из него воспитание». Вот почему философ, занятый судьбой человека, не может уйти от педагогических размышлений.

Родители и правители портят детей. Первые думают лишь о том, чтобы их отпрыски хорошо устроились в жизни, вторым нужны орудия господства. И те и другие воспитывают, исходя из существующего порядка вещей. Но истинное воспитание должно готовить людей к будущему, лучшему состоянию всего человечества. Тогда они вызовут к жизни это состояние. Каким образом оно может возникнуть? Правитель всегда одинок, а одинокое дерево растет криво. Надежды Базедова на монарха иллюзорны. Школа вообще не должна находиться в ведении государства. Всякая культура, полагает Кант, начинается с личной инициативы.

Человека можно либо дрессировать, либо просвещать. Главная цель воспитания — научить думать. Сознательно человек должен пройти четыре ступени воспитания: обрести дисциплину, получить навыки труда, научиться вести себя и стать моральным. Прежде и превыше всего — дисциплина, ее отсутствие превращает человека в дикаря; можно обучить любым навыкам, но искоренить дикость, возместить отсутствие дисциплины невозможно. Самая трудная ступень — последняя. Мы живем в эпоху дисциплины, культуры и цивилизации, но до моральности нам далеко.

Одна из наиболее сложных задач воспитания состоит в том, чтобы соединить подчинение законному принуждению со способностью пользоваться своей свободой. С ранних пор ребенку следует предоставлять свободу поведения (кроме тех случаев, когда он может повредить себе или окружающим). Ребенку следует показывать, что свои цели он может достигнуть только в том случае, если он дает возможность другим достичь их цели. (Удовольствие только в награду за послушание!) Общественное воспитание имеет неоспоримые преимущества, благодаря ому дети привыкают соразмерять свои права с правами других. Здесь же приобретает представление об обязанностях. Воспитывать надо личность, то есть свободно действующее существо, обладающее чувством собственного достоинства и сознательно налагающее на себя обязанности члена общества.

Хотя у Канта не было детей, он располагал собственным мнением по поводу их воспитания, простиравшимся до грудного возраста. Философ советует матерям выкармливать новорожденных самим, не прибегая к помощи кормилиц. Младенца не следует пеленать, от этого он испытывает только страх и отчаяние. Попробуйте запеленать взрослого, он подымет крик почище младенца. Укачивать детей также не годится. Проверьте на себе: от раскачивания у вас начинается головокружение. Детей укачивают, чтобы они не кричали, но крик для них спасителен: он развивает легкие. Первая порча характера начинается с того, что стремглав бегут на плач ребенка и начинают его ублажать. Если на плач не обращать внимания, ребенок перестает реветь: никому нет охоты затрачивать усилия впустую. Обучая детей ходьбе, родители не должны прибегать к помочам, которые сжимают и уродуют грудную клетку. Вообще ребенок по возможности должен быть предоставлен самому себе.

Но так, чтобы при этом не страдала дисциплина. Волю детей ломать не следует, ее надо направлять таким образом, чтобы она уступала естественным препятствиям. Сызмальства детей полезно приучать к труду, и нет ничего вреднее праздности. Неизбалованный ребенок охотно принимает занятия, связанные с напряжением сил и воли. Что касается еды, детей не следует превращать в лакомок, поэтому нельзя давать им выбирать себе кушанья. Если нет уважительной причины для отказа, просьба ребенка должна быть выполнена; если есть причина не выполнять ее, то нельзя поддаваться упрасиваниям. Всякий отказ дается раз и навсегда.

Опираясь на опыт «Филантропина», Кант настойчиво рекомендует физические упражнения, что было в то время педагогическим новшеством. Бег, прыжки, подниманье и переноска тяжестей, плаванье, метанье в цель полезны детям. Полезны игры на свежем воздухе. Ребенок должен уметь играть. Но игру не следует смешивать с работой. Кант не приемлет устремлений Базедова учить детей шутя и играя. Обязательные занятия в школе — работа, ее выполняют ради определенной цели. Игра содержит цель в себе самой, здесь главное — сам процесс, а не внешний результат. Уменьше различать труд и игру важно и для взрослых, последние не скачут на палочках, но у каждого есть свой конек. Крайне вредно приучать

ребенка смотреть на все как на игру. Школа — это принудительная культура, хотя своей целью она должна иметь воспитание свободного человека.

«Мы знаем столько, сколько удерживаем в памяти». Эта латинская поговорка говорит о необходимости тренировать память. Систематическое чтение и пересказ, изучение языков укрепляют память. Проглатывание романов, по мнению Канта, ослабляет ее. Вот почему из рук детей надо вырывать романы. Читая их, они создают в романе новый роман, ибо понимают его превратно, мечтают и сидят без всякой мысли в голове. А рассеянность — враг воспитания.

Воспитатель не должен злоупотреблять наказаниями. Это крайняя мера, прибегать к которой следует с величайшей осторожностью, так чтобы дети видели, что они в конечном итоге всегда служат их исправлению. Частые наказания не достигают цели, как и наказания, назначенные в припадке гнева.

Труднее всегда воспитать в человеке моральную культуру, которая основывается на принципах. Для нее уже мало одной дисциплины. Принципы суть законы, но только субъективные, проистекающие из характера, убеждений и ума человека. Вырабатывая характер, следует воспитывать три черты — послушание, правдивость, общительность.

В заключение Кант говорит о половом воспитании. Тринадцатый или четырнадцатый год у мальчика переломный: возникает половая склонность. Она развивается неизбежно, не имея даже перед собой объекта. Следовательно, сохранить юношу в неведении и невинности невозможно. Молчание лишь увеличивает зло; это видно по воспитанию прошлых поколений. Ныне справедливо полагают, что с юношей надо говорить обо всем, не таясь, ясно и определенно. Конечно, тема деликатная и не может быть предметом общественного разговора, но приемлемую форму беседы можно найти всегда. В соответствии со взглядами своего времени Кант предлагает педагогу внушить юноше отвращение и страх перед мастурбацией. «Физические последствия крайне вредны, но последствия в смысле нравственности еще хуже. Иные задают вопрос, позволительно ли юноше вступать в общение с другим полом? Если уж приходится выбирать одно из двух, то это во всяком случае лучше. Там юноша действует вопреки природе, здесь нет». Беда, однако, в том, что способность продолжать свой род опережает способность содержать детей. Поэтому прямая обязанность юноши — ждать, когда он будет в состоянии жениться. Счастливый брак — награда за беспорочное поведение.

В какой мере идеи Канта о воспитании воплощались в его собственной педагогической практике? Кант имел дело со студентами, юношами, прошедшими первоначальные ступени воспитания. Задача университетского преподавателя состояла в том, чтобы дать знания и научить самостоятельно мыслить. Второе, разумеется, важнее первого: знания дело наживное, а привычка и способность думать приобретаются с трудом. Механическое запоминание, зубрежка вредны. Кант бывал недоволен, когда студенты на лекциях записывали за ним все подряд, это ему просто мешало. Начав лекцию, он прежде всего заботился, чтобы быть понятным. Если нить понимания обрывалась, он останавливался и возвращался назад. В расчет принимались средние способности. «Я читаю не для гениев: они сами себе прокладывают дорогу, но и не для дураков; ради них не стоит напрягаться, а для тех, кто находится в середине и хочет подготовить себя к будущей работе».

Он выбирал обычно кого-либо из близко сидевших слушателей и по его лицу следил за тем, как доходит то, что он говорит. Возникла устойчивая связь, и любой беспорядок в аудитории мог нарушить течение его мыслей. Однажды он был рассеян и читал хуже обычного, потом признался, что сосредоточиться ему мешал находившийся прямо перед ним студент, на куртке которого отсутствовала пуговица.

Во время лекции он сидел за невысоким пультом, на котором лежал листок с записями или учебник, испещренный пометками. Учебники служили не только для пересказа, не только для систематизации материала, но и для полемики. Лекция превращалась в диалог. Трудные пассажи чередовались с иллюстративным материалом, остротами, шутками. Яхман, слушавший Канта в 70-е годы, свидетельствует: «Его остроумие отличалось легкостью, изобретательностью, глубиной мысли. Это были молнии, сверкавшие среди бела дня, он приправлял ими не только обычную речь, но и лекции. Остротами он придавал доступную

форму глубокомыслию, опуская своих утомленных слушателей с заоблачных высот спекуляции на привычную землю».

На экзамене преподаватель и учащийся меняются местами. Теперь ученик должен объяснить суть дела. Гладкость речи и принятые нормы изложения играют при этом второстепенную роль. Если кому-то трудно выразить свои мысли, то это ничего не говорит об умственных способностях. Знаменитого ученого Клавия в детстве исключили из школы за неспособность, так как он не мог писать сочинения по установленному образцу. Впоследствии он совершенно случайно стал заниматься математикой и тут обнаружил диковинный дар.

Еще реальнее возможность ошибки в философии, где глупость легко сходит за мудрость, а новой мысли трудно отстоять права. Вот почему Кант любил повторять, что он учит не философии, а философствовать. «Учиться философии» — значит овладевать субъективной стороной ума, запоминать, как кто-то когда-то думал; «учиться философствовать» — значит придавать своим знаниям объективный характер, овладевать способностью оценивать чужие мнения. И свой задуманный главный труд Кант создавал не как перечень взглядов и даже не как свод законов науки, а как критическое рассмотрение того, что было сделано и что предстояло сделать.

Глава третья

САМОКРИТИКА РАЗУМА

Разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме.

К. Маркс

Шли годы. Голос Канта в печати умолк надолго. После диссертации «О форме и принципах...», кроме двух заметок по поводу «Филантропина», философ напечатал лишь рецензию на книгу Москати о различии в строении тела людей и животных и уведомление о лекциях на 1775 год («О различных человеческих расах»). Молчание длилось одиннадцать лет.

«Почему Вы молчите, — спрашивал Канта вступивший с ним в переписку Лафатер, — почему пишут те, кто на это не способен, а не Вы, отлично владеющий пером? Почему Вы молчите? В это — это новое время — Вы не даёте о себе знать. Спите? Кант, я не хочу Вас хвалить, но скажите мне, почему Вы молчите? Или лучше: скажите, что Вы заговорите». Упомянув о «новом времени», Лафатер имел в виду «Бурю и натиск» — движение, охватившее в те годы интеллектуальную Германию.

Немецкая литература оживилась. Уже в середине века на ее горизонте появилась многообещающая фигура Готхольда Эфраима Лессинга, которому суждено было формировать умонастроения и вкусы. Он создавал новую драматургию, его голос уверенно звучал и в литературной критике. Лессинг сотрудничал в журнале «Письма о новейшей немецкой литературе». Известность получило семнадцатое «письмо», посвященное Шекспиру. Великий драматург был и на своей родине не то чтобы забыт, но все же не в почете, а на континенте его просто не знали. Вольтер назвал его «дикарем». Лессинг же поставил Шекспира выше Расина и Корнеля, увидел именно в нем подлинного наследника античной трагедии. Лессинг призывал родную литературу учиться у Шекспира. Почва для «Бури и натиска» была подготовлена.

Движение оказалось неоднородным и противоречивым: бунтарство сочеталось с политической индифферентностью и консерватизмом, симпатии к народу — с крайним индивидуализмом, критическое отношение к религии — с благочестивой экзальтацией. Но всех объединял интерес к человеку, к его уникальному духовному миру. Внезапно обнаружились таинственные глубины внутренней жизни индивида. Это открытие воспринимали как более значительное, чем открытие Америки. У всех на уме и на устах было одно: освобождение личности.

«Буря», правда, бушевала исключительно в литературных берегах, «натиск» не выходил за пределы книг и журналов. Среди вождей движения мы находим питомца Канта Гердера, теперь уже маститого литератора. Покинув Кенигсберг, он переехал в Ригу, чтобы занять там

пост пастора и преподавателя церковной школы. Когда появились его первые литературно-критические работы, принесшие ему известность, Кант поздравил своего ученика. Ответ на письмо пришел через полгода. Вежливый, теплый, обстоятельный. Ученик писал, что он избрал иной путь, чем учитель; академической деятельности он предпочел стезю священника, которая, как ему казалось, приведет к непосредственному соприкосновению с народом, с простыми людьми; ради них, собственно, существует философия. В Риге Гердер пробыл недолго, затем совершил путешествие в Париж, а вернувшись в Германию, занял пост советника консистории в Бюкебурге. Пять проведенных здесь лет (1771—1776) были периодом напряженных творческих исканий и метаний. Помимо своих служебных дел, Гердер занимается философией истории, увлечен Шекспиром, открывает для образованного мира народное творчество, усердно штудирует Библию. Он выпускает книгу «Древнейший документ человеческого рода», где Священное писание рассматривается как боговдохновенное произведение. Гаман, разделявший религиозные увлечения Гердера, показал книгу Канту. Философ неодобрительно отозвался о стремлении Гердера выдать библейский текст за высшую истину. Отзыв, к счастью, не вышел за пределы частной переписки и автору остался неизвестен. Кроме Гердера и Гамана, к религиозно настроенному крылу «Бури и натиска» примыкали писатель Лафатер и молодой философ Фридрих Якоби.

Другой вождь «бурных гениев», Гёте, не разделяет благочестивых устремлений своего друга и наставника Гердера. Он богохульствует, слагает бунтарские стихи. «Не знаю ничего более жалкого, чем вы, боги! Вас почитать? За что?» Эти слова заимствованы из гётевского «Прометей», стихотворения, ставшего своего рода поэтическим манифестом «левого» крыла «Бури и натиска». Среди радикальных «штюрмеров» мы находим бывшего ученика Канта Ленца, будущих кантианцев Клингера и Бюргера. Сам Кант, в какой-то мере стоявший у колыбели движения, теперь, когда «литературная революция» разразилась, не уделяет ей особого внимания. Он снова уходит вперед, готовит революцию философскую.

А за океаном в это время вспыхивает политическая революция: на английское владычество в Америке обрушилась такая буря, такой натиск, что впервые в истории нового времени рухнули колониальные устои. В июле 1776 года американские владения Великобритании объявили себя независимым государством. Борьба шла под лозунгами, воодушевлявшими немецких «штюрмеров», — свобода народу, свобода человеку. Кант читает газеты, его симпатии на стороне генерала Вашингтона и его соратников.

Однажды в разговоре на улице (было это, по-видимому, еще до войны за независимость) Кант высказал свое отношение к назревавшему в Северной Америке конфликту. Один из присутствовавших заявил, что он как англичанин чувствует себя оскорбленным и вызывает Канта на дуэль. Философ хотя и носил шпагу, но не владел ею; его оружие — мысль и слово, он продолжал говорить, отстаивая свою позицию, и делал это с такой убедительностью, что противник в конце концов признал свою неправоту и протянул руку в знак примирения. Так Кант познакомился с Гринном.

Вот выразительная фрагментарная запись тех времен: «В современной истории Англии из-за угнетения Америки всемирногражданская идея отбрасывается далеко назад. Они хотят, чтобы те были подданными подданных и несли на себе тяготы других. Дело не в хорошем правительстве, а в самом способе правления». Обратите внимание на последнюю фразу: в дальнейшем она войдет в плоть ряда произведений Канта, развернется в целую теорию государственного устройства. Но пока это сказано мимоходом; философ бьется над трудом по теории познания. Бьется как рыба об лед.

Когда один из учеников Канта, очутившись в Геттингене, заявил в кругу тамошних профессоров, что в письменном столе его учителя лежит труд, над которым господам философам «придется попотеть», раздался смех: от этого дилетанта в философии ждать нечего. (Среди присутствовавших был профессор Федер, с его именем мы еще встретимся.)

В письменном столе Канта накапливались черновики. Книги по-прежнему не было. В письмах к Герцу он перестал о ней упоминать.

Кант нервничал. В 1775 году он снова переменял квартиру. На этот раз его изводил соседский петух, горланивший под окнами. Философ предлагал любые деньги, чтобы петуха

прирезали, но хозяин не хотел с ним расставаться. Как может птица мешать человеку, к тому же прослывшему мудрецом? Сосед не желал потакать профессорской блажи. Пришлось Канту расстаться с домом Кантера.

Переезд не потребовал особых хлопот. Имущества было немного: «чернильница, перо и нож, бумага, рукописи, книги, домашние туфли, сапоги, шуба, шапка, ночные штаны, салфетки, скатерть, полотенце, тарелки, миски, ножи и вилки, солонка, рюмки и стаканы, бутылка вина, табак, трубка, чайник, чай, сахар, щетка». Таков реестр немудреного скарба философа, собственноручно им составленный перед отбытием в новое жилище. На новом месте (Оксенмаркт) ему живется спокойнее. Но книги все еще нет.

Во главе прусского министерства, ведавшего делами образования, стоял в те годы барон Цедлиц — копия своего монарха, маленький просвещенный деспот. Своим подчиненным он внушал уважение к философии; студент должен усвоить, полагал министр, что после окончания курса наук ему придется быть врачом, судьей, адвокатом и т. д. лишь несколько часов в сутки, а человеком — целый день.

Вот почему наряду со специальными знаниями высшая школа должна давать солидную философскую подготовку; важно, чтобы это была подлинная мудрость, а не пустые словопрения и ухищрения. Министр был поклонником философии Канта.

Что означает подобная приверженность к определенному строю мыслей для человека, наделенного властью? В декабре 1775 года последовал «королевский приказ» о постановке преподавания в Кенигсбергском университете. «Хотя Мы и не хотим господствовать над индивидуальными мнениями, но Мы считаем необходимым воспрепятствовать распространению некоторых общественно бесполезных». От имени короля Цедлиц запретил преподавание крузианства как философии устаревшей и никчемной, доценту Вейману (любимцу Болотова и врагу Канта) пришлось покинуть университет. Канту в «королевском приказе» выказывалось особое доверие и почтение. В отношении Кенигсбергского профессора философии у министра были свои планы.

Однажды летним утром 1777 года в аудитории, где Кант читал лекции, появился незнакомый человек. Для студента он был стар, на начальство непохож; низкий рост, густая борода. Он вызвал сначала шуточные, затем насмешливые замечания, вокруг него поднялся шум, свистки и крики. Незнакомец оставался невозмутимым, молча уселся на пустое место. Появился Кант, и началась лекция. В перерыве незнакомец направился к кафедре, и снова раздался шум, который, однако, моментально смолк: профессор заключил пришельца в свои объятия. Это был Моисей Мендельсон.

Кант искренне обрадовался встрече с человеком, с которым можно на равных говорить о философии. Он пригласил Мендельсона домой, был смущен скромностью своего угощения, но для гостя, как и для хозяина, главный интерес представляла беседа. Мендельсон приехал в Восточную Пруссию по каким-то личным делам. К профессору Канту, между прочим, его привело поручение министра Цедлица. Речь шла о замещении кафедры в Галле. После смерти Вольфа ее занимал его выдающийся последователь Мейер, теперь он умер, и Цедлиц спрашивал о возможном преемнике. Кант назвал одного из своих учеников. У министра были, однако, свои планы.

В феврале 1778 года профессор Кант получил от него личное послание. Цедлиц сообщал, что, находясь на расстоянии 800 миль, он слушает лекции Канта по физической географии: перед ним студенческий конспект, который он внимательно штудирует. Через неделю Цедлиц пожаловался на качество записей, студент небрежен: после Камчатки у него речь идет о пригородах Астрахани, есть ошибка и в описании фауны Явы. Кант не обратил внимания на замечания министра (в обоих случаях виноват был автор не записей, а лекций, обе ошибки остались без исправления и вошли в изданный текст); внимание Канта приковало другое: второе письмо начиналось и кончалось предложением занять вакантное место в Галле с первоначальным окладом в 600 талеров.

Кант отказался. (За два года, до этого он отклонил приглашение в Миттаву, где только что возник университет, и ему готовы были положить оклад в 800 талеров.) Через месяц Цедлиц повторил предложение. На этот раз он посулил 800 талеров (оклад Канта в то время составлял

236 талеров, увеличение было более чем трехкратным!). Далее министр пообещал философу титул придворного советника. И последнее (для Канта, может быть, самое главное): он красочно описал духовную атмосферу Галлеского университета, где собраны лучшие академические силы — математики, физики, химики, медики, богословы. «Посмотрите, какие люди! Центр ученой Германии! И климат лучше, чем на Балтийском море. Человек, подобный Вам, должен согласиться с тем, что его долг распространять светоч общепользных знаний среди возможно более широкого круга, он должен выбрать себе такое место, где его таланты найдут наилучшее применение, где он принесет больше пользы... Обучающиеся в Галле 1000—1200 студентов хотят увидеть в Вас своего наставника, и я не могу им в этом отказать».

Кант стоял на своем. Ему не нужны были ни бешеные деньги, ни слава, ни придворные чины. Конечно, Кенигсберг по сравнению с Галле захолустье. Восточная Пруссия — задворки Европы. Но здесь он дома, здесь вырос, здесь все привычно, а привычка — вторая натура. Любая перемена в образе жизни его пугает. Что касается общей пользы, то ради нее он бьется над задуманным трудом. Переезд в чужой город может только повредить работе. Тридцать лет назад он сказал о себе, что выбрал путь. Тогда это были громкие слова. Теперь он их не произносит, но поступает в соответствии с ними. Распутье кончилось, путь действительно выбран, и отклонения невозможны. «Критика чистого разума» должна быть написана!

И Кант в конце концов написал ее. Весной и летом 1780 года. Большие куски были давно готовы, поэтому все удалось завершить в течение пяти месяцев. Труд размером в 55 авторских листов лежал перед ним (заново была написана первая четверть). Он знал слабости книги — главным образом стилистические, но переписывать ее сил уже не было, к тому же ему не терпелось вынести свое детище на суд общественности.

А тут еще сам объявился издатель. Иоганн Фридрих Харткнох, бывший студент Канта, затем служащий у Кантера, основал самостоятельное книготорговое дело в Риге. В сентябре 1780 года он услышал от Гамана, что Кант закончил «Критику». Харткнох уверял философа: лучшего издателя вам не найти, все будет сделано быстрее и с большим вкусом, чем у других, у вас будут самые благоприятные возможности для распространения книги во всех уголках Германии. Кант передал ему рукопись. Собственной типографии у Харткноха не было, «Критика чистого разума» печаталась в Галле. Первоначально Кант хотел посвятить ее Ламберту, проявлявшему столь живой интерес к его теоретическим исканиям. Но того уже два года, как не было в живых. В марте 1781 года Кант написал посвящение министру Цедлицу. В мае книга увидела свет.

* * *

Читатель, открывший первую страницу «Критики чистого разума», наталкивается на эпиграф из Френсиса Бэкона. Это обширная выдержка из предисловия к «Великому Восстановлению Наук»: «О себе самом мы молчим, но в отношении предмета, о котором идет речь, мы хотим, чтобы люди считали его не мнением, а делом и были уверены в том, что здесь закладываются основания не для какой-либо секты или теории, а пользы и достоинства человеческого... Наконец, чтобы они прониклись доброй надеждой и не представляли в своем уме и воображении наше Восстановление чем-то бесконечным и превышающим силы смертных, тогда как на самом деле оно есть законный конец и предел бесконечного блуждания».

Вы еще не начали читать книгу, а слова великого преобразователя философии настраивают вас на определенный лад. В свое время Бэкон выступил с критикой схоластического разума и житейского рассудка, с требованием отбросить мертвые догмы и укоренившиеся предрассудки, проверять в опыте все положения, претендующие на истинность («Истина — дочь Времени, а не Авторитета»). Кант видел себя продолжателем этого начинания. Не Платона, не Аристотеля, не почитаемого Руссо или Юма, а именно материалиста и эмпирика Бэкона взял Кант в качестве путеводной звезды, призванной осветить первые шаги за порогом того умственного лабиринта, куда он увлекал читателя.

«...Законный конец и предел бесконечного блуждания». Бэкон искренне верил, что своим трудом он создаст систему науки и решит ее основные теоретико-познавательные проблемы. Он

умер, не завершив начатого дела. А истекшие полтора века показали, насколько дерзкой была попытка положить предел «блужданиям разума». Предполагаемый конец обернулся началом.

Думал ли Кант, что на его долю выпало решение задачи, поставленной Бэконом? Через двенадцать лет он напишет статью «Конец всего сущего», где лишь иронически улыбнется над любой человеческой претензией положить предел чему-либо беспредельному. Впрочем, за ответом не нужно ходить далеко. Читатель, перевернувший следующую страницу «Критики», начинает понимать, что дело обстоит сложнее, чем простое «да» или «нет». На долю человеческого разума, пишет Кант, выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят его возможности. В такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начинает с основоположений, выведенных из опыта, но, поднимаясь к вершинам познания, вскоре замечает, что перед ним возникают все новые и новые вопросы, ответ на которые он не может дать. И разум вынужден прибегнуть к новым основоположениям, которые хотя и кажутся очевидными, но выходят за пределы опыта. И тут его подстерегают противоречия, которые свидетельствуют о том, что где-то в самой основе скрыты ошибки, обнаружить которые опытным путем невозможно.

Так начинается предисловие. Кант видит свою задачу в том, чтобы преодолеть две мировоззренческие позиции, два вида одностороннего и, следовательно, ложного подхода к проблеме познания — догматизм и скептицизм. Одновременно это преодоление Вольфа. Ибо Вольфу принадлежало разделение всех философских направлений на скептиков и догматиков. Первые пребывают в сомнении относительно природы вещей, вторые на этот счет придерживаются четкого («догматического») взгляда. (Догматизм Вольф разделял на дуализм и монизм в зависимости от того, два или один вид вещей признается в качестве реально сущего; монисты распадаются на материалистов и идеалистов, а последние на плюралистов, признающих множество идеальных существ, и эгоистов, ограничивающихся собственной персоной.)

Кант предлагает третий путь — единственно здравый, по его мнению, — путь критики. Причем речь идет не о критике каких-либо книг или философских систем, а о критике самого разума, взятого в чистом виде, то есть независимо от какого бы то ни было опыта. Кант намерен изучить инструмент познания, прежде чем пустить его в дело. (Хочет научиться плавать, не залезая в воду, иронизировал по этому поводу Гегель и был прав: отвлечься совсем от процесса познания Канту, разумеется, не удалось.)

Созрел ли разум для самокритики? Кант не сомневается в своевременности своего начинания. Философия, говорит он, не филодоксия, любовь к мудрости не любовь к мнениям. Пора подрезать корни ложным учениям — всем видам догматизма и скептицизма. А для этого необходима кропотливая работа критики. «Если правительства считают полезным вмешиваться в деятельность ученых, то их мудрой заботливости о науке и обществе более соответствовало бы способствовать свободе такой критики, единственно благодаря которой можно поставить на прочную основу деятельность разума, а не поддерживать смехотворный деспотизм школ, которые громко кричат о нарушении общественной безопасности, когда кто-то разрывает их хитросплетения, между тем как публика их никогда не замечала и потому не может ощущать их утрату».

Труд Канта положил начало знаменательной традиции в европейском духовном развитии. Суть ее состоит в том, что каждый дальнейший шаг вперед рассматривается как переосмысление накопленного теоретического богатства, которое бережно хранится, но не превращается в фетиш. Вспомним, что основной труд К. Маркса имеет подзаголовок «Критика политической экономии».

Познакомимся теперь с некоторыми исходными идеями «Критики чистого разума». Всякое знание, по Канту, начинается с опыта, но не ограничивается им. Часть наших знаний порождается самой познавательной способностью, носит, по выражению Канта, априорный (до-опытный) характер. Эмпирическое знание единично, а потому случайно: априорное — всеобщее и необходимо.

(Априоризм Канта отличается от идеалистического учения о врожденных идеях. Во-первых, тем, что, по Канту, доопытны только формы знания, содержание целиком поступает из опыта. Во-вторых, сами доопытные формы не являются врожденными, а имеют свою историю. Реальный смысл кантовского априоризма состоит в том, что индивид, приступающий к познанию, располагает определенными, сложившимися до него формами познания. Наука обладает ими тем более. Если посмотреть на знание с точки зрения его изначального происхождения, то весь его объем в конечном итоге взят из все расширяющегося опыта человечества. Другое дело, что наряду с непосредственным опытом есть опыт косвенный, усвоенный. Так сегодня мы смотрим на проблему, поставленную Кантом.)

Далее Кант устанавливает различие между аналитическими и синтетическими суждениями. Первые носят поясняющий характер, а вторые расширяют наши знания. Суждение «все тела протяженны» аналитично, так как понятие тела уже включает в себя свойство протяженности. Суждение «вчера шел дождь» синтетично, так как понятие прошедшего дня не связано с дождливой погодой.

Все опытные, эмпирические суждения синтетичны. Это очевидно. Но вот вопрос: как возможны априорные (доопытные) синтетические суждения? Это главный вопрос «Критики чистого разума». В том, что они существуют, Кант не сомневается; иначе научные знания не были бы обязательными для всех. По его глубокому убеждению, все математические суждения априорны и синтетичны. Проблема состоит в том, чтобы объяснить их происхождение. Это относится и к естествознанию. Естественные науки существуют и развиваются, дают новое, обязательное для всех знание. Каким образом?

Что касается философии (или, как Кант ее называл, метафизики), то о своей области знания мыслитель судит осторожно. Надо еще проверить, является ли она наукой, дает ли она новое знание, опирается ли она на всеобщие, обязательные для всех принципы.

В результате главный вопрос «Критики» — как возможно чистое, внеопытное знание — распадается на три. Как возможна математика? Как возможно естествознание? Как возможна метафизика в качестве науки? Отсюда три раздела основной части «Критики чистого разума» — трансцендентальная эстетика, аналитика, диалектика. (Второй и третий разделы вместе образуют трансцендентальную логику.)

Трансцендентальной Кант называет свою философию потому, что она изучает переход (*transcendo* — переходить, переступить) в систему знаний, точнее — конструирование нашей познавательной способностью условий опыта. Трансцендентальное Кант противопоставляет трансцендентному, которое остается за пределами возможного опыта, по ту сторону познания.

Тут мы подошли к важной проблеме кантовского учения, которую он ставит на первых же страницах «Критики чистого разума». Речь идет о том, что опытные данные, поступающие извне, не дают нам адекватного знания об окружающем нас мире. Априорные формы обеспечивают всеобщность знания, но не делают его копией вещи. То, чем вещь является для нас (феномен), и то, что она представляет сама по себе (ноумен), имеет принципиальное различие. В диссертации 1770 года Кант утверждал, что ноумены постигаются непосредственно умом, теперь он считает их недоступными никакому познанию, трансцендентными. Сколько бы мы ни проникали в глубь явлений, наше знание все же будет отличаться от вещей, каковы они на самом деле. Разделение мира на Доступные знанию «явления» и непознаваемые, «вещи сами по себе» (или «вещи в себе», как по традиции переводят у нас кантовский термин¹) — опасная тенденция агностицизма.

¹ Покойный М. П. Баскин сообщил автору этих строк, что ему довелось однажды принять участие в беседе молодых марксистов-обществоведов с В. И. Лениным. Баскин поинтересовался мнением Владимира Ильича относительно того, как правильно перевести кантовский термин *Ding an sich* — «вещь в себе» или «вещь сама по себе». Ленин ответил: «Вещь сама по себе». Но когда Баскин предложил пользоваться этим термином, Ленин засмеялся и сказал: «Вам, молодежи, не терпится вводить всюду новое».

В русских литературных текстах начала и середины прошлого века встречается оборот «в себе» в тех случаях, когда теперь мы говорим «по себе». Еще в 1860 году Ф. Достоевский пишет в «Записках из Мертвого дома»: «Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна». Но в 1897 году мы находим у Л. Толстого: «Красота есть нечто существующее само по себе» (трактат «Что такое искусство?»). К концу века словосочетание «в себе» в

аналогичных случаях стало архаизмом, «по себе» — нормой литературного языка. В последнем русском издании «Критики чистого разума (1964) наряду с выражением «вещь в себе» встречается и «вещь сама по себе», хотя речь идет об одном и том же; а в предметном указателе они даны в одной и той же рубрике.

Сам Кант себя агностиком не признал бы. Он был ученым, любил науку, верил в прогресс знания. «Наблюдение и анализ явлений, — говорится в «Критике чистого разума», — проникают внутрь природы, и неизвестно, как далеко мы со временем продвинемся в этом». Границы опыта непрерывно расширяются. Но сколько бы ни увеличивались наши знания, эти границы не могут исчезнуть, как не может исчезнуть горизонт, сколько бы мы ни шли вперед.

Познание не знает предела. Верить в науку нужно, но переоценивать ее возможности не следует. Против необоснованных претензий науки, догматического предрассудка о ее всеисилии (который в наши дни именуется «сциентизмом») и направлен реальный смысл учения Канта о вещах самих по себе. При неверном истолковании оно может сбить с толку, при правильном — открыть путь истины.

А что есть истина? Вопрос каверзный, но для философа неизбежный. Кант не уходит от него, хотя и медлит с ответом. Уменьше ставить разумные вопросы, несколько раздраженно рассуждает он, — необходимый признак ума. Если вопрос сам по себе лишен смысла, то, кроме стыда для вопрошающего, он имеет еще и тот недостаток, что побуждает к нелепому ответу и создает смешное зрелище: один доит козла, а другой подставляет решето.

Раздражение вызвано тем, что вопрос об истине мучает Канта, но он понимает невозможность однозначного ответа на этот вопрос. Можно, конечно, сказать, что истина есть соответствие знания предмету, и он неоднократно это говорит, но он знает, что слова эти представляют собой тавтологию. Правильно сформулированный вопрос об истине звучит следующим образом: как найти всеобщий критерий истины для всякого знания? Ответ Канта: всеобщий признак истины «не может быть дан».

Как же так? Наш философ вознамерился сокрушить скептицизм, а на поверку вышло лишь повторенье скептических банальностей. Не будем, однако, спешить с оценками.

Кант закладывал фундамент (а иногда только расчищал место для фундамента) того высотного здания философии, которое именуется материалистической диалектикой. Диалектические антиномии (даже там, где о них непосредственно не идет речь) пронизывают текст кантовских произведений. Выдвинув некое положение, Кант видит его границы, их условность, чувствует потребность перейти их, чтобы связать «нечто с другим» (выражаясь языком Гегеля). Рядом с положением вырастает контрположение, своеобразный антитезис, без которого тезис неполон, непонятен, ошибочен. Сам Кант не всегда поднимается до синтеза, иногда у него просто не хватает для этого понятийного аппарата (и это не вина его, а беда — виновато время, которое обгонял мыслитель), но проблема поставлена, и современный читатель, умудренный последующим развитием диалектической мысли, при желании может совместить противоположности.

Противоречивость кантовских дефиниций вызвана, следовательно, противоречивостью предмета рассмотрения. Гердер мог еще упрекать Канта в непоследовательности, но уже Гёте уловил в его построениях нечто более значительное — «плутовскую иронию», с которой автор то убеждает читателя в чем-либо, то призывает подвергнуть сомнению свои положения.

Так обстоит дело и с проблемой истины. Кант отверг всеобщий ее критерий только относительно содержания знаний. Что касается их формы, такой критерий он знает: непротиворечивость рассуждений. Это весьма основательная поправка к отрицательному ответу на вопрос об истине, который разрушал построения догматиков. Теперь задача состоит в том, чтобы избежать скептических построений. Кант понимает, что запрет противоречия представляет собой «только негативный критерий истины», но, руководствуясь им, все же можно возвести прямые конструкции науки.

Мы сейчас знаем, что наука обладает и «позитивным» критерием истины, это практика. Диалектический материализм ввел практику в теорию познания. Критицизм Канта подготовил этот шаг, показав, что в пределах «чистой» теории никакого иного критерия истины, кроме

негативного, сформулировать нельзя. Практика — компас в руках ученого. Но, подчеркивал В. И. Ленин, критерий практики тоже не абсолютен. «Не надо забывать, что критерий практики никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть *полностью* какого бы то ни было человеческого представления»¹. Практика подтвердила истинность неевклидовой геометрии, но другая практика устанавливает истинность аксиом Эвклида. Истина — это процесс все более глубокого постижения мира, движение от незнания к знанию, от неполного знания к более полному, движение, которое не может прекратиться, ибо мир неисчерпаем. Гегель, впервые сформулировавший эту диалектическую идею, впал, однако, в противоречие с самим собой, вообразив, что возможно полное совпадение предмета и мысли — абсолютное знание. (Гипергностицизм столь же вреден, как и агностицизм!) Кант был осмотрительнее: его трансцендентная вещь «сама по себе» служит напоминанием, что предела познанию нет и быть не может.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 145—146.

И еще об одном обстоятельстве напоминает она: есть сферы, где наука бессильна. Такова, например, сфера поведения человека, его свободы, или, точнее, произвола. Художественная литература до и после Канта показала, что человек поступает не только не «по науке», но подчас вопреки элементарной логике. А в «Критике чистого разума» мы читаем: «Никто не отважится судить о предметах с помощью одной только логики».

Все оговорки и уточнения служат у Канта благородной цели: очистить истину от фантомов, дабы уберечь ее искателей от разочарований. Страна познания, говорит философ, «представляет собой остров, самой природой заключенный в неизменные границы. Это царство истины (какое чудесное название!), окруженное обширным и бушующим океаном, этим средоточием иллюзий, где туманы и льды, готовые вот-вот растаять, кажутся новыми странами и, постоянно обманывая пустыми надеждами мореплавателя, жаждущего открытий, втягивает его в авантюры, от которых он никогда уже не может отказаться, но которые он тем не менее никак не может довести до конца. Прежде чем отважиться выйти в это море, чтобы исследовать его по всем широтам и узнать, можно ли там что-нибудь найти, полезно еще раз взглянуть на карту страны, которую мы собираемся покинуть, и задать себе прежде всего вопрос, нельзя ли удовольствоваться тем, чем она располагает, удовольствоваться этим хотя бы в силу нужды, если нигде, кроме нее, нет почвы, на которой мы могли бы обосноваться; и еще нам нужно узнать, по какому праву владели мы этой страной и можем ли считать себя гарантированными от любых враждебных посягательств».

Итак, философ развернул перед нами карту страны познаний (царства истины) и предлагает внимательно ее проштудировать. Вот магистральная дорога, ведущая в глубь территории — чувственное познание. Соответствующий раздел в книге — трансцендентальная эстетика. По Канту, существуют две априорные, доопытные формы чувственности — пространство и время. Пространство систематизирует внешние ощущения, время — внутренние. Бертран Рассел следующим образом поясняет мысль Канта: если вы носите синие очки, все представляется вам в синем свете: подобно этому человек, по Канту, смотрит на мир через особые, пространственные очки и видит все в пространственных отношениях.

Кант не отрицал эмпирической реальности пространства и времени. Он настаивал: «Учение об идеальности пространства и времени есть вместе с тем учение о совершенной реальности того и другого в отношении органов чувств». Кант никогда не отрекался от своей космогонической гипотезы, где в реальном пространстве идут реальные процессы образования и распада миров. Кант не принимал идею конца света, «когда времени больше не будет». В «Критике чистого разума» его занимает теоретико-познавательная проблема: откуда взялись наши представления о длительности и протяженности? Он уверен, что из опыта их нельзя извлечь, они априорны, а следовательно, всеобщи и необходимы. Только поэтому, говорит он, возможна наука о величинах — математика.

Взгляд Канта на пространство и время был в известной степени реакцией на механистические представления об абсолютной длительности и не связанном с ней пустомместилище вещей. Кант рассматривает время и пространство во взаимной связи, но связь эта реализуется лишь в познающем субъекте. Вне человека, в мире вещей самих по себе возможны

иные виды сосуществования и последовательности. Учение Канта при всей своей внешней абсурдности открывало возможность релятивистских интерпретаций пространства и времени. Сам Кант, правда, над этим не задумывался.

Сегодня мы знаем о существовании неевклидовой геометрии. Знаем и то, что наше зрительное восприятие отличается от реально окружающего нас пространства.

Важная роль в философских построениях Канта уготована времени. Хотя иначе чем поэтическим Кантово истолкование времени не назовешь. Не случайно трансцендентальной эстетикой Канта вдохновились два русских поэта. Андрей Белый:

*Взор убегает вдаль весной:
Лазоревые там высоты...
Но «Критики» передо мной —
Их кожаные переплеты...
Вдали — иного бытия
Звздоочитые убранства...
И, вздрогнув, вспоминаю я
Об иллюзорности пространства.*

Александр Блок:

*Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки...
Такие ручки у меня,
Такое темное окошко.
Тепло и темно. Я гашу
Свечу, которую приносят,
Но благодарность приношу...
Меня давно развлечься просят,
Но эти ручки... Я влюблен
В мою морщинистую кожу...
Могу увидеть сладкий сон,
Но я себя не потревожу:
Не потревожу забытья,
Вот этих бликов на окошке...
И ручки скрещиваю я,
И также скрещиваю ножки.
Сижу за ширмой. Здесь тепло.
Здесь кто-то есть. Не надо свечки.
Глаза бездонны, как стекло.
На ручке сморщенной — колечки.*

Стихотворение называется «Иммануил Кант» и, по словам поэта, внушено трансцендентальной эстетикой. Маленький, хрупкий человек, отрешенный от мира, в темноте, в забытии, в полном самоуглублении. Таким поэт видит философа. Это почти гротескное изображение. Но при чем тут пространство и время? Может быть, Блок случайно прочитал соответствующий раздел «Критики чистого разума» (как мог прочитать любой другой раздел) и выразил в стихах свое отношение к Канту как личности? Трансцендентальная эстетика просто предлог? Такая возможность не исключена. Но более вероятной представляется другая, о которой речь будет идти немного погодя.

Бесспорным достижением теории познания Канта был новый взгляд на соотношение созерцания и интеллекта. В XVII столетии соперничали два противоположных направления в теории познания — сенсуализм и рационализм. Сенсуалисты полагали, что главную роль играет чувственное познание, рационалисты, соответственно, отдавали предпочтение интеллекту. Ни та, ни другая школы не видели принципиальной разницы между обоими видами познания. Для сенсуалистов логическое познание было лишь усовершенствованной чувственностью («В рассудке нет ничего, чего не было бы в чувствах», — говорил Локк), для рационалистов чувственность выступала как своего рода интеллект в потенции. Кант подчеркнул несводимость одного «ствола познания» к другому: «Ни одну из этих способностей нельзя предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без созерцания пусты, созерцания без понятий слепы». Научное знание представляет собой *синтез чувственности и рассудка*.

Как осуществляется этот синтез? Ответу посвящена значительная часть трансцендентальной логики. Традиционная формальная логика видела свою задачу в исследовании структуры абстрактного мышления, отвлеченной от его содержания. Кант ставит вопрос о реформе логики. «Должна существовать логика, отвлекающаяся не от всякого содержания познания... она должна была бы также исследовать происхождение наших знаний о предметах, если только оно не может быть приписано предметам». Последняя оговорка весьма существенна. Но в данном случае нас интересует не оговорка, а суть дела: трансцендентальная логика Канта содержательна, она исследует происхождение, объем и значение знаний. И еще одно надо твердо усвоить: Кант много говорит о форме, но имеет в виду содержательную форму, пустой, бессодержательной формы для него не существует. Кант не формалист. (Последнее особенно важно для правильного понимания кантовской философии искусства.)

Теперь о синтезе знания. Логические формы, которые служат основой синтеза, Кант вслед за Аристотелем называет категориями. По Канту, категории априорны. (Хотя вовсе не являются врожденными, а созданы нами самими в ходе «эпигенеза чистого разума».) В соответствии с четырьмя различными видами суждений возникает у Канта следующая таблица категорий: 1. *Категории количества* — Единство. Множество. Всеполнота. 2. *Категории качества* — Реальность. Отрицание. Ограничение. 3. *Категории отношения* — Субстанция. Причина. Общение. 4. *Категории модальности* — Возможность. Бытие. Необходимость.

Бросается в глаза трехчленное деление каждой группы категорий. Здесь уже явно проглядывает будущая гегелевская триада — тезис, антитезис, синтез. Впоследствии (в «Критике способности суждения») Кант следующим образом прокомментирует свою мысль: «Некоторые считали рискованным то, что мои деления в чистой философии почти всегда бывают трехчленными. Но это зависит от природы вещей... Деление необходимо должно быть трихотомией сообразно тому, что вообще требуется для синтетического единства, а именно: 1) условие, 2) обусловленное, 3) понятие, которое возникает из соединения обусловленного с его условием».

Категории — это предельно общие понятия, как бы скелет познания. Только потому, что они существуют, возможно, по Канту, «чистое» естествознание. Но как нельзя получить организм, обтянув скелет кожей, так и тело науки представляет собой нечто более сложное, чем заполнение эмпирическим содержанием двенадцати категориальных форм. Каждая категория дает производные понятия меньшей общности. Категория причинности, например, дополняется понятиями силы, действия, страдания; категория общения — понятиями присутствия, противодействия и т. д. Кант говорит, что при желании он мог бы «представить во всей полноте родословное древо чистого рассудка», но он не делает этого, чтобы не отвлекаться; его задача изложить не полноту системы, а полноту ее принципов.

Эти принципы противоречивы. «Основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, противоположных философских направлений... Признавая единственным источником наших знаний опыт, ощущения, Кант направляет свою философию по линии сенсуализма, а через сенсуализм, при известных условиях, и материализма. Признавая априорность пространства, времени, причинности и т. д., Кант направляет свою философию в сторону идеализма»¹. Для материалиста-диалектика все философские категории представляют

собой отвлечения от реальных связей объективной действительности. Для Канта дело обстоит иначе: «Мы ничего не можем представить себе связанным в объекте, чего прежде не связали сами». Есть и более решительное заявление: «Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает ей».

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 206.

Фраза Канта нуждается в комментариях. Неправильно истолковав ее, мы можем не понять главного в гносеологии Канта — идеи активности сознания. Именно в ней философ видел свою основную заслугу. Он даже сравнивал себя с Коперником, считая, что перевернул положение дел в философии не менее кардинальным образом: раньше считалось, что наши знания должны соотноситься с предметами. Кант исходит из того, что предметы должны соотноситься с нашим познанием.

Звучит парадоксально, но парадоксов бояться не следует: они будоражат мысль и направляют ее по новому пути. Новое, на чем категорически настаивал Кант, состояло в признании активной роли сознания. Вся до-кантовская философия рассматривала интеллект человека как пассивноеместилище идей, которые поступают туда либо естественным, либо сверхъестественным путем. Этим одинаково грешили как идеалисты, так и материалисты. Кант своими категорическими формулировками перегнул палку, но сделал это с добрыми намерениями: для того, чтобы выпрямить предмет, надо согнуть его в противоположном направлении. А в теории познания до Канта были явные «перегибы», и все в одну сторону.

К тому же мы знаем, что, когда Кант говорит «предмет познания» (и даже «природа»), он имеет в виду не вещи сами по себе, а явления, то есть ту часть действительности, которая вступает во взаимодействие с нашим познанием. И эта часть действительности — тут уж куда не денешься — соотносится с действиями, которые мы осуществляем в меру нашего разумения, включена в систему нашего разумно организованного опыта. Маркс ценил немецкую классическую философию (родоначальником которой был Кант) за акцентирование деятельной стороны познания. Сознание не только отражает мир, но и творит его — для материалиста-диалектика это аксиома. Истоки ее у Канта.

Причем речь в данном случае идет не столько об индивидуальном сознании отдельного человека, сколько о «сознании вообще», всеобщем духовном достоянии, зафиксированном в языке и других формах культуры. Трансцендентальное сознание, определяющее, по Канту, «природу», фактически представляет собой сложившуюся картину мира. Трансцендентальный субъект — это и человек и человечество.

Но дело не ограничивается этим. Учение Канта об активности сознания помогло приподнять завесу над одним из самых загадочных процессов — образованием понятий. Великие умы, предшественники героя этой книги, заходили в тупик, пытаясь решить эту проблему. Сенсуалисты настаивали на индукции, опытным «наведении» на некие всеобщие признаки и принципы. По повседневному опыту мы знаем, что лебеди белые, а вороны черные. Но, между прочим, даже житейский рассудок весьма скептически относится к подобного рода всеобщности: выражение «белая ворона» говорит о крайне редком, но все же возможном нарушении привычного порядка вещей, что касается черного лебедя, то он реально существует. А как при помощи индукции, абстрагирования общих признаков объяснить изобретение, создание умственной конструкции чего-то нового, ранее не существовавшего — машины или научной теории?

Рационалисты шли другим путем. Они усматривали строгое, не зависящее от человека соответствие между порядком идей и порядком вещей. Мышление они считали неким «духовным автоматом» (выражение Спинозы), который штампует истину, работая по заранее заданной, «предустановленной» (выражение Лейбница) программе. Объяснение было основательным, но обладало одним существенным изъяном: не могло ответить на вопрос, откуда берутся ошибки. Показательна попытка Декарта выбраться из этого противоречия. Корень заблуждений он видит в свободной воле; чем менее человек затемняет свет божественной истины, тем больше он застрахован от ошибок; пассивность — гарантия правильности знаний.

Кант, подобно Копернику, решительно порывает с предшествующей традицией. Он видит в человеческом интеллекте заранее возведенную конструкцию — категории, но это еще не само научное знание, это только его возможность, такую же возможность представляют собой и опытные данные — своего рода кирпичи, которые нужно уложить в ячейки конструкции. Чтобы выросло здание, требуется активный участник строительства, и Кант называет его имя — *продуктивное воображение*.

До Канта воображение считалось прерогативой поэтов. Сухой педант из Кенигсберга увидел поэтическое начало в науке, в акте образования понятий. Человек, живший как автомат, отверг наименование автомата за интеллектом человека. Интеллект, по Канту, — свободный художник.

Может быть, любовь к географии помогла Канту осмыслить роль воображения в познании: он рассказывал студентам о странах, которых никогда не видел, но живо представлял себе по рассказам других. Кое-что существенное Кант мог вычитать у Вольтера, написавшего для знаменитой «Энциклопедии» статью о воображении. «Поразительное воображение проявляется в прикладной математике: у Архимеда воображение было развито не менее, чем у Гомера». Так утверждал Вольтер.

А что думают по этому поводу современные ученые? Передо мной книга известного французского математика Ж. Адамара «Исследование психологии процесса изобретения в области математики» (М., «Советское радио», 1970). К книге приложена статья еще более известного математика А. Пуанкаре «Математическое творчество». Адамар не скрывал, откуда он черпал свои мысли. Речь идет о том, что процесс научного творчества можно условно разделить на четыре этапа — подготовка, инкубация, озарение, завершение. Первый и четвертый этапы — деятельность сознания, второй и третий — бессознательных компонентов психики. Научное открытие в центральном звене оказывается связанным с неконтролируемой работой психики. Озарение подчас наступает в тот момент, когда сознательные компоненты мышления ослаблены или полностью выключены.

Это отнюдь не означает, что открытие по своей природе случайно. Только высокоразвитое сознание ученого может создать «эвристическую ситуацию», зафиксировать внимание на новых данных, увидеть их противоречие с существующей теорией. Только сознание может поставить проблему, дать общее направление поиску. Но что происходит дальше? В работу включается совершенно иной тип мышления, не тот привычный, связанный с четко зафиксированной знаковой системой, приспособленной для нужд коммуникации. Творческое мышление требует более гибких форм. «Слова полностью отсутствуют в моем уме, когда я думаю», — утверждает Ж. Адамар, вместо слов он пользуется «пятнами неопределенной формы». Анри Пуанкаре, извиняясь за грубость сравнения, предлагает представить компоненты бессознательного в виде неких «атомов», которые до начала умственной работы находятся в неподвижном состоянии, как будто они «прикреплены к стене». Первоначальная сознательная работа, мобилизующая внимание на проблеме, приводит эти атомы в движение. Потом отдыхать будет только сознание, для бессознательного мыслительного процесса отдых окажется кажущимся, работа «атомов» подсознания не прекратится, пока не обнаружится решение. «После того импульса, который им был сообщен по нашей воле, атомы больше не возвращаются в свое первоначальное неподвижное состояние. Они свободно продолжают свой танец». Творить — значит делать выбор, отбрасывая неподходящие варианты, а бессознательным выбором руководит чувство научной красоты. «Кто лишен его, никогда не станет настоящим изобретателем», — категорически заявляет Пуанкаре.

Теперь снова вернемся к Канту. На его страницах не найти термина «бессознательное». Но мы в прошлой главе просили читателя запомнить другой термин — «темные представления», о которых речь шла в конкурсной работе 1764 года. Вот выразительная запись из черновиков Канта. «Рассудок больше всего действует в темноте... Темные представления выразительнее ясных. Мораль. Только внести в них ясность. Акушерка мыслей. Все акты рассудка и разума могут происходить в темноте... Красота должна быть неизреченной. Мы не всегда можем выразить в словах то, что мы думаем». Если к этому прибавить еще ряд не менее решительных, аналогичных заявлений Канта, разбросанных по другим черновикам, то переключка между ним

и Адамаром — Пуанкаре получится удивительная. Современная эвристика занимается проблемами, которые уже волновали Канта.

Нам могут возразить, что в «Критике чистого разума» не упоминаются и «темные представления» (речь о них идет только в ранних и поздних работах). Тем не менее идея бессознательного, притом активного, творческого начала выражена недвусмысленно. Кант говорит о спонтанности мышления. Рассудок благодаря продуктивному воображению сам спонтанно, то есть стихийно, помимо сознательного контроля, создает свои понятия. «Способность воображения есть спонтанность». Такова одна из центральных идей «Критики чистого разума».

Но где гарантия, спросит читатель, что наше воображение родит именно искомое понятие, а не нагородит черт знает что? Это проблема истинности познания, о которой речь шла выше. К тому же, как мы уже выяснили, созидательная деятельность воображения обусловлена, во-первых, готовыми конструкциями (категориями), а во-вторых, наличным строительным материалом — эмпирическими данными. Именно поэтому воображение возводит не воздушный замок, а прочное здание науки. Продуктивное воображение не пустая фантазия. Это рабочий инструмент синтеза чувственности и рассудка.

Канту мало общей констатации факта. Он пытается уточнить сам ход этого синтеза и обнаруживает некую промежуточную фазу, среднее звено между чувственностью и абстрактным мышлением. В «Критике чистого разума» появляется новый термин — схема. Это как бы полуфабрикат продуктивного воображения, нечто совсем удивительное — с одной стороны, чувственное, с другой — интеллектуальное, «посредующее представление», «чувственное понятие». Гегель потом (в другой связи) скажет «абстрактное представление», но великого диалектика проблема синтеза интересов не станет, от чувственности он будет ждать лишь одни неприятности; дух, по его мнению, и без чувственности своим ходом идет к истине, которая раскрывается в тождестве бытия и мышления. Кант — диалектик не столь великий, но решить пытается именно диалектическую задачу — совместить противоположность чувственного и логического.

Схему, подчеркивает Кант, следует отличать от образа. Последний всегда нагляден. Пять точек, расположенных одна за другой, — образ некоего количества, чистая схема количества — число. В основе понятий лежат не образы, а схемы. Как они возникают, сказать трудно, — это «скрытое в глубине человеческой души искусство, настоящие приемы которого нам вряд ли когда-либо удастся угадать». Кант, правда, указывает на опосредующий механизм синтеза чувственности и рассудка — время. Временной ряд одинаково присущ как созерцаниям, так и понятиям. Время лежит в основе схем.

Если взглянуть теперь снова на категории, то станет ясно, как Кант представляет себе внеопытное возникновение категорий, уже упоминавшийся нами «эпигенез чистого разума». Каждая категория имеет свою схему. Что такое схема субстанции? Постоянство реальности во времени. Схема причинности? Реальность, за которой следует другая реальность. С помощью времени наше воображение конструирует категории, те самые, что «предписывают» законы природе. Чтобы вырваться за пределы природы, надо преодолеть время. Вывод запомним; когда вернемся к Блоку, мы вспомним о нем.

Хотя природу интуиции нам он не прояснит. Пора произнести это слово. Считается, что Кант изгнал интуицию из сферы интеллекта, поместив ее целиком в сферу чувственности. На самом деле Кант изгнал только слово, понятие же он расширил и обогатил. Термином «интуиция» Декарт и Спиноза, как и их предшественники, обозначали пассивное непосредственное усмотрение истины. Кант принял такое толкование термина; по его мнению, пассивны чувства. Поскольку интеллект деятелен, в нем нет места для интуиции. Интуиция, по Канту, может быть только чувственной.

Сегодня мы иначе смотрим на интуицию. Мы видим в ней непосредственную способность к творчеству, отысканию того, что нужно. Пассивного познания вообще не существует. Как свидетельствуют новейшие психологические исследования, даже на уровне органов чувств человеческая психика активна, здесь нет автоматического фотографирования, здесь также идет весьма своеобразный творческий процесс. Деятельное начало в интеллекте,

которое Кант назвал продуктивным воображением, представляет собой разновидность интуиции.

Помимо образования понятий, интуиция нужна еще в одном важном деле — в их использовании. Ученый (как и любой другой смертный) должен не только располагать набором общих правил, законов, принципов, но и уметь применять их в конкретных, единичных обстоятельствах. Кант называет это интуитивное умение *способностью суждения*. «Способность суждения есть отличительная черта так называемой смекалки, и отсутствие ее нельзя восполнить никакой школой, так как школа может дать даже ограниченному рассудку, как бы вдолбить в него сколько угодно правил, заимствованных у других, но способность правильно пользоваться ими должна быть присуща даже ученику, и если нет этого естественного дара, то никакие правила, которые были бы предписаны ему с этой целью, не гарантируют его от ошибочного применения их... Отсутствие способности суждения есть, собственно, то, что называют глупостью, и против этого недостатка лекарства нет».

Под другими названиями, но основные виды интуиции в ее современном понимании Кантом описаны (далее будет идти речь и о художественной, и о нравственной интуиции). Интуиция сопровождает познание при его движении в любом направлении — «вверх», когда возникают абстракции, и «вниз», когда эти абстракции идут в дело. В первом случае работает продуктивное воображение, во втором — способность суждения. Без них функционирование рассудка невозможно.

Итак, рассудок и интуитивная способность суждения. Кроме этих двух, Кант называет еще одну сферу интеллектуальной деятельности, высший ее этаж — *разум*. В широком смысле слова разум для Канта равнозначен всему логическому мышлению. Иногда, правда, Кант бывает непоследователен и употребляет в этом значении термин «рассудок». В узком смысле слова рассудок — сфера науки, здесь осуществляется познавательный синтез; разум — высшая контрольная и направляющая инстанция, это сфера философии. Аналитика — учение о рассудке, диалектика — учение о разуме.

...Именно над аналитикой он бился годами. Все остальное, три четверти книги, было написано. Не хватало начала и центрального звена. Кант не мог решить главную задачу — показать, как возникает научное знание. Он как бы стоял перед глухой стеной и пытался пальцами выковырять кирпичи. С железным упорством он делал свое дело, день за днем, месяц за месяцем. И стена рухнула. Это пришло как озарение. И осталось навеки.

* * *

Прогресс науки — освобождение от предрассудков. В том числе и от предрассудка о всемогуществе научного знания. Одна из иллюзий, порожденных ранним Просвещением: «Наука все может» — может доказать бытие бога, обосновать бессмертие души, раскрыть все тайны бытия человека. Показать беспочвенность подобных претензий — одна из задач кантовской самокритики разума.

Диалектика, по Канту, — логика видимости. Дело в том, что разум обладает способностью создавать иллюзии, принимать кажущееся за действительное. Задача критики — внести ясность. Поэтому кантовская диалектика начинается с уточнения понятия «видимость». Это не галлюцинация, не фантом, который представляет собой порождение индивидуального сознания. Видимость — иллюзия, которой «никак нельзя избежать». Нам кажется, что Солнце движется по небосводу, это видят все, но подлинным явлением природы, определяющим смену дня и ночи, служит вращение Земли вокруг своей оси; явление и видимость — различные понятия. Помимо эмпирической, может быть логическая видимость, которая возникает из нарушения логических правил. В обоих этих случаях легко устранить ошибку. Труднее дело обстоит с трансцендентальной, философской видимостью, когда высказываются суждения о вещах, лежащих за пределами возможного опыта. Например, суждение «мир должен иметь начало во времени».

Трудности разума связаны с тем, что он имеет дело не с научными понятиями (сфера рассудка), а с идеями. Идея — это такое понятие, для которого в созерцании не может быть дан адекватный предмет. Разум непосредственно направлен не на опыт, а на рассудок,

подготавливая ему поле для деятельности. Разум вырабатывает основоположения, общие принципы, которые рассудок и способность суждения применяют к частным случаям. Разум выполняет направляющую функцию в познании, он направляет рассудок к определенной цели, ставит перед ним задачи. (Функция рассудка конститутивна, то есть конструктивна, он создает понятия.) Разум очищает и систематизирует знание.

Поэтому неверно считать, что Кант дискриминирует разум. При правильной дисциплине этот орган мышления может сослужить великую службу. Именно благодаря разуму теория переходит в практику, идеи регулируют не только наше познание, но и наше поведение. Из того, что человек никогда не будет поступать адекватно чистой идее добродетели, вовсе не следует, будто она химера. Всякое суждение о моральном достоинстве возможно только при посредстве такой идеи.

Платон, напоминая Канту, выдвинул идею совершенного государства. От нее нельзя отмахнуться под таким предлогом, что она неосуществима. Государственный строй, основанный на наибольшей человеческой свободе, где свобода каждого совместима со свободой всех остальных, — необходимая идея, которую следует брать за основу при составлении любого законодательства. Нет ничего более вредного и менее достойного философа, чем невежественные ссылки на якобы противоречащий опыт. И хотя, по мнению Канта, совершенного строя никогда не будет, тем не менее он считает правильной идею, которая выдвигает этот принцип в качестве прообраза, чтобы, руководствуясь им, постепенно приближать правовое общественное устройство к возможно большему совершенству.

Велика роль идей и в теоретической сфере. Разум доводит рассудочный категориальный синтез до предела, создавая максимально широкие обобщения, выходящие за границы опыта. Теоретические идеи, по Канту, образуют систему, выведенную из трех возможных вариантов отношения понятия к реальности. Во-первых, отношение к субъекту, во-вторых, — к объекту, в-третьих, — к тому и другому вместе, то есть ко всем вещам. Отсюда возникают три класса идей — о душе, о мире, о боге.

Предшествующая Канту философия с легкостью необыкновенной рассуждала о том, о другом и о третьем. Кант считает, что как раз в этой области разум нуждается в самой основательной самопроверке и самокритике. Что стоят расхожие рассуждения о душе как о субстанции и выводимое отсюда положение о бессмертии? Кант называет такие рассуждения паралогизмами — ложными по форме умозаключениями. И без труда опровергает их.

Во втором издании «Критики чистого разума» (1787) автор направил острие своей критики по более конкретному адресу. В тексте появился новый раздел — «Опровержение мендельсоновского доказательства постоянства души». Моисей Мендельсон в своем трактате «Федон» обосновывал бессмертие ссылкой на простоту, то есть неделимость души. Неделимое не может стать меньше, а следовательно, исчезнуть. Кант по этому поводу замечает, что уменьшение может происходить не только как изменение величины, то есть экстенсивно, но и как изменение степени реальности, интенсивно. Сознание не делится на атомы, но имеет различную степень реальности.

За два года до выхода в свет второго издания «Критики чистого разума» на книжном рынке Германии появилось анонимное произведение «Анти-Федон». Рассуждения ее автора (им был Карл Шпацир, преподаватель дессауского «Филантропина», литератор и философ) предвосхищали кантовскую критику Мендельсона. Шпацир отмечал, что интенсивность сознания меняется в зависимости от возраста: в молодости она возрастает, к старости падает. Трудно сказать, был ли Кант знаком с текстом «Анти-Федона».

Но Шпацир Канта знал. В своей книге он называет Канта одним из «величайших мыслителей», ссылаясь на «Грезы духовидца» и «Критику чистого разума». Это обстоятельство очень важно: критицизм Канта, разрушавший идеалистические догмы, сыграл свою роль в становлении материалистического миропонимания. Шпацир — материалист, правда, весьма своеобразный: он считает, что душа материальна и именно поэтому бессмертна. Такая разновидность материалистического учения была довольно широко распространена в Германии: немец хотел поспеть за наукой и не поссориться с богом. Оба эти помысла были знакомы и Канту. Только он воздерживался от скоропалительных выводов и был достаточно проницателен

в отношении устоявшихся догм. Переходя к следующей группе понятий чистого разума — космологическим идеям, мы хотим предупредить читателя о значении проблемы. Подобно тому как учение о продуктивном воображении представляет собой кульминацию аналитики, так антиномии — кульминация кантовской диалектики. Перед нами второй главный узел проблем «Критики чистого разума». Вот почему об антиномиях написано так много — глубокомысленных и даже красивых вещей. За примерами не надо ходить далеко. Следующей выдержкой из книги советского литературоведа Я. Э. Голосовкера «Достоевский и Кант» мы предварим рассмотрение проблемы по существу.

«Откуда и куда бы ни шел мыслитель по философской дороге, он должен пройти через мост, название которому — Кант. И хотя этот философский мост, одно из семи чудес умозрительного конструктивизма, надежно огражден высокими насыпями человеческого опыта, ледяной ветер безнадежности пронизывает на нем мозг путника, и напрасно будет он искать в окружающем полумраке солнце жизни. И как бы осторожно и медленно, с частыми передышками ни ступал этот окоченевший мыслитель, он, еще не дойдя до середины пути, ощутит, что шаг его становится неверен, что мост под ним колеблется и качается, что идет он по подозрительно скептической дороге...

И вдруг его, мыслителя, начинает, как балаганного Петрушку, бросать из стороны в сторону; он то стремительно падает вниз, то взлетает вверх, как будто мост уже не мост, а какая-то хитрая система танцующих коромысел, перебрасывающих его с конца в конец, с одного коромысла на другое. Вдобавок между этими сцепленными коромыслами он заметит зияющую бездну, до дна которой никогда не проникнет его пытливый взор мыслителя. И если потребность в устойчивости, этот основной стимул культуры, побудит его, при его упорстве догматика, искать твердой опоры — «да» или «нет» — именно здесь, среди этих танцующих четырех коромысел (их окажется всего четыре!) и пересилить инстинкт, влекущий его поскорее выбраться из мира этих членистоногих софистических секций, — тогда он, путник, погиб: ибо никогда уже не выйти ему оттуда, и он до конца дней своих осужден качаться на этих коромыслах, соскальзывая с одного конца на другой, и сам обратится в такое коромысло-маятник, пока безумие или смерть не избавит его от умственной пытки. Но стоит путнику, совершив переход через этот чертов мост, обернуться, как он не может не развести руками и не попенять на себя за то, что принял такую высокую забаву Конструктора всерьез: ибо позади него окажется иллюзорная действительность, порожденная его же собственным догматическим упорством, прикрывающим его непреодолимый скептицизм».

Теперь к делу. Антиномии — это исключают друг друга равнодоказуемые суждения; к ним с неизбежностью приходит разум, пытающийся охватить мир в целом. В соответствии с четырехступенчатой таблицей категорий перед разумом возникают четыре космологические идеи, где тезис и антитезис существуют на равных основаниях. (Если кантовское трехчленное деление категорий соответствует триадичной гегелевской структуре бытия, то равноправные антиномии явно предвосхищают взаимопроникающие «парные» категории гегелевского учения о сущности.)

1. *Тезис*: Мир имеет начало (границу) во времени и пространстве. *Антитезис*: Мир во времени и пространстве безграничен. 2. *Тезис*: Все в мире состоит из простого. *Антитезис*: Нет ничего простого, все сложно. 3. *Тезис*: В мире существует причинность через свободу. *Антитезис*: Никакой свободы нет, все есть природа. 4. *Тезис*: В ряду мировых причин есть некая необходимая сущность. *Антитезис*: В этом ряду нет ничего необходимого, все в нем случайно.

Остановим внимание на первой антиномии. Доказательство тезиса и антитезиса ведется «от невозможности обратного». Доказывая тезис, Кант предлагает допустить, что мир не ограничен во времени. Тогда в каждый данный момент бесконечное время оказывается ограниченным (со стороны настоящего), а это противоречит идее бесконечности; бесконечный прошедший, то есть «сосчитанный», ряд невозможен. Рассматривая антитезис, Кант опять-таки начинает с противоположного допущения: мир ограничен во времени, но тогда получается, что было «пустое» время, когда мира не существовало. Опять-таки бессмыслица.

Разум уперся в стенку? Ничего не поделаешь, главное, не старайтесь пробить эту стенку лбом: шишек не будет, но помутнение мозгов не исключено. Ибо стена мнимая.

Если кто-нибудь скажет, что какой-то предмет или пахнет хорошо, или пахнет дурно, то можно сказать и нечто третье, а именно: данный предмет вообще не пахнет, и оба противоположных суждения могут оказаться ложными. Так, по Канту, и в данном случае: при всей видимой обоснованности оба противоположных суждения о конечности или бесконечности мира ложны. Они относятся лишь к миру явлений; в мире вещей самих по себе возможно нечто и третье.

Кант поставил диалектическую проблему. «Здесь мы видим удивительнейшее явление человеческого разума, не имеющее ничего подобного этому ни в каком другом применении разума». Стремясь схватить мир как целое, раскрыть его сущность, разум с необходимостью наталкивается на противоречие. *Противоречие — неизбежный момент мышления.* Кант совершил великое открытие!

С диалектических и логических высот XX столетия критиковать Канта не составляет труда. Кантовские антиномии породили огромную литературу, разбор которой увел бы нас далеко в сторону. Познакомимся лишь с тем, как Ф. Энгельс разбирает обоснование тезиса о конечности мира. Мысль о «сосчитанном бесконечном ряде» возникает только при допущении начала мира, а это как раз надо еще доказать. «Бесконечность, имеющая конец, но не имеющая начала, не более и не менее бесконечна, чем та, которая имеет начало, но не имеет конца»¹. Получается, что тезис Канта ложен, антитезис содержит истину, которая в полной мере открывается при условии, если в понятие бесконечного включить его противоположность — конечное. «Бесконечность есть противоречие, и она полна противоречий. Противоречием является уже то, что бесконечность должна слагаться из одних только конечных величин»².

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 50,

² Там же, с. 51.

Аналогичным образом обстоит дело и с второй антиномией. Здесь также, по мнению Канта, и тезис и антитезис одинаково ложны. Иное дело — третья и четвертая антиномии. В двух последних случаях, по Канту, и тезис и антитезис истинны.

Самая важная для Канта третья антиномия. Свободы нет, все на свете жестко детерминировано. Да, действительно, это так в мире явлений. Но человек наделен свободой воли, и природная детерминация над ним не властна. Тоже верно, соглашается Кант с самим собой и поясняет: так обстоит дело в мире вещей самих по себе.

Человек живет в двух мирах. С одной стороны, он феномен, клеточка чувственного мира, существующая по его законам, порой далеким от человечности. Но, с другой стороны, он ноумен, существо сверхчувственное, подчиненное идеалу. У человека два характера: эмпирический, привитый окружением, и ноуменальный, интеллигибельный, как бы присущий ему изнутри. Связаны ли они между собой? Или интеллигибельный характер есть нечто запредельное, в посюстороннем мире себя не проявляющее? В том-то и дело, что в поведении человека реализуется связь между двумя характерами. На этом основана вменяемость человека, его ответственность.

Кант иллюстрирует свою мысль простым примером. Если человек злобно лжет и его ложь вносит замешательство в общество, кто виноват? Исследуя эмпирический характер, мы можем найти причины данного дурного поступка в плохом воспитании и плохом окружении. Но хотя мы и полагаем, что поступок определялся этими причинами, тем не менее мы упрекаем виновника не за влиявшие на него обстоятельства, мы рассматриваем совершенный проступок сам по себе и указываем на разум как на причину, которая могла и должна была определить поведение человека иначе. «Поступок приписывается интеллигибельному характеру человека; теперь в тот момент, когда он лжет, вина целиком лежит на нем; стало быть, несмотря на все эмпирические условия поступка, разум был совершенно свободен, и поступок должен считаться только следствием упущения со стороны разума».

Тут мы подошли не только к одной из вершин критической философии, но и к ее первоистокам. На закате дней своих, вспоминая историю возникновения «Критики чистого разума», Кант в одном из писем подчеркивал, что именно антиномии и, в частности, проблема свободы — «Есть свобода в человеке, и напротив: никакой свободы нет, все в нем природная

необходимость» — вот что пробудило его от догматического сна и подвигло на критику разума, дабы устранить «скандал противоречия разума с самим собой». За основным вопросом «Критики чистого разума» — как возможны синтетические суждения априори — эхом звучит другой, для Канта более важный — как возможна свобода человека. Свобода есть, но где она? В мире «явлений» мы ее не обнаружим, человек свободен только в мире «вещей самих по себе». Дуализм Канта — это своеобразная попытка оправдать двойственность поведения человека в антагонистическом обществе, где приходится приравниваться к обстоятельствам, а нравственное поведение требует героизма.

И, между прочим, проблема идеальности времени, столь шокирующая материалистически мыслящий ум, введена Кантом по тем же соображениям — чтобы «спасти свободу». Время — это порядок явлений в природе, над которым никто не властен, это генетическая связь состояний, свобода же требует проявления самовластья человека. Поэтому, если время присуще вещам самим по себе, свобода невозможна. Только потому, что в интеллигентном мире нет железного сцепления причин и следствий, нет времени, возможна причинность особого рода — «через свободу», которая только и делает человека моральным существом. В природе одни и те же причины с железной необходимостью вызывают одни и те же действия. Человек же может пересмотреть содеянное и, хотя условия не изменились, поступить иначе. Он может «отменить» время, изменить его ход. Из физической реальности в таком понимании время превращается в поэтическую метафору.

Теперь нам станет яснее, почему Блок написал свое стихотворение, посвященное Канту, под влиянием размышлений над трансцендентальной эстетикой, то есть над тем разделом «Критики чистого разума», где речь идет о пространстве и времени. Этот раздел Блок считал главным в учении Канта. «Есть как бы два времени, два пространства, — комментировал русский поэт немецкого философа, — одно — историческое, календарное, другое нечислимое, музыкальное». По Блоку, «музыкальность» означает способность чувствовать мировую гармонию, выйти за пределы исторической детерминации и цивилизации, отрешиться от них. Способным на это представляется ему Кант, каким он видит его в своем стихотворении.

«Что такое время? Время не существует; время есть цифры». Это уже из черновых рукописей «Преступления и наказания». Достоевский был знаком с «Критикой чистого разума». (Еще находясь в Сибири, он просил прислать ему французское издание этой книги.) Лежала ли она перед ним, когда он обдумывал роман о Родионе Раскольникове, преступившем нормы морали и права? Или историю князя Мышкина? Жизнеописание Алексея Федоровича Карамазова? Сказать трудно. Но тема «Кант и Достоевский» имеет право на существование.

Процитированная нами книга Голосовкера носит подзаголовок «Размышление читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума». На страницах романа имя философа и название его труда ни разу не упоминаются. И тем не менее обнаруживается богатейший материал для сопоставлений. «Достоевский, — утверждает Голосовкер, — не только был знаком с антитетикой «Критики чистого разума», но и продумал ее. Более того, отчасти сообразуясь с ней, он развивал свои доводы в драматических ситуациях романа. Более того, он сделал Канта, или, вернее, антитезис его антиномии, символом всего того, против чего он боролся (и в себе самом, и с противниками) как писатель, публицист, мыслитель». Речь идет о четвертой кантовской антиномии: есть «некая необходимая сущность» (так философ выражается о боге), ничего необходимого нет, в мире природы бога обнаружить нельзя. Только в мире свободы, вещей самих по себе Кант полагает его присутствие. Между Кантом и Достоевским, уверяет Голосовкер, возник «смертельный поединок — один из самых гениальных поединков, какие остались запечатленными в истории человеческой мысли». Сказано красиво, нужна, однако, существенная оговорка: поединок мнимый. Кант и Достоевский не антиподы, они стоят на одной почве, имя которой — свобода личности.

Антитезис четвертой антиномии, отрицающий бытие бога действительно, — смертельный враг Достоевского, ибо «если бога нет, то все дозволено», это «убийца-дублер», водивший рукой Смердякова. Но антитезис — враг и Канта. Шатания между тезисом и антитезисом сводят с ума Ивана Карамазова, они мучают автора романа «Братья Карамазовы», но они ведомы и автору «Критики чистого разума», об этом свидетельствуют черновики.

Единственно, что Кант усвоил твердо, — не следует путать веру и знание. Мир природы доступен познанию, мир свободы, простите, особая статья.

На Канта ополчались те, кому мало было веры, кто обязательно, ну хотя бы кое-что, хотел знать о боге, как он знает о своем монархе. Гейне сравнил Канта с Робеспьером: французский революционер посягнул на жизнь короля, Кенигсбергский старец отважился на нечто большее — поднял руку на бога. «Право, Максимилиану Робеспьеру оказывают слишком много чести, сравнивая его с Иммануилом Кантом. Правда, у Максимилиана Робеспьера, великого мещанина с улицы Сент-Оноре, бывали припадки бешеной мании разрушения, когда дело касалось королевской власти, и достаточно страшны были судороги его цареубийственной эпилепсии; но едва речь заходила о высшем существе, он вновь стирал белую пену с губ и кровь с рук и облачался в свой праздничный голубой сюртук с зеркальными пуговицами, да еще прикалывал букетик к широкому отвороту...

Но если Иммануил Кант, великий разрушитель в царстве мысли, далеко превзошел терроризм Максимилиана Робеспьера, то кое в чем он имел с ним черты сходства, побуждающие к сравнению. Прежде всего мы встречаем в обоих ту же неумолимую, резкую, лишённую поэзии трезвую честность. Затем у обоих встречаем мы тот же талант недоверия, с той только разницей, что один направляет его на мысль и называет критикой, между тем как другой направляет его на людей и называет республиканской добродетелью. Однако тип мещанина выражен в обоих в высшей степени: природа предназначила их к отвешиванию кофе и сахара, но судьба захотела, чтобы они взвешивали другие вещи, и одному бросала на весы короля, другому — бога...

И они взвесили точно!»

Легко представить, какое потрясение в умах вызвала «Критика чистого разума», если три десятилетия спустя после смерти философа такой радикальный человек, как Генрих Гейне, обрушил свой сарказм на Канта. Обвинения в мещанстве несправедливы, они только обнажают глубинную мещанскую природу их автора, которая помешала ему увидеть и великое созидание в «царстве мысли», осуществленное Кантом. Гейне признается: стоит ему услышать, что кто-то оспаривает бытие бога, как его охватывает странное беспокойство, тоскливая жуть, какие он испытал в доме умалишенных, когда его окружили сумасшедшие, а он потерял из виду провожатого. Перспектива остаться одному, без провожатых в этом безумном мире страшит Гейне. Но и вступить в единоборство с Кантом в защиту всевышнего ему не под силу. Он может лишь выражать свое недовольство и злорадствовать, когда великий ниспровергатель догм вдруг, как ему кажется, обнаруживает непоследовательность.

На открытый спор с Кантом мог отважиться только Гегель, посвятивший значительную часть своего лекционного курса «Доказательства бытия бога» ремонту тех разрушений в лютеранской теологии, которые учинил там кантовский критический разум. Кант вынес на суд разума все известные доказательства бытия бога и показал, что в их основе лежат логические ошибки.

Мы помним, что первую литературную известность Канту принес трактат «Единственно возможное основание для доказательства бытия бога». Молодой философ полагал, что таковым служит ход рассуждений, опирающийся на так называемое онтологическое доказательство. Суть последнего состоит в следующем: о боге мы думаем как о самом совершенном существе; если это существо не обладает признаком бытия, оно недостаточно совершенно, и мы впадаем в противоречие. Теперь Кант лишь посмеивается над подобными рассуждениями. Богословам он говорит: вы впали в противоречие уже тогда, когда ввели понятие существования в понятие вещи, которую вы собрались мыслить как возможную. В действительном предмете содержится не больше признаков, чем в возможном. Сто действительных талеров не больше ни на йоту, чем сто возможных. Разница только в том, что первые лежат у меня в кармане. Понятие не есть бытие.

Подобного рода ошибку Кант находит и в другом доказательстве — космологическом. Существование мира требует допущения причины мира, каковой является бог. По Канту, такое допущение сделать можно, только нельзя настаивать на том, что эта мысль соответствует реальному положению вещей. Ибо понятие еще не есть бытие.

Наконец, в третьем — физико-теологическом — доказательстве бытия бога речь идет о всеобщей целесообразности, которую мы обнаруживаем в природе. Не говорит ли она о мудрости творца? Возможно, отвечает Кант, только бог в этом случае выступает в роли не создателя мира, а лишь его зодчего, обрабатывающего готовый материал. Но главное в другом: здесь повторена предшествующая ошибка — произвольная мысль о причинной зависимости наделена реальностью.

Таким образом, резюмирует Кант, в основе физико-теологического доказательства лежит космологическое, а в основе космологического — онтологическое, и так как других, кроме этих трех, нет, то онтологическое доказательство есть единственно возможное. Профессор Кант повторил вывод, сделанный в магистерские годы? Увы, с существенной оговоркой: «Если только вообще возможно доказательство положения, столь превосходящего всякое эмпирическое применение рассудка».

Гегеля не смущали ни ирония, ни логика Канта. В доказательствах бытия бога, уверял он, нет никаких ошибок, если пользоваться диалектической логикой. Кант (его к этому времени давно уже не было в живых) мог бы возразить: диалектика — логика видимости. «Я утверждаю, — настаивал он, — что все попытки чисто спекулятивного применения разума в теологии совершенно бесплодны и по своему внутреннему характеру никчемны, а принципы его применения к природе вовсе не ведут ни к какой теологии; следовательно, если не положить в основу моральные законы или не руководствоваться ими, то вообще не может быть никакой рациональной теологии».

Обратите внимание: Кант ниспроверг господу бога в сфере природы и логики, но оставил все же за ним нечто вроде суверенного домена — мораль. Ему не нужен бог, чтобы объяснять явления природы, но когда речь заходит о поведении человека, то тут не то чтобы «без бога ни до порога», но все же идея высшего существа может быть весьма и весьма полезной.

Именно это и вызвало злорадные насмешки Гейне. «Вы думаете, все кончено, можно расходиться по домам? Ни в коем случае! Будет представлена еще одна пьеса. За трагедией следует фарс. До сих пор Иммануил Кант изображал неумолимого философа, он штурмовал небо, он перебил весь гарнизон, сам верховный владыка небес, не будучи доказан, плавает в своей крови; нет больше ни всеобъемлющего милосердия, ни отеческой любви, ни потустороннего воздаяния за посюстороннюю воздержанность, бессмертие души лежит при последнем издыхании — тут стоны, тут хрип — и старый Лампе в качестве удрученного свидетеля стоит рядом, с зонтиком под мышкой, и пот от ужаса, и слезы льются по его лицу. Тогда разжалобился Иммануил Кант и показывает, что он не только великий философ, но и добрый человек; и он задумывается, и полудобродушно, полуиронически говорит: «Старому Лампе нужен бог, иначе бедный человек не будет счастлив, — а человек должен быть счастлив на земле — так говорит практический разум — мне-то что — ну, пусть практический разум и даст поруку в бытии божьем». Под влиянием этого довода Кант различает теоретический разум и разум практический, и посредством последнего, словно волшебной палочкой, он воскресил вновь труп деизма, убитого теоретическим разумом».

Пассаж Гейне остроумен и более близок к оригиналу, чем обвинения Канта в мещанстве. Знать о боге, по Канту, ничего нельзя, в него остается только верить. Но что такое вера? Один из последних разделов «Критики чистого разума» называется «О мнении, знании и вере». Вера определена здесь как низшая ступень достоверности по сравнению со знанием (хотя она и выше простого мнения). Если истинность суждения обоснована только с субъективной стороны, а объективное ее обоснование недостаточно, то это вера. Знание представляет собой и субъективное, и объективное признание истинности суждения.

«Мне пришлось поднять знание, чтобы освободить место вере», — дерзко заявил мыслитель в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» — книги, предъявившей высокие требования к знанию. В подлиннике дерзость скрыта, звучит двусмысленно. И в этой двусмысленности весь Кант. Он употребил глагол *aufheben*, который буквально означает «поднять», но в первую очередь — «устранить», а также «арестовать», «сохранить». Кант устранил знание из областей, ему не принадлежащих, он высоко поднял его, посадил под арест, за решетку своей критики, и тем самым сохранил его в чистоте и силе ¹.

¹ Вся эта игра слов утрачена в русском переводе: «Я должен был уничтожить знание, чтобы дать место вере». Н. Соколов, которому принадлежит этот перевод, явно следовал за Гегелем, изображавшим Канта чуть ли не могильщиком знания (и вместе с тем широко использовавшим кантовскую игру слов). Н. Лосский, его перевод воспроизведен в советском издании, улучшил текст: «Мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере». Строго говоря, это не перевод, а интерпретация, не передающая к тому же всех переливов смысла.

Такова судьба знания. О вере, однако, сказано еще не все. По Канту, существует три вида веры. Прагматической он называет веру человека в свою правоту в том или ином единичном случае. Цена такой вере — один дукат. «Нередко человек высказывает свои положения с таким самоуверенным и непреклонным упорством, что кажется, будто у него нет никаких сомнений в истинности их. Но пари приводит его в замешательство. Иногда оказывается, что уверенности у него достаточно, чтобы оценить ее только в один дукат, но не в десять дукатов, так как рисковать одним дукатом он еще решается, но только при ставке в десять дукатов он видит то, что прежде не замечал, а именно, что он, вполне возможно, ошибается».

Веру в общие положения Кант называет доктринальной. Он готов держать пари на все свое имущество, что хотя бы на одной из видимых нами планет есть обитатели. Это пример доктринальной веры. Сюда же Кант относит и учение о бытии бога. Доктринальная вера содержит в себе все же нечто нетвердое: нередко затруднения, встречающиеся при размышлениях, отдаляют нас от нее, хотя мы постоянно к ней возвращаемся.

Совершенно иной характер носит моральная вера, где вопрос об истинности суждений даже и не встает. «Эту веру ничто не может поколебать, так как были бы ниспровергнуты сами мои нравственные принципы, от которых я не могу отказаться, не став в собственных глазах достойным презрения». Верить в бога здесь означает не размышлять о его бытии, а просто быть добрым.

Итак, выдвинув тезис: знание выше веры, Кант снабжает его антитезисом-оговоркой: это не относится к моральной вере, которую нельзя сопоставлять со знанием, которая реализуется в поведении.

«Критика чистого разума» завершается программой на будущее. Ни о каких новых «критиках» Кант не помышляет. Критическая работа завершена. Поле очищено от сорняков, вспахано и удобрено, пора подумать о плодоносных саженцах. Кант знает, какое дерево предстоит ему взрастить. Это будет изложение позитивных начал метафизики.

Термин «метафизика» впоследствии скомпрометирует Гегель, он обозначит им заскорузлое мышление, делающее ошибочные мировоззренческие выводы из принципов формальной логики; живое философствование Гегель назовет диалектикой. Для Канта дело обстоит наоборот: диалектика — это иллюзорная логика, метафизика — мировая мудрость. О метафизике Кант отзывается с величайшим пиететом. Это для него «завершение всей культуры человеческого разума»; те, кто разочаровался в метафизике, рано или поздно вернутся к ней, как к поссорившейся с ними возлюбленной. Чтобы дух человека когда-нибудь совершенно отказался от метафизических исследований — это так же невероятно, как и то, чтобы мы когда-нибудь совсем перестали дышать из опасения вдыхать нечистый воздух.

Вся беда в том, что в метафизике «можно нести всякий вздор, не опасаясь быть уличенным в лжи». Здесь нет тех средств проверки, которыми располагает естествознание. Поэтому до сих пор метафизика не была наукой. Но у нее есть все возможности таковой стать. По сравнению с другими науками есть у нее и одно неоспоримое преимущество: она может быть завершена и «приведена в неизменное состояние», так как в ней невозможны новые открытия, неизбежные в других науках; ибо источник познания здесь — не предметы внешнего мира, а сам разум, и после того, как разум полностью и ясно изложил основные законы своей способности, не остается ничего, что бы он мог бы еще здесь узнать.

Кант предрекает новое рождение метафизики «по совершенно неизвестному до сих пор плану». На последних страницах «Критики чистого разума» читатель находит план возрождения философии, который, увы, оригинальностью не отличается. По замыслу Канта, вся система метафизики должна состоять из четырех частей — онтологии, физиологии, космологии,

теологии. Онтология — учение об общих принципах бытия; физиология, в кантовском понимании, — учение о природе, которое распадается на физику и психологию; космология — наука о мире в целом; теология — о боге. Вольфианская метафизика была построена примерно по той же схеме. Кант фактически не ответил на вопрос, заданный в начале «Критики», — как возможна метафизика в качестве науки. Своей трансцендентальной диалектикой он разрушил все догматические построения в этой сфере, но дальше декларирования необходимости новой научной философии не пошел.

* * *

Выход в свет «Критики чистого разума» не вызвал сенсации. Кант, правда, на нее и не рассчитывал, но то, что произошло, превзошло худшие ожидания: книгу не заметили. Продавалась она так плохо, что Харткнох подумывал о том, не пустить ли остаток тиража на макулатуру. (Сегодня сохранившиеся экземпляры первого издания в антиквариатах Западной Германии идут по 7 тысяч марок.)

Читалась книга с трудом, не вызывая интереса. Никто Канта публично не бранил, никто ему не возражал, лишь изредка до него доходили жалобы на непонятность. Моисей Мендельсон, перелистав несколько страниц, отложил книгу в сторону. Гаман читал «Критику» вместе с автором, правившим корректуру, но радости при этом не испытывал. «Такая объемистая книга, — писал он Гердеру в мае 1781 года, — не соразмерна ни росту автора, ни понятию чистого разума, противостоящему моему, ленивому». Канта он называл «пруссским Юмом». Мнение Гердера: «Критика» Канта для меня — жесткий ломоть, она, по-видимому, останется непрочитанной... Не знаю, зачем вся эта тяжелая паутина».

Сразу же после появления книги Кант разослал дарственные экземпляры своим друзьям и знаменитостям. В первую очередь министру Цедлицу, Марку Герцу, Мендельсону. В августе 1781 года философ вспомнил о придворном проповеднике Иоганне Шульце, который в свое время опубликовал рецензию на последнюю диссертацию Канта и заслужил его похвалу («самая лучшая философская голова из тех, что есть в нашей округе»). Ему был послан экземпляр; ответ пришлось ждать два года.

В письмах, которые приходили, говорилось о чем угодно, только не о «Критике». Философ Штейнбарт, пересылая свою «последнюю вещичку», уверял в братских чувствах, но было неясно, видел ли он в глаза последнюю кантовскую работу. Издатель Харткнох напоминал, что ждет от Канта новых произведений; предлагая пользоваться книгами, имеющимися в его распоряжении, сообщал, что в знак дружбы пересылает философу фунт чая. Негоциант Беренс просил Канта вмешаться в судьбу отбившегося от рук сына и наставить его на путь истины. Математик Бернулли интересовался перепиской Канта с покойным Ламбертом; философ сообщил о выходе своей книги, о главных ее идеях, однако Бернулли интересовался только Ламбертом.

Из Петербурга писали о загадочной эпидемии, которая пришла в европейскую Россию из Сибири. Это был ответ на письмо Канта, стремившегося узнать происхождение болезни, охватившей к весне 1782 года и Восточную Пруссию. Смертельные случаи были не так уж часты, но в течение нескольких дней люди чувствовали сильное недомогание. Появлялся жар, головокружение, мучил кашель и насморк. Болели главным образом те, кто часто выходил на улицу, встречался с другими. Лечили потогонными средствами, иногда кровопусканиями; против кашля давали шпанские мушки. Называлась диковинная болезнь — инфлюэнца. Кант вспомнил, что семь лет назад эпидемия инфлюэнцы вспыхнула в Лондоне. В местной газете он опубликовал по этому поводу заметку «К сведению врачей», к которой приложил перевод статьи английского врача о лондонской эпидемии 1775 года. Сам Кант не заболел: его выручила выработанная им система гигиенических правил. Канта интересовали масштабы эпидемии; размышляя о всевозрастающем благодаря торговле общении народов, он предрекал появление в Европе новых эпидемических заболеваний...

Первый личный отклик на «Критику» (судя по сохранившейся корреспонденции) принадлежал брату Канта. Переписывались они редко. После окончания университета Иоганн Генрих обосновался в Курляндии. Женился по любви. «Я счастливее тебя, мой брат. Бери с меня

пример», — писал он в 1775 году. Теперь (сентябрь 1782 года) Иоганн Генрих сообщал, что некоторое время назад занял пасторскую должность где-то между Митавой и Ригой, благодарил Иммануила за присылку ценной книги — пособия по домоводству. С хозяйством много возни, поэтому книга кстати. Земля здесь плодородная, есть великолепный сад, дети подрастают, жаловаться не на что. Только вот окружение серое, в приходе нет совсем дворян. Иоганн Генрих интересовался жизнью родственников — сестер, дяди и тети, спрашивал о делах брата. Письмо кончалось следующим пассажем: «О твоей «Критике очищенного разума» говорят все здешние мыслители. Надо полагать, ты на этом не успокоишься. Не может ли твой брат претендовать на то, чтобы знакомиться с твоими работами прежде, чем остальная публика». Далее следовала приписка от невестки, которая была в восторге от книги по домоводству и от души благодарила «господина брата».

К тому времени, правда, уже появились в печати две анонимные рецензии. Первая была напечатана в январе в «Геттингенском научном вестнике». Рецензент приписывал Канту то, чего в книге не содержалось, и умалчивал о том, что следовало бы отметить в первую очередь. Своих мыслей Кант не узнавал. Основная идея «Критики чистого разума» будто бы сводится к следующему: «Все наши знания возникают из определенных модификаций нас самих, каковые мы называем ощущениями. Где они находятся, откуда взялись, это нам абсолютно неизвестно». Рецензия упрекала Канта в берклеанстве.

Автором рецензии был Христиан Гарве, представитель «популярной философии», известный переводчик с английского и греческого, рано отказавшийся из-за плохого здоровья от университетской карьеры. К моменту выхода «Критики» он оказался проездом в Геттингене и связал себя обещанием дать разбор книги еще до того, как увидел ее. А прочитав, понял, что она ему не по зубам. Но отступить было поздно. В муках родилась рецензия, попавшая затем в руки сотрудника редакции профессора Федера, который без ведома Гарве сократил ее и кое-что добавил от себя; ему, в частности, принадлежало сравнение Канта с Беркли. Гарве отрекся от опубликованного текста. В ответ на публичный призыв Канта, обращенный к геттингенскому рецензенту, раскрыть свое инкогнито Гарве отправил в Кенигсберг взволнованное письмо, в котором поведал об обстоятельствах дела, ругая себя за то, что взялся за непосильный труд, раскаивался в содеянном, но главную вину возлагал на сотрудника редакции, который будто бы оставил от написанного лишь десятую часть. (Это не соответствовало действительности: впоследствии рецензия Гарве в ее первоначальном виде была напечатана во «Всеобщей немецкой библиотеке», и Кант мог убедиться в том, что она мало чем отличается от геттингенского варианта, Кант был ею также недоволен и говорил, что его принимают за слабоумного.) На покаянное письмо Кант ответил любезно и обстоятельно, предлагал поддерживать знакомство, успокаивал незадачливого рецензента, говорил, что единственная его забота — спокойное обсуждение проблемы. Озлобленный ученый спор для него непереносим, но, к сожалению, иного ждуть не приходится. «Слабые люди, вы только прикидываетесь, что вас заботит истина и расширение знания, на самом деле вас занимает только тщеславие!»

Была еще одна рецензия, увидевшая свет в Готе в августе 1782 года. Ее автор, некто Эвальд, явная посредственность, вообще не смог дать какую-либо оценку про читанному. К счастью, он ограничился лишь пересказом введения и первых разделов книги.

Все это действовало удручающе. Тем более что Кант вовсе не считал великие умы обреченными на непонимание. Наоборот, он твердо верил в то, что самые сложные произведения можно и нужно сделать общедоступными, здесь, по его мнению, даже заключен своего рода критерий философской истины: проверка на популярность. В письме к Гарве именно так он и выразился: «Каждое философское сочинение надо уметь изложить доступно, иначе под покровом мнимого глубокомыслия может таиться бессмыслица. Однако с популярного изложения нельзя начинать далеко идущие изыскания».

Теперь, когда главное было позади, Кант мог позаботиться и о том, чтобы его правильно поняли. Еще в дни типографской работы над «Критикой» он высказал (в письме к М. Герцу) намерение общедоступно изложить содержание своего главного труда. После холодного приема, оказанного книге, философ укрепился в своем замысле. Но работа затягивалась: одновременно Кант приступил к сочинению по метафизике нравов. Кроме того, он ждал рецензий. Они появились, и Кант больше не откладывал завершения компендиума «Критики

чистого разума». Под названием «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться в качестве науки» весной 1783 года книга вышла из печати.

«Пролегомены» означает «предварительные замечания». Переложение «Критики» было значительно короче основного труда, но отнюдь не популярнее. «Эти пролегомены предназначены не для учеников, а для будущих учителей», — отмечал автор в предисловии. Акцент был перенесен на проблему метафизики. Понаслышавшись упреков в том, что он намерен устранить философию, Кант не уставал подчеркивать свою приверженность к мировой мудрости, рисуя перед ней радужные перспективы, если она примет его основоположения. (Но как она должна превратиться в науку, оставалось по-прежнему неясным!) В заключение Кант упоминал о появившихся рецензиях. Именно здесь он призвал гёттингенца вступить с ним в публичный спор. Что касается обвинений в субъективном идеализме, то Кант, сопоставив свои положения с Беркли, настаивал на том, что он высказывает взгляды, прямо противоположные «настоящему идеализму».

Обвинения в берклеанстве продолжали беспокоить Канта. Вот почему, подготавливая второе издание «Критики чистого разума», философ добавил в книгу раздел «Опровержение идеализма», а в предисловии назвал «скандалом для философии» необходимость доказывать реальное существование вещей вне нас. Видимо, по этим же соображениям он значительно сократил материал относительно порождающей роли продуктивной способности воображения. Здесь купюры столь значительны, что заставляют современного исследователя, желающего получить полную картину, обращаться к тексту первого издания. Тексты последующих трех прижизненных изданий изменению не подвергались.

Второе издание вышло в 1787 году. К этому времени лед тронулся: критическая философия постепенно прокладывала себе дорогу к читательской аудитории. Неожиданно сама собой решилась и волновавшая автора проблема популяризации. Объявился тот самый Иоганн Шульц, которому еще в августе 1781 года был презентован экземпляр «Критики». Два года ушло у него на изучение книги. (Мендельсону и этого срока оказалось мало; через два года он писал Канту: «Ваша «Критика чистого разума» стала для меня критерием здоровья. Как только я могу похвалиться себе, что мои силы окрепли, я отваживаюсь приняться за Ваше произведение, пожирающее нервные соки, и я еще не потерял надежды, что до конца дней своих я смогу его полностью осмыслить».) Основательно проштудировав труд Канта, Шульц написал обстоятельную рецензию. Перед опубликованием он послал ее Канту, полагая, что автор — «лучший знаток собственных слов», а публика заинтересована прежде всего в адекватной передаче смысла рецензируемой книги.

Кант был обрадован. Не тому, что с ним согласовывали текст рецензии, но что нашелся наконец человек, правильно его понявший. Он рекомендовал Шульцу, сделав ряд добавлений, выпустить работу отдельным изданием. Шульц совету последовал. Он считал себя вправе выступить с популяризацией учения Канта, ибо «Пролегомены» этой задачи не решились; сами по себе, без «Критики чистого разума» они просто непонятны. Рецензия превратилась в книгу. «Разъясняющее изложение «Критики чистого разума» Шульца представляет собой добросовестный комментарий к теории познания Канта.

11 февраля 1784 года «Готская научная газета» в разделе новостей сообщила, что Кенигсбергский придворный проповедник Шульц работает над популярным изложением «Критики чистого разума». Далее был напечатан следующий текст: «Излюбленная идея господина профессора Канта заключается в том, что конечная цель человеческого рода — достижение совершеннейшего государственного устройства, и он желает, чтобы какой-нибудь философски мыслящий историк предпринял попытку создать в этом плане историю человечества и показать, насколько человечество в различные периоды приближалось к этой конечной цели или удалялось от нее и что следует делать для ее достижения». Заметка появилась неспроста. Она говорила о новых интересах Канта, о новых замыслах.

Глава четвертая

ИДЕЯ ЛИЧНОСТИ

Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне.

Кант

Весной 1784 года Кант отметил свое шестидесятилетие. Юбилей застал его в расцвете духовных сил. Он не мог, правда, этого сказать о силах физических. Хотя до дряхлости было далеко. Наступил наиболее продуктивный период жизни. Уже прожито было три четверти отпущенных лет, но не написана и половина произведений. Теперь они появляются одно за другим — книги, статьи, рецензии. Кант расширяет рамки критической философии; принципы, найденные в теории познания, применяет в сопредельных сферах. Обретенная истина подвергается многократной проверке, выдержав которую получает дополнительное обоснование, а не выдержав, заменяется новой, подвергающейся, в свою очередь, проверке, уточнению и совершенствованию. Лучшее наслаждение жизнью — работа, скажет семидесятипятилетний Кант. В шестьдесят лет он не помышляет о другом.

Публичное чествование состоялось раньше срока — 4 марта, в день окончания семестра. Студенты поднесли профессору памятную медаль. На ее лицевой стороне — портрет юбиляра, на оборотной — аллегорическое изображение: наклонная Пизанская башня со спущенным вниз лотом, а у ее подножия — сфинкс. Идея принадлежала Мендельсону. Мы знаем, с каким трудом он осваивал «Критику чистого разума». Образ башни, воздвигнутой философом, был заимствован из «Пролегоменов». Мендельсону кантовская философия представлялась постройкой, готовой рухнуть, он предложил поэтому следующую надпись: «Угрожает, хотя не падает». Но намек был слишком прозрачен, пришлось выбрать другой текст: «Истину укрепляет исследование ее основ». Теперь лишь фигура сфинкса могла напомнить о необычности кантовских идей. Год рождения философа был указан ошибочно — 1723. (Ему часто прибавляли один год, по-видимому, из-за его привычки называть не количество уже исполнившихся лет, а тот год, в который он вступил.) Вкралась ошибка и в написание имени. К тому же между портретом и оригиналом сходство было приблизительным. Медаль юбиляру не понравилась. Особенно двусмысленная аллегория на оборотной стороне.

В «Пролегоменах» действительно говорилось о том, что человеческий разум периодически строит башни, а затем разбирает их, чтобы обозреть устройство фундамента. Но к самому себе Кант это не относил: он начал с фундамента и, только убедившись в его прочности, стал строить дальше — ввысь и вширь.

О последнем (о стремлении расширить размеры постройки) свидетельствовали, в частности, упомянутые уже размышления над философией истории. Это была «новая наука», как назвал свой труд итальянец Вико, который одним из первых вознамерился осмыслить развитие человеческого общества. Если теория познания имела тысячелетнюю давность, то теория исторического процесса возникла на глазах Канта.

Плодотворные импульсы приходили из-за рубежа. Еще в 1750 году в Сорбонне будущий министр Людовика XVI Тюрго произнес знаменитую речь об успехах человеческого разума. Интерес, честолюбие и тщеславие, говорил он, обуславливают непрерывную смену событий на мировой сцене и обильно орошают землю человеческой кровью. Но в процессе вызванных ими опустошительных переворотов нравы смягчаются, человеческий разум просвещается, изолированные нации сближаются, торговля и политика соединяют наконец все части земного шара. И вся масса человеческого рода, переживая попеременно спокойствие и волнение, счастливые времена и годы бедствия, неизменно шествует, хотя и медленными шагами, ко все большему совершенству.

Мысль, сформулированную Тюрго, разделяли в то время многие. Вольтер уже работал над «Опытом о нравах и духе народов», в основе которого лежала идея прогресса знаний и

просвещения. В Германии вышла книга Исаака Изелина «Об истории человечества», в которой была нарисована трехступенчатая схема деления всемирной истории. Первая ступень — верховенство чувств, состояние первобытной «простоты», детства человечества; на этой ступени остановились восточные народы. Греки и римляне достигли второй ступени, когда сильнее чувств оказалась фантазия; добродетель и просвещенная мудрость смягчили нравы, хотя и не преодолели еще полностью варварства. Лишь после тысячелетнего царства тьмы (таким рисовалось Изелину средневековье) европейские народы достигли цивилизации, когда разум берет верх над чувствами и фантазией. Таким образом, история человечества есть постепенное и постоянное движение разума и морали ко все большему совершенству.

И еще два труда и два имени следует назвать, чтобы картина, на фоне которой выступили Кант и его ученик Гердер, была полной. «Воспитание человеческого рода» (1780) Лессинга и «Опыт истории культуры человеческого рода» (1782) Аделунга. В первом идея развития была приложена к истории религиозных верований, христианство рассматривалось всего лишь как ступенька в нравственной эволюции человечества, стремящегося к идеалу гуманности. Во втором внимание автора привлекали проблемы истории культуры, определяющий фактор которой Аделунг видел в росте народонаселения.

Первая часть «Идей философии истории человечества» Гердера вышла в мае 1784 года, статья Канта «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» — в ноябре того же года. Написана статья была, видимо, весной; процитированная выше заметка в «Готской научной газете» как бы предвещала о ее появлении: в начале статьи Кант напоминал о заметке и отмечал, что должен уточнить свои взгляды на историю, изложенные в беседе с посетившим его ученым и попавшие в печать. «Идея...» Канта возникла независимо от «Идей...» Гердера.

Это необходимо уточнить, так как ученик обвинил (правда, не публично) своего учителя в плагиате. Мы расскажем далее, как дело дошло до открытого конфликта, но сначала познакомим читателя с содержанием статьи, лапидарно (почти в тезисной форме) изложившей основы кантовской философии истории. Статья, напечатанная в «Берлинском ежемесячнике», автору удалась. При жизни философа она выдержала ряд изданий. Знакомство Фридриха Шиллера с кантовской философией, ярым адептом которой он вскоре стал, началось именно с этой статьи.

Статья «Идея всеобщей истории» открывается констатацией обстоятельства, которое в XVIII веке стало более или менее общим достоянием, — действия законов в жизни общества. Казалось бы, что может быть случайнее в судьбе человека, чем вступление в брак. Между тем ежегодные данные показывают, что этот процесс в больших странах подчинен постоянным законам, как и изменчивые колебания погоды, которые в единичных случаях нельзя заранее определить, но которые в общем непрерывно и равномерно поддерживают и произрастание злаков, и течение рек, и другие устройства природы. Отдельные люди и даже целые народы не думают о том, что, преследуя собственные цели — каждый по своему усмотрению, нередко неразумно и в ущерб другим, — они незаметно для самих себя идут к неведомой им цели природы как за путеводной нитью и содействуют достижению этой цели. Подобную мысль о несовпадении личных целей и общественных результатов человеческой деятельности высказывал уже Вико. Затем ее повторит Гердер, а Гегель назовет «хитростью разума».

Предполагать у отдельного человека наличие разумной цели, по Канту, не приходится; скорее глупость, ребяческое тщеславие, злоба и страсть к разрушению выступают как мотивы поведения; но если отвлечься от них, то в общем ходе истории можно увидеть некую общую для всего человечества разумную цель. В этом смысле природные задатки человека, направленные на применение его разума, развиваются полностью не в индивидуе, а в роде. Индивид смертен, род бессмертен. Нужен необозримый ряд поколений, которые последовательно передавали бы друг другу просвещение, дабы довести задатки, содержащиеся в нашем роде, до полного их развития.

Какими средствами пользуется природа, чтобы развить заложенные в людях задатки? Причиной законосообразного порядка в человечестве служит... антагонизм между людьми, их «необщительное общение», склонность вступать в общество, оказывая одновременно этому обществу сопротивление, которое угрожает распадом. Побуждаемый корыстолюбием,

честолюбием или властолюбием. человек создает себе определенное положение среди своих близких, которых он, правда, не может терпеть, но без которых он не может обойтись. Здесь начинаются первые шаги от варварства к культуре. В условиях жизни аркадских пастухов, в обстановке единодушия, умеренности и взаимной любви людские таланты не могли бы себя проявить, и люди, столь же кроткие, как их овцы, вряд ли сделали бы свое существование более достойным, чем существование домашних животных. Поэтому да будет благословенна природа за неуживчивость, за завистливо соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и господствовать. Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что хорошо для его рода, и ведет его по пути раздора!

Куда ведет этот путь? Кант оптимист, он убежден, что в конечном итоге к достижению всеобщего правового гражданского общества, членам которого предоставлена величайшая свобода, совместимая, однако, с полной свободой других. Антагонизм в этом обществе будет существовать, но его ограничат законы. Только в таких условиях возможно наиболее полное развитие потенций, заложенных в человеческой природе.

Достичь всеобщего правового состояния — самая трудная задача и позднее других решается человеческим родом. Дело в том, что человек есть животное, нуждающееся в повелителе; как разумное существо, он стремится создать закон, определяющий границы произвола для всех, но своекорыстная животная склонность побуждает его делать для самого себя исключение. Каждый облеченный властью всегда будет злоупотреблять своей свободой, когда над ним нет никого, кто распорядился бы им в соответствии с законом. Вот в чем трудность стоящей перед человечеством задачи. Полностью решить ее невозможно, но приблизиться к решению — веление природы. Три условия в их сочетании необходимы для этого: правильное понятие о государственном устройстве, в течение веков приобретенный опыт, добрая воля. Кант не строит иллюзий относительно того, когда это станет возможным. Не скоро. Очень не скоро, после многих тщетных попыток.

Проблема создания совершенного гражданского устройства внутри государства зависит еще от одного обстоятельства — установления законосообразных внешних отношений между государствами. И здесь происходит то же, что с отдельными людьми, объединяющимися в государство, дабы воспрепятствовать взаимному истреблению. «Природа, таким образом, опять использовала неуживчивость людей, даже больших обществ и государственных организмов, как средство для того, чтобы в неизбежном антагонизме между ними найти состояние покоя и безопасности; другими словами, она посредством войн и требующей чрезвычайного напряжения, никогда не ослабевающей подготовки к ним, посредством бедствий, которые из-за этого должны даже в мирное время ощущаться внутри каждого государства, побуждает сначала к несовершенным попыткам, но в конце концов после многих опустошений, разрушений и даже полного внутреннего истощения сил к тому, что разум мог бы подсказать им без столь печального опыта, именно выйти из не знающего законов варварского состояния и вступить в союз народов, где каждое, даже самое маленькое, государство могло бы ожидать своей безопасности и прав не от своих собственных сил, а исключительно от великого союза народов».

Кант жил проблемами всемирной истории, когда из Иены пришло письмо с заманчивым предложением. Известный филолог профессор Шютц рассыпался в похвалах «Критике чистого разума», которая дает «каждодневное пропитание духу», высказывал некоторые свои соображения по поводу книги, а затем сообщал, что с будущего года он намерен издавать «Всеобщую литературную газету», всецело посвященную рецензированию выходящей литературы. Сотрудничество Канта подняло бы репутацию нового органа. Не взял ли бы он на себя труд для начала разобрать книгу Гердера «Идеи философии истории человечества». Кант ответил согласием.

Мы расстались с Гердером в Бюкебурге, где он занимал духовный пост и участвовал в литературном движении «бурных гениев». В 1776 году его пригласили в Веймар возглавить тамошнюю протестантскую церковь. При дворе либерального веймарского герцога Карла-Августа царил дух свободомыслия. Гердер увлекается философией Спинозы и вместе с Гёте занимается биологией. В 1784 году Гёте удалось совершить важное открытие: он обнаружил у человека межчелюстную кость, отсутствие которой рассматривалось как аргумент в пользу

принципиального отличия людей от животных; открытие не было опубликовано, Кант о нем не знал, но Гердеру оно было известно. Вот почему у нас есть все основания отнести серьезно к тем мыслям о развитии природы, которые высказывал Гердер на страницах своего основного философского труда «Идеи философии истории человечества».

Анализу развития человеческого рода Гердер предпосылает историю нашей планеты. Характеризуя происхождение Земли и ее место в системе мироздания, он ссылается на труд своего учителя Канта «Всеобщая естественная история и теория неба». Далее речь идет о геологической истории Земли, ее флоре и фауне. Намеками, в очень туманной форме Гердер говорит о естественном возникновении жизни, которая, по его мнению, появилась в воде. Столь же туманно Гердер рассуждает о непрерывном развитии животных форм. Естественнаучные догадки в «Идеях...» перемежаются с рассуждениями о переселении душ и их бессмертии. Цель развития беспредельна, Гердер задумывается над тем, во что выльется совершенствование человека. На Земле люди — предел развития, дальнейший прогресс жизни воображение Гердера переносит в мир неземной, потусторонний. На этом кончалась первая часть, попавшая в руки Канта. Собственно, об истории человечества речи в книге не было.

Именно на это и обратил внимание рецензент. Ничего, кроме легкомысленной дерзости, в построениях Гердера Кант не увидел. Ученик рассуждал о вещах, перед которыми учитель еще в молодости остановился в полной нерешительности: во «Всеобщей истории и теории неба» Кант отверг возможность применить принцип развития к органической материи. Неблагоприятное впечатление на Канта произвела и манера, в которой написана книга Гердера, — эмоциональная, порой выпренная, лишенная четкости и доказательности. Вместо логической точности в определении понятий читатель находит лишь туманные многозначительные намеки. Кант собрал букет выразительных цитат, из которых явствовало, что Гердер рассуждает о вещах, о которых пока можно только фантазировать. Кант не приписывал Гердеру больше того, что непосредственно стояло в тексте. Идеи органической эволюции казались ему «столь чудовищны, что разум отшатывается от них». (Здесь Канта не следует судить строго. Напомним, что даже Гегель, чья философия целиком была пронизана идеей развития, не решался применить эту идею к миру природы.)

Кант иронизировал по поводу стремления Гердера опереться на эволюционное учение для обоснования идеи бессмертия души. Ежели даже возможны существа, которые находятся на более высокой ступени по отношению к человеку, то отсюда не следует вывод, что один и тот же индивид достигнет этой более высокой ступени. Гусеница превращается в бабочку, но между ними лежит не смерть, а состояние куколки. В заключение рецензии Кант высказывал пожелание, чтобы его ученик «обуздал свой пылкий гений и чтобы философия, забота которой состоит более в сокращении числа спесивых любимцев, чем в умножении их, могла направлять автора в дальнейших его трудах не намеками, а определенными понятиями, не воображением, окрыленным метафизикой или чувствами, а широким в замыслах, но осмотрительным в применении разумом».

Рецензия появилась в одном из первых номеров «Всеобщей литературной газеты», подписи под ней не было, но Гердер «по почерку» сразу узнал своего учителя. Ими Канта стояло среди участников нового журнала, и анонимность рецензии была секретом полишинеля.

Гердер поражен, возмущен и полон желания нанести ответный удар. В письме к Гаману он замахивается на «Критику чистого разума»: «Я получу искреннее удовольствие, когда сокрушу и опустошу идол разума». Но это планы на далекое будущее. В письме к Якоби он излагал впечатление от статьи Канта «Идея всеобщей истории в всемирно-гражданском плане». Употребив по адресу Канта нецензурное слово, глава протестантской церкви Веймара просил у Якоби поддержки: «Мне бы хотелось, чтобы небо воодушевило тебя написать несколько фраз о бессмысленностях «Идеи» (все остальное и весь замысел украден из «Идей...»), например: человек — это животное, нуждающееся в господине, человек существует не для себя, а для рода, в роде развивает он все свои силы, и все в конце концов направлено к политическому антагонизму и совершеннейшей монархии, вернее, сосуществованию совершеннейших монархий, которыми управляет чистый разум».

Ослепленный раздражением, Гердер в своих упреках был столь же не прав, как и Кант в своей рецензии. Каждый из них не только не хотел замечать ничего позитивного у другого, но,

излагая мысли противника, намеренно упрощал и искажал их. Кант аналогичную ситуацию перенес с достоинством: геттингенская рецензия не омрачила его личных отношений с Гарве, свою задачу как автора «Критики чистого разума» он видел лишь в том, чтобы довести до понимания читателя высказанные в ней мысли, помочь ему понять себя; от рецензента он требовал только аргументов. Пылкому Гердеру нужно было любой ценой дискредитировать оппонента. Пастор кипел от негодования. Полемика с Кантом быстро превратилась в препирательство, хотя последний по возможности старался удержаться на уровне иронии.

Рецензия Канта появилась в то время, когда Гердер дописывал вторую часть «Идей...». Наспех он вставил в нее несколько выпадов против критической философии. Но прежде чем книга увидела свет, Канту пришлось прочитать резкую отповедь в журнале «Немецкий Меркурий». Рецензией Канта были недовольны многие (и это еще более распяло Гердера). Философ и поэт Кнебель в письме к пострадавшему называл Канта «болваном, профессором, который меряет мудрость на свой аршин», и высказывал опасение, как бы «этот ученый осел» не задержал хотя бы на шаг поступь Гердера. Был недоволен и писатель Виланд, издававший «Немецкий Меркурий». В его журнале и появился ответ Канту, написанный якобы неким «Пастором из ***».

Антирецензент упрекал рецензента в «метафизической рутине», которая мешает ему увидеть в «Идеях...» живую мысль, исследующую новые данные. В его пространной заметке содержалось немало и других упреков и резких слов; самое пикантное состояло в том, что под маской пастора скрывался зять Виланда, начинающий философ К.-Л. Рейнгольд, еще не прочитавший тогда основной работы Канта. (Ознакомившись впоследствии с «Критикой чистого разума», он стал горячим сторонником и активным ее популяризатором.)

Кант не выдержал и высказал в печати свое мнение об «антирецензии». Его оппонент, пишет он во «Всеобщей литературной газете», измыслил себе некоего «метафизика», не признающего эмпирического знания и заостренного в бесплодных абстракциях, на самом деле рецензия опирается именно на фактические данные, собранные антропологией и другими науками. Канта особенно задело замечание мнимого пастора о том, что «разум не должен отшатываться» ни перед какой смелой идеей; в реплике Кант снова настаивает на том, что за мыслями Гердера не стоит научная истина.

Сам автор не счел нужным оправдываться перед рецензентом. Его ответ представлял собой не оборону, а нападение. Гердер ни разу не называет имени Канта, но оно то и дело мелькает между строк во второй части его «Идей...». Так, он возражает против лежащей в основе статьи Канта «Идея всеобщей истории» мысли о раздоре как изначальном состоянии общества. И наконец, цитирует (с искажением) эту статью: «Вот легкий, но дурной принцип для философии человеческой истории: «Человек — животное, нуждающееся в повелителе и счастья своего конечного предназначения ожидающее от своего повелителя». Все, что касается «счастья», у Канта отсутствует; последний хотел лишь сказать, что люди злоупотребляют своей свободой, и поэтому они нуждаются в «повелителе», в качестве которого выступает человеческий род в целом и институт государства. Гневные филиппики Гердера против государства также целят в Канта, который видел неизбежность этого института и лишь мечтал о его совершенствовании. Для Гердера государство — это машина, которую со временем надо будет сломать. И он переиначивает афоризм Канта: «Человек, который нуждается в повелителе, — животное; поскольку он человек — ему не нужен никакой повелитель».

И еще одна стрела была пущена в Канта: обвинение (также необоснованное) в том, что критическая философия пренебрегает человеческим индивидом, главное-де для нее род как некая самодовлеющая сущность. «Если кто-нибудь скажет, что воспитывается не отдельный человек, а род, то это будет непонятно мне потому, что род, вид — это только всеобщие понятия, и нужно, чтобы они воплощены были в конкретных индивидах. Какую бы совершенную степень гуманности, культуры и просвещенности ни отнес бы я к общему понятию, я ничего не сказал бы о подлинной истории человеческого рода, как ничего не скажу, говоря вообще о животности, каменности, железности и наделяя целое самыми великолепными, но противоречащими друг другу в отдельных индивидах свойствами».

Когда вышла в свет вторая часть «Идей...», Кант получил книгу из рук Гамана и внимательно проштудировал ее («продержал вопреки обыкновению больше недели», — доносил

Гаман Гердеру). Во «Всеобщей литературной газете» появилась новая рецензия. На этот раз она начиналась в благожелательных тонах: Кант похвалил умный подбор этнографических источников, мастерское их изложение, сопровождаемое меткими замечаниями. Но тут же стал иронизировать по поводу излишней метафоричности изложения, при которой «синонимы заменяют доказательства, а аллегии истину». Привел примеры того, как Гердер противоречит сам себе.

От Канта не укрылись содержащиеся в книге и направленные против него выпады. Гердер выдвигает на первый план счастье индивида, противопоставляя его государству. Можно быть счастливым по-разному, отвечает Кант. Не призрачная картина счастья, которую каждый рисует по-своему, а «непрерывно растущая деятельность и культура, показателями которой служит упорядоченная в соответствии с правовыми понятиями государственная конституция», — вот подлинная цель провидения и Просвещения. Если идеал — блаженные острова Таити, где столетиями люди жили, не вступая в контакт с миром цивилизации, то спрашивается, есть ли здесь вообще необходимость в людях, не могут ли их заменить счастливые овцы и бараны. Гердер назвал принцип Канта «легким, но дурным». Он действительно легко усваивается, так как его подтверждает опыт всех времен и народов. Но почему он дурной? Может быть, правильнее было выразиться, что произнес его дурной человек?

Насмешка звучит и в кантовских замечаниях по поводу того, что Гердер не признает никаких атрибутов вида, отличающихся от признаков индивида. Конечно, если сказать, что ни у одной из лошадей нет рогов, а в целом лошадиный род наделен рогами, то это будет бессмыслица. Но человеческий род как целое обладает некими характеристиками, которых нет у отдельного индивида. Только род в целом осуществляет свое «предназначение», то есть пребывает в состоянии развития и способен достигнуть его вершины.

На этом Кант закончил полемику. От рецензирования третьей части гердеровских «Идей...» он наотрез отказался. Отзвуки полемики, правда, можно обнаружить в некоторых более поздних работах, например, в статье «Предполагаемое начало человеческой истории» (1786), где он весьма осторожно иронизирует над милым пасторскому сердцу Гердера Ветхим заветом. Но это только отзвуки. В целом Кант считал для себя спор исчерпанным.

Для Гердера он только начинался. Уязвленный до глубины души, Гердер, не завершив своего основного труда, потратил бездну времени и сил на тщетные попытки ниспровергнуть критическую философию. «Критике чистого разума» он противопоставил «Метакритику критики чистого разума», «Критике способности суждения» — «Каллигону», трактату «К вечному миру» — свое собственное произведение под тем же названием. Кант не замечал выпадов.

Первое время его внимание привлекла другая полемика, охватившая в то время всю образованную Германию. Это был знаменитый «Спор о пантеизме». Начался он с сенсационного разоблачения. Четыре года спустя после смерти Лессинга, скончавшегося незадолго до выхода в свет «Критики чистого разума», стало известно, что великий критик исповедовал спинозизм. Об этом поведал миру философ Фридрих Якоби. Узнав, что Мендельсон намеревается написать статью о Лессинге, он сообщил ему содержание одной из своих бесед с покойным. Разговор начался с обсуждения гётевского стихотворения «Прометей», о котором Лессинг сказал, что он полностью согласен с его автором; ортодоксальные понятия о божестве для него более не существуют, бог и мир тождественны. Удивленный Якоби, не ожидавший такого признания, смущенно спросил: «Тогда вы должны быть в значительной степени согласны со Спинозой?» На это Лессинг ответил: «Вели я должен кого-нибудь назвать, то я не знаю никого другого... Знаете ли вы что-нибудь лучшее?» Спинозизм в то время в Германии был синонимом атеизма. В памяти людей были свежи сожжения книг и преследования тех, кто придерживался образа мыслей голландского пантеиста.

Мендельсон не поверил рассказу Якоби, между ними завязалась переписка, опубликованная последним в 1785 году после того, как Мендельсон выпустил свою книгу о Спинозе и Лессинге («Утренние часы»). Мендельсон ответил новой книгой «К друзьям Лессинга», за которой последовала книга Якоби «Против обвинений Мендельсона».

Якоби нападал на Спинозизм, который был для него самым последовательным выражением рационалистической философии, не совместимой, по его мнению, ни с верой, ни с подлинным знанием. Разумом он называл способность непосредственного усмотрения божественной сущности. Мендельсон также не разделял взглядов Спинозы; полемизируя с Якоби, он защищал не пантеизм, а вольфианский рационализм. Главной заботой для него было отвести обвинение в одиозном безбожии от покойного Лессинга.

Оба искали поддержки у Канта. Якоби ссылался на него как на своего единомышленника в борьбе против попыток рациональным путем обосновать бытие бога. Мендельсон, хотя так и не одолел «Критики чистого разума», все же знал, что Кант не разделяет его взглядов, но он знал также, что у иррационалиста Якоби еще меньше оснований апеллировать к Кенигсбергскому философу. Поэтому он взывал к научной порядочности Канта и просил высказать свое отношение к спору. С подобными просьбами обращались и другие. Канта буквально втянули в полемику.

Конечно, позиция Мендельсона была ему ближе: он сам вырос из вольфианства. Познав ограниченность Просвещения, «берлинского образа мысли», он сохранил верность лучшим его традициям; критикуя науку, он не отрекался от нее. Незадолго до начала «Спора о пантеизме» Кант опубликовал панегирик воспитавшему его духовному течению — статью «Ответ на вопрос: что такое Просвещение». Ответ, говорил он, прост — это выход из состояния духовного несовершеннолетия, неспособности пользоваться собственным умом без постороннего руководства. Имей мужество мыслить самостоятельно, таков девиз Просвещения.

Вместе с тем Канту давно уже ясно: не одним умом, не одними научными знаниями сыт человек. А что касается Мендельсона, то его попытки обосновать логическим путем бытие бога и бессмертие души к науке отношения не имеют. Чтобы показать свое несогласие с Мендельсоном, Канту достаточно было напомнить соответствующие параграфы «Критики чистого разума». Это он сделал в кратком предисловии к книге своего последователя магистра Л. Якоба из Галле «Проверка утренних часов Мендельсона». Для выяснения отношений с Якоби потребовалась специальная работа. Она называлась «Что значит ориентироваться в мышлении» и появилась в «Берлинском ежемесячнике» в октябре 1786 года (почти одновременно с книгой Якоба).

По сравнению с «Критикой чистого разума» статья эта содержит некоторые новые мысли. Если там была подвергнута критике попытка опосредованного познания бога путем логически непротиворечивого доказательства, то здесь отвергнута возможность непосредственного его познания интуитивным путем. Если бы даже, писал Кант, во всем том, в чем бог непосредственно открывается человеку, не встретилось бы ничего, что противоречило бы этому понятию, то все же такое созерцание никогда не доказало бы его бытия. «В бытии высшего существа никто первоначально не может быть убежден путем какого-либо созерцания». Знание не следует смешивать с верой. При том, что Кант вовсе не против веры. Вера — компас, ориентир. Ориентироваться в мышлении — значит руководствоваться субъективным принципом в определении истины при отсутствии принципа объективного. Следовательно, напрашивается вывод: знание, обладающее объективной истинностью, выше веры. Кант говорит «да» и тут же произносит «нет». Есть, оговаривается он, вера разума, тождественная нравственности. Она «не уступает никакому знанию, хотя по своему характеру полностью от него отличается». Ход рассуждений знаком нам по «Критике чистого разума».

Статья «Что значит ориентироваться в мышлении» была выдержана в уважительных тонах и несколько не испортила отношений Канта с Якоби. В дальнейшем они обменивались письмами, собственными работами, комплиментами. Стычка с Гердером научила Канта быть в полемике сдержанным и щадить самолюбие оппонента.

Выступлением Канта против Якоби завершился первый этап спора о пантеизме. В дальнейшем спор принял неожиданный поворот: с книгой «Бог. Несколько диалогов» (1787) в полемику вмешался Гердер, отложивший на время работу над «Идеями философии истории человечества». Пуская очередные полемические стрелы в Канта, Гердер поднимал на щит учение Спинозы, доказывая его полную совместимость с христианством. Это вызвало протесты радикально настроенных Спинозистов, справедливо узревших натяжки в построениях

веймарского суперинтендента. Еще несколько лет шли дебаты, теперь уже непосредственно касавшиеся Спинозы и проблем пантеизма.

Но Канта они больше не волновали. Тем более что он дал зарок: «В споры я отныне пускаться не буду». Торжественное обещание он произнес в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» (1787). К этому времени Кант не мог пожаловаться на невнимание к своему труду. Разве что на непонимание. Одна за другой появлялись уже не статьи, а книги, направленные против Канта. Его обвиняли в скептицизме и субъективном идеализме. Логику всех этих выступлений прекрасно схватил Лихтенберг, физик и философ, сам не кантианец, а просто человек справедливый и остроумный: «Если бы Кант был прав, мы были бы не правы, но так как это невозможно, ибо нас много, и мы такие умные, образованные и принципиальные, то совершенно очевидно, что не прав Кант, что и требовалось доказать».

Отвечать всем не было возможности, да и необходимости: одновременно с количеством критиков росло число сторонников, готовых защищать его интересы не только в печати, но и с оружием в руках. Последнее не преувеличение: весной 1786 года в Иене философия Канта послужила даже причиной... дуэли. Один студент заявил, что для того, чтобы понять «Критику», надо проучиться в университете по меньшей мере тридцать лет, другой вызвал его на поединок. «Кантовская лихорадка» охватывала немецкие университеты. Кое-где забеспокоились власти. В Марбурге местный ландграф запретил преподавание философии Канта впредь до выяснения, не подрывает ли она основ человеческого познания.

Тем временем Кант был избран ректором университета (на этой должности находились в течение года), а Берлинская академия наук включила его в число своих членов (это уже пожизненно). И не только ученый мир отдавал дань славе Канта. В журнале «Немецкий Меркурий» из номера в номер публикуются анонимные «Письма о философии Канта». Ярко и популярно написанные, они привлекают внимание широкой публики. Их автором оказался недавний противник Канта К.-Л. Рейнгольд. Прочитав «Критику чистого разума», он был потрясен. В письме к Канту Рейнгольд признался, что в свое время тиснул «антирецензию» на кантовскую рецензию «Идеи философии истории человечества». Теперь он объясняется Канту в любви, благодарит за «благотворную революцию», которую произвели в его душе идеи Канта, обещает посвятить себя их популяризации и защите.

Сам Кант лишь в редких случаях отвечал своим оппонентам. Научный спор интересен только тогда, когда можешь сказать что-то новое. Уличать противника в недобросовестности или глупости — занятие неблагодарное. Особенно когда ждут новые дела. А перед Кантом открылся наконец неизведанный континент мысли, вокруг которого давно блуждали великие философы и к которому он сам стремился много лет.

Речь идет об этике. Здесь заслуги Канта не менее велики, чем в гносеологии. Мы уже знаем, что именно интерес к этическим проблемам, трудности, встающие при их решении, антиномия свободы в первую очередь побудили Канта взяться за «Критику чистого разума». Написав свой главный труд, он снова возвращается к этике как таковой. Первой ласточкой, возвестившей о начале работ в этой области, была рецензия на книгу Иоганна Шульца «Опыт введения в учение о нравственности». (Рецензия появилась в одном из Кенигсбергских журналов до обещания не ввязываться в споры.)

Этого Шульца не следует путать с недавно упомянутым, жившим в Кенигсберге другом Канта. И того и другого звали Иоганн, оба были проповедниками. Но если первый — кабинетный эрудит, не спеша пробивался к глубинам умозрения, то второй был плодовитым литератором-полемистом, вольнодумцем на амвоне. Он отказался выступать перед паствой в традиционном парике, за что был прозван «простоволосым проповедником». Он пытался убедить монархов в пользе атеизма, доказывая, что религия — шаткая опора трона, что безбожник куда более надежный подданный, чем верующий. Бранденбургская консистория призвала вольнодумца к ответу, но его взял под защиту сам Фридрих II, любимым изречением которого было: «Рассуждайте о чем угодно, но только повинуйтесь».

«Простоволосый» Шульц принял активное участие в споре о пантеизме. Он отчитал Мендельсона за его отказ признать Лессинга Спинозистом. Спинозистов считают атеистами, ну и что? Ходячее мнение: атеист — опасный, аморальный человек, он не может быть ни отцом

семейства, ни гражданином государства; нет ничего бессмысленнее подобных утверждений. Мораль и религия — разные вещи.

В 1783 году «простоволосый» Шульц опубликовал книгу по этике, на которую Кант и откликнулся рецензией. В книге были изложены основные идеи механистического материализма, и Кант добросовестно воспроизвел их. Шульц верил во всеобщую одушевленность природы. Нет ничего неживого; существует только жизнь, обладающая большей или меньшей степенью реальности. Душа как отличающаяся от тела сущность — порождение воображения. Все существа — механизмы; и серафим и дерево суть искусные машины. А потому нет и свободной воли; все подчинено строгим законам необходимости.

Последнее утверждение привлекло особое внимание Канта, и именно его он подверг критике. Фатализм, по его справедливому мнению, превращает всякое человеческое поведение в игру марионеток, полностью устраняет понятие моральной обязанности. А для Канта последнее — краеугольный камень нравственности, практического применения разума.

Первое систематическое изложение этики Кант предпринял в книге «Основы метафизики нравов», которая увидела свет в 1785 году. Почему Кант не назвал свой труд «критикой» по аналогии с «Критикой чистого разума»? Он объяснял это тем, что в этике дело обстоит проще, чем в гносеологии, здесь для разума не уготовано такое количество диалектических ловушек, как в области теории, здесь и самый обыденный рассудок легко может достигнуть высокой степени правильности без какой-либо особой критики. С другой стороны, подобная критика, по мнению Канта, будет завершенной только тогда, когда окажется возможным показать единство практического и теоретического разума (то есть нравственности и науки), а в 1785 году Кант считал, что он еще не в состоянии решить подобную задачу. Как только она оказалась ему по плечу, он сел за «Критику практического разума». Книга вышла в свет в 1788 году. Содержание этих двух этических работ частично повторяет, частично дополняет друг друга.

В этих работах изложены лишь начала кантовского учения о нравственности; в завершенном виде оно предстанет в поздних произведениях. Теорию познания Кант вынашивал долгие годы, в результате она возникла как целое, была изложена строго, стройно, систематически. С теорией морали дело казалось проще, но оказалось сложнее: только в преклонном возрасте Кант создал труд, где все было додумано до конца, — «Метафизика нравов».

Новое слово, сказанное Кантом о поведении человека, — автономия нравственности. Предшествовавшие теории были гетерономны, то есть выводили мораль из внешних по отношению к ней принципов. Одни моралисты видели корень нравственных принципов в некоей принудительной санкции — воле бога, установлениях общества, требованиях врожденного чувства. Другие настаивали на том, что представления о добре и зле суть производные от целей, которых добивается человек, и последствий, которые вытекают из его поведения, от его стремления к счастью, наслаждению, пользе. Кант утверждает принципиальную самостоятельность и самоценность нравственных принципов.

Исходное понятие этики Канта — автономная добрая воля.

Говоря о ней, Кант поднимался до высокого пафоса. «Нигде в мире, да и нигде за его пределами невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться благом без ограничения, кроме одной только доброй воли. Рассудок, остроумие и способность суждения и как бы там ни назывались таланты духа, или мужество, решительность, целеустремленность как свойства темперамента в некоторых отношениях, без сомнения, хороши и желательны; но они могут стать также в высшей степени дурными и вредными, если не добра воля, которая должна пользоваться этими дарами природы...

...Если бы даже в силу особой немилости судьбы или жалкого состояния мачехи — природы эта воля была бы совершенно не в состоянии достигнуть своей цели; если бы при всех стараниях она ничего не добила и оставалась одна только добрая воля (конечно, не просто как желание, а как применение всех средств, поскольку они в нашей власти), — то все же она сверкала бы подобно драгоценному камню сама по себе как нечто такое, что имеет в самом себе свою полную ценность».

Говорят, что добрыми намерениями устлана дорога в ад. Но кантовская добрая воля не пассивна, от ее носителя мыслитель требует действия, поступка (применения «всех средств, поскольку они в нашей власти»). Канта критиковали за формальный подход к делу: то, что в одних условиях благо, в других может оказаться злом. Последнее справедливо, и философ знает об этом. Пока он говорит лишь о компасе, который помогает человеку ориентироваться среди бурь и волнений житейского моря. Конечно, любой компас подвержен помехам, но они проходят, а стрелка снова тянется к полюсу, так и потеря моральных ориентиров недолговечна, рано или поздно перед человеком проясняется нравственный горизонт, и он видит, куда ведут его поступки — к добру или злу. Добро есть добро, даже если никто не добр. Критерии здесь абсолютны и очевидны, как различие между правой и левой рукой.

Для того чтобы распознать добро и зло, не нужно специального образования, достаточно интуиции. Последним термином, как мы уже знаем, Кант предпочитал не пользоваться; его термин — способность суждения, она от «бога», от природы, а не от знаний. «Чтобы быть честными и добрыми и даже мудрыми и добродетельными, мы не нуждаемся ни в какой науке и философии». Здесь Кант расходится с «первооткрывателем» морали Сократом, для которого добро совпадает со знанием и отсутствие знания является единственным источником всякого морального несовершенства. Сам сын века Просвещения и ревностный его поборник, Кант вместе с тем выходит за пределы просветительского рационализма. Наука и мораль разные сферы человеческого бытия. Связь между ними, конечно, есть, и он к ней еще вернется, но пока его интересуют различия.

В теории, удаляясь от эмпирии, разум впадает в противоречия с самим собой, приходит к загадкам, к хаосу неизвестности, неясности, неустойчивости. Иное дело в поведении. Практическая способность суждения, освобождаясь от чувственного материала, устраняет привходящие наслоения и упрощает себе задачу. Моральность предстает здесь в очищенном, незамутненном виде. Вот почему, хотя мораль рождается вне философии, философствование идет ей на пользу. «Невинность, конечно, прекрасная вещь, но, с другой стороны, очень плохо, что ее трудно сохранить и легко совратить. Поэтому сама мудрость, которая вообще-то больше состоит в образе действий, чем в знании, все же нуждается в науке не для того, чтобы у нее учиться, а для того, чтобы ввести в употребление ее предписание и закрепить его».

Только в практической (нравственной) сфере разум приобретает конститутивную функцию, то есть решает конструктивную задачу формирования понятий и их реализации. (Напомним, что в сфере познания разум регулятивен, то есть он только предостерегает от ошибок, конститутивен в познании лишь рассудок.) Предмет практического разума — высшее благо, то есть обнаружение и осуществление того, что нужно для свободы человека. Кант говорит о первенстве практического разума перед теоретическим. Главное — поведение, вначале дело, знание потом. Философия вырывается здесь из плена умозрительных конструкций, выходит в сферу жизненно важных проблем, помогая человеку обрести под ногами твердую нравственную почву.

Философский анализ нравственных понятий говорит о том, что они не выводятся из опыта, они априорно заложены в разуме человека. Кант в разных местах настойчиво повторяет эту мысль. Надо правильно ее понять. Кант не исследует происхождения морали в целом как формы сознания, которая возникла вместе с обществом и вместе с ним трансформировалась. Речь идет только о нравственном статусе индивида. Повседневный опыт антагонистического общества противостоит моральности, скорее духовно уродует, нежели воспитывает человека. Моральный поступок выглядит как результат некоего внутреннего императива (повеления), порой идущего вразрез с аморальной практикой окружающей действительности.

Строго говоря, любой поступок императивен, он требует для своего свершения концентрации воли. Но, отмечает Кант, следует различать императивы, направленные на достижение определенной цели, и те, которые этим не обусловлены. Первые он называет *гипотетическими* (поступок обусловлен целью и предписывается как некое средство); вторые — *категорическими*. Моральный поступок — следствие категорического императива; человек не стремится при этом достичь никакой цели, поступок необходим сам по себе.

Цели гипотетического императива могут быть двоякими. В первом случае человек четко знает, что ему нужно, и речь идет только о том, как осуществить намерение. Хочешь стать

врачом — изучай медицину. Императив выступает в качестве правила умения. Последнее не говорит о том, хороша ли, разумна ли поставленная цель, а лишь об одном — что нужно делать, чтобы ее достичь. Предписания для врача, чтобы вылечить пациента, и для отравителя, чтобы наверняка его убить, здесь равноценны. Поскольку каждое из них служит для того, чтобы осуществить задуманное.

Во втором случае цель имеется, но весьма туманная. Дело касается счастья человека. Гипотетический императив приобретает здесь форму советов благоразумия. Последние совпадали бы с правилами умения, если бы кто-нибудь дал четкое понятие о счастье. Увы, это невозможно. Хотя каждый человек желает достичь счастья, тем не менее он не в состоянии определенно и в полном согласии с самим собой сказать, чего он, собственно, хочет, что ему нужно. Человек стремится к богатству — сколько забот, зависти и ненависти он может вследствие этого навлечь на себя. Он хочет знаний и понимания — нужны ли они ему, принесут ли они ему удовлетворение, когда он узрит скрытые пока что от него несчастья? Он мечтает о долгой жизни, но кто поручится, что она не будет для него лишь долгим страданием? Он желает себе, по крайней мере, здоровья — но как часто слабость тела удерживала от распутства и т. д. и т. п. В отношении счастья невозможен никакой императив, который в строжайшем смысле предписывал бы совершать то, что делает счастливым, так как счастье есть идеал не разума, а воображения и покоится на сугубо эмпирических основаниях.

Нравственность нельзя построить на таком зыбком основании, каким является принцип счастья. Если каждый будет стремиться только к своему счастью, то максима (правило) человеческого поведения приобретет весьма своеобразную «всеобщность». Возникнет «гармония», подобная той, которую изобразил сатирический поэт, нарисовавший сердечное согласие двух супругов, разоряющих друг друга: о удивительная гармония! Чего хочет он, того хочет и она! При таких условиях невозможно найти нравственный закон, который правил бы всеми.

Дело не меняется от того, что во главу угла ставится всеобщее счастье. Здесь люди также не могут договориться между собой, цель неопределенна, средства зыбки, все зависит от мнения, которое весьма непостоянно. (Поэтому никто не может принудить другого быть счастливым так, как он того хочет, как он представляет себе благополучие других людей.) Моральный закон только потому мыслится как объективно необходимый, что он должен иметь силу для каждого, кто обладает разумом и волей.

Категорический императив Канта в окончательной формулировке звучит следующим образом: *поступай так, чтобы правило твоей воли могло всегда стать принципом всеобщего законодательства*. По сути дела, это парафраз древней истины: веди себя в отношении другого так, как ты хотел бы, чтобы он вел себя в отношении тебя. Делай то, что должны делать все.

Кантовский категорический императив нетрудно подвергнуть критике: он формален и абстрактен, как библейские заповеди. Например, не укради. А если речь идет о куске хлеба, и я умираю от голода, и хозяину хлеба потеря этого куска ничем не грозит? Кант вовсе не за то, чтобы люди умирали, а рядом пропадала пища. Просто он хочет называть вещи своими именами. На худой конец, укради, только не выдавай свой поступок за моральный. Вот в чем вся соль. Мораль есть мораль, а воровство есть воровство. В определениях надо быть точным.

У Канта есть небольшая статья с красноречивым названием «О мнимом праве лгать из человеколюбия». Во всех случаях жизни, настаивает философ, надо быть правдивым. Даже если злоумышленник, решивший убить твоего друга, спрашивает тебя, находится ли его жертва у тебя дома, не лги. У тебя нет гарантий, что твоя ложь окажется спасительной. Ведь возможно, что на вопрос преступника, дома ли тот, кого он задумал убить, ты честным образом ответишь утвердительно, а последний между тем незаметно для тебя вышел и таким образом не попадетсся убийце и злодеяние не будет совершено. Если же ты солгал и сказал, что твоего друга нет дома и он действительно (хотя и незаметно для тебя) вышел, а убийца встретил его на улице и совершил преступление, то тебя с полным основанием надо привлекать к ответственности как виновника его смерти. Между тем, если бы ты сказал правду, насколько ты ее знал, то возможно, что пока убийца отыскивал бы своего врага в его доме, он был бы схвачен сбежавшими соседями, и убийство не произошло. Правдивость есть долг, и стоит только

допустить малейшее исключение из этого закона, чтобы он стал шатким и ни на что не годным. Моральная заповедь не знает исключений.

И все же они мучают Канта. В позднем своем труде «Метафизика нравов», излагая этическое учение, Кант ко многим параграфам присовокупил своеобразные дополнения (как антитезис к тезису), озаглавленные всюду одинаково — «Казуистические вопросы».

Выдвинут, например, тезис: самоубийство аморально. И тут же антитезис-искуситель ставит вопросы. Самоубийство ли идти на верную смерть ради спасения отечества? Позволительно ли предупреждать добровольным лишением жизни несправедливый смертный приговор? Можно ли вменить в вину самоубийство воину, не желающему попасть в плен? Больному, считающему, что его недуг неизлечим? Вопросы остаются без ответа, но они говорят о том, что Кант не закрывал глаза на противоречия жизни. Он только полагал, что мораль (как и право) не должна приспособливаться к этим противоречиям. В морали человек обретает незыблемые опоры, которые могут зашататься в кризисной ситуации, но кризис и норма — разные вещи.

Наиболее прочная опора нравственности, единственный истинный источник категорического императива — долг. Только долг, а не какой-либо иной мотив (склонность и пр.) придает поступку моральный характер. «Имеются некоторые столь участливо настроенные души, что они без всякого другого тщеславного или своекорыстного побудительного мотива находят внутреннее удовольствие в том, чтобы распространять вокруг себя радость и им приятна удовлетворенность других, поскольку она дело их рук. Но я утверждаю, что в этом случае всякий такой поступок, как бы он ни соотносился с долгом и как бы он ни был приятным, все же не имеет никакой нравственной ценности».

Этот ригористический пассаж вызвал возражения и насмешки. Шиллер не мог удержаться от эпиграммы.

Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склонность.

Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?

Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье

И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг!

Впоследствии Кант смягчил жесткость своих формулировок. Если первоначально он противопоставил любовь долгу, то потом нашел способ объединить их. Мудрость и мягкость приходят с годами. Даже в преклонном возрасте уместно уметь. А эпиграмму Шиллера, который был восторженным поклонником Канта, не следует принимать всерьез. Впрочем, может быть, она свое дело сделала: повлияла на философа. В старости он задал себе «казуистический» вопрос: «Много ли стоит благодеяние, которое совершено с холодным сердцем?»

Крайности сходятся. Противопоставляя счастье нравственному закону, Кант в конце концов (в итоге многолетних размышлений) видит их снова вместе. Философ изначально не стремился лишить человека притязаний на счастливую жизнь. Он и заботу о собственном благополучии в некотором отношении готов был признать долгом; хотя бы потому, что благополучие (здоровье, богатство, образование) создает лучшие условия для выполнения долга, а отсутствие жизненных благ создает искушение нарушить долг. Однако содействие своему счастью все же не может быть моральным принципом. Что касается счастья других, то в «Метафизике нравов» оно определено как цель и долг человека. «Собственное совершенство и чужое счастье» — такова окончательная формула долга. Но нужно лишь забывать о том, сколь относительно представления о счастье и как опасно насиловать волю других. Здравый смысл и человечность должны быть всегда на страже, они для Канта — главное.

Поэтому надо самым решительным образом отвергнуть ту уродливую трактовку, которую придали идее долга (ссылаясь порой на Канта) идеологи немецкого милитаризма и фашизма. «Превыше всего долг, ты должен быть верным солдатом фатерлянда и фюрера», — учили в школах и в казармах. Кант же требовал от человека быть прежде всего человеком и думать о человечестве. Фашизм рассматривал человека только как средство осуществления человеконенавистнической идеи истребления и порабощения народов. Кант был в числе первых

мыслителей, провозгласивших безотносительную ценность человеческой личности независимо от расовой, национальной и сословной принадлежности. Один из вариантов категорического императива гласит: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству». Цитата взята из «Основ метафизики нравственности», в «Критике практического разума» сказано не менее решительно... «Человек... есть цель сама по себе, т. е. никогда никем (даже богом) не может быть использован только как средство».

Многое зависит от самого человека. Есть такое понятие — достоинство. Надо знать, что это значит, и уметь сохранять его. Не становитесь холопом другого человека. Не допускайте безнаказанного попрания ваших прав. Не делайте долгов (если у вас нет полной уверенности, что вы можете их вернуть). Не принимайте благодарений. Не становитесь прихлебателями или льстецами. Тогда, говорит Кант, вы сохраните свое достоинство. А кто превратил себя в червя, пусть не жалуется потом, что его топчут ногами.

Специально «для класса мыслителей» Кант сформулировал следующие максимы: 1) Думать самому. 2) Мысленно ставить себя на место другого. 3) Всегда мыслить в согласии с самим собой. Интеллект дан человеку для того, чтобы он мог им пользоваться без какого-либо принуждения, чтобы его духовный горизонт был достаточно широк, а образ мысли последователен.

Решительно высказывается Кант против любого фанатизма, характеризуя его как «нарушение границ человеческого разума». Даже «героический фанатизм» стойков не привлекает его. Только трезвое осознание долга руководит поведением мыслящего человека. «Долг! Ты возвышенное, великое слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям, ты требуешь подчинения, хотя, чтобы побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушало бы естественное отвращение в душе и пугало бы; ты только устанавливаешь закон, который сам собой проникает в душу и даже против воли может снискать уважение к себе (хотя и не всегда исполнение); перед тобой замолкают все склонности, хотя бы они тебе втайне противодействовали, — где же твой, достойный тебя источник и где корни твоего благородного происхождения, гордо отвергающего всякое родство со склонностями, и откуда возникают необходимые условия того достоинства, которое только люди могут дать себе?»

Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой (как частью чувственно воспринимаемого мира), что связывает его с порядком вещей, который может мыслить только рассудок и которому вместе с тем подчинен весь чувственно воспринимаемый мир... Это не что иное, как *личность*».

Здесь потребуется одно терминологическое уточнение. Русские переводчики зачастую переводят словом «личность» два принципиально различных кантовских термина — «Person» и «Persönlichkeit». Первый термин означает «лицо», только второй — «личность». Под лицом Кант понимает человеческий индивид, отличающий себя от других, олицетворение принципа «я мыслю», личность есть нечто большее, чем носитель сознания, последнее в личности становится самосознанием. Быть личностью — значит быть свободным, реализовать свое самосознание в поведении. Ибо природа человека — его свобода.

Свобода с точки зрения этики не произвол. Не просто логическая конструкция, при которой из данной причины могут на равных правах проистекать различные действия. Хочу — поступлю так, а хочу — совсем наоборот. Нравственная свобода личности состоит в осознании и выполнении долга. Перед самим собой и другими людьми «свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам, — это одно и то же».

Как, по Канту, возможна свобода человека, мы знаем из предшествующей главы. Человек — дитя двух миров. Принадлежность к чувственно воспринимаемому (феноменальному) миру делает человека игрушкой внешней причинности, здесь он подчинен посторонним силам — законам природы и установлениям общества. Но как член интеллигибельного (ноуменального) мира «вещей самих по себе» он наделен свободой. Эти два мира не антимир, они взаимодействуют друг с другом. Интеллигибельный мир содержит основание чувственно воспринимаемого мира.

Так и ноуменальный характер человека лежит в основе его феноменального характера. Беда, когда второй берет верх над первым. Задача воспитания состоит в том, чтобы человек целиком руководствовался бы своим ноуменальным характером. Принимая то или иное жизненно важное решение, исходил бы не из соображений внешнего порядка (карьера, барыш и пр.), а исключительно из повеления долга. Для того чтобы не совершалось обратного, человек наделен совестью — удивительной способностью самоконтроля.

«Человек может хитрить сколько ему угодно, чтобы свое нарушающее закон поведение, о котором он вспоминает, представить себе как неумышленную оплошность, просто как неосторожность, которой никогда нельзя избежать полностью, следовательно, как нечто такое, во что он был вовлечен потоком естественной необходимости, чтобы признать себя невиновным; и все же он видит, что адвокат, который говорит в его пользу, никак не может заставить замолчать в нем обвинителя, если он сознает, что при совершении несправедливости он был в здравом уме, т. е. мог пользоваться своей свободой».

Механизм совести устраняет раздвоенность человека. Нельзя все правильно понимать, но несправедливо поступать; одной ногой стоять в мире интеллигентном, а другой — в феноменальном; знать одно, а делать другое. С совестью нельзя играть в прятки. Никакие сделки с ней невозможны. И ее не усыпишь, рано или поздно она проснется и заставит держать ответ.

Определи себя сам, проникнись сознанием морального долга, следуй ему всегда и везде, сам отвечай за свои поступки — такова квинтэссенция кантовской этики, строгой и бескомпромиссной.

Ригористы упрекают Канта в непоследовательности. Продолжая традицию европейского свободомыслия, Кант порвал с религиозным обоснованием морали: не заповеди бога, а долг перед человечеством заставляет нас вести себя нравственно. Однако все то, что Кант ниспроверг в «Критике чистого разума» как абсолютно недоказуемое — бессмертие души, свобода воли, бытие бога, — восстанавливается в «Критике практического разума» как постулаты, которые хотя и не расширяют нашего знания, но в общем «дают разуму право на такие понятия, обосновать даже возможность которых он иначе не мог бы себе позволить». Насмешки Гейне по этому поводу нам уже известны.

Посмеивался над этим и Шопенгауэр. Канта он сравнивал с человеком, который на маскараде ухаживает за прекрасной незнакомкой с целью добиться взаимности. В конце вечера дама снимает маску и оказывается его женой. Кант, мол, пообещал построить нравственность без бога, но все его словесные ухищрения представляют лишь маску, за которой скрывается привычное лицо религиозной морали.

Гейне и Шопенгауэр не заметили весьма важной детали: религия у Канта не причина морали, а ее следствие. Мораль отличает человека от животного, но откуда она взялась, остается для Канта величайшей загадкой мироздания. Как и само мироздание. «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Так звучит один из заключительных абзацев «Критики практического разума». (Знаменитый еще и тем, что бронзовая доска с этим текстом неподалеку от могилы принадлежала к мемориалу философа.) Но, продолжает Кант, удивление и благоговение хотя и могут побуждать к изысканиям, все же не могут их заменить. Что же требуется для изыскания? Прежде всего научный метод. Он столь же необходим для изучения внешнего мироздания, как и для исследования мироздания внутреннего. Хранительницей и наставницей науки всегда должна оставаться философия. Глубокое убеждение в пользе той области знания, которой он себя посвятил, никогда не покидало Канта.

* * *

Слово далеко не всегда влечет за собой дело. Поучать легче, чем следовать поучениям. В истории философии есть сколько угодно примеров несовпадения проповеди и поведения. Шопенгауэр, призывавший к аскетизму, был лакомкой и бонвиваном. Ницше, мечтавший о

сверхчеловеке, явно страдал комплексом неполноценности. Кант-моралист и Кант-человек — одно и то же.

Конечно, он не всегда и не во всем руководствовался прописями категорического императива. Бывал мелочен (особенно к старости), чудаковат, нетерпелив, прижимист (даже когда наступило материальное благополучие), педантичен (хотя отдавал себе отчет в том, что педантизм зло, «болезненный формализм», и ругал педантов), не терпел возражений. Жизнь заставляла идти на компромиссы, и он порой хитрил и дипломатничал. Но в общем и целом его поведение соответствовало тому идеалу внутренне свободной личности, который он набросал в своих этических произведениях. Была цель жизни, был осознанный долг, была способность управлять своими желаниями и страстями, даже своим организмом. Был характер. Была доброта.

Природа наделяет человека темпераментом, характер он вырабатывает сам. Пытаться постепенно стать лучше считал Кант, — напрасный труд. Характер создается сразу, путем взрыва, нравственной революции. Потребность в моральном обновлении люди ощущают только в зрелом возрасте, Кант пережил его на пороге сорокалетия. Материальная независимость пришла позднее.

В 1784 году Кант приобрел собственный дом. Его сбережения уже давно превысили 20 золотых, в свое время отложенных на черный день. Теперь он без труда мог выложить 5500 гульденов за недвижимость вдовы художника Беккера (некогда создавшего его портрет). Дом был расположен в центре города, в тихой боковой улочке Принцессинштрассе, неподалеку от королевского замка. К дому примыкал сад с множеством цветов и тенистых деревьев. Вскоре, правда, обнаружилось неприятное обстоятельство: через забор мальчишки кидали камни. Полиция была не в силах (или не хотела) совладать с ними, и философ перестал бывать в собственном саду.

К полиции пришлось обратиться и по другому поводу: за садом находилась городская тюрьма. Летом, когда открывали окна, оттуда доносилось церковное песнопение. Это мешало сосредоточиться. К тому же философ был убежден, что арестанты озабочены не спасением души, а лишь тем, чтобы выслужиться перед начальством. И он потребовал, чтобы пение происходило при закрытых окнах и не в полный голос: тюремщик все равно его услышит и засвидетельствует богобоязненность заключенных. У Канта были друзья в магистрате, и он добился своего.

Дом был двухэтажный, восьмикомнатный. Внизу помещалась учебная аудитория, где профессор проводил занятия со студентами, и квартира кухарки. На втором этаже — столовая, спальня, гостиная, кабинет. В мансарде обитал отставной солдат Лампе, слуга. В столовой — обеденный стол и шесть обтянутых полотном стульев, горка, где за стеклом немудреный фарфор, а под замком столовое серебро и наличные деньги. В кабинете — два простых стола, заваленных книгами и бумагами, на покрытой пылью стене (убирать здесь не разрешалось) — портрет Руссо. Библиотека — не более 500 книг, включая брошюры, — располагалась в спальне. (Для сравнения: Гёте имел дома 2300 томов, Гердер — 7700.) В спальне было одно окно, которое Кант никогда не открывал, полагая, что это лучший способ избавиться от насекомых. Лампе проветривал спальню тайком от хозяина. Даже зимой спальня не отапливалась. Когда философ работал, в доме стояла гробовая тишина.

Рабочий день Канта начинался в пять часов. (В те времена, когда люди не знали электричества, раннее вставанье не представлялось чем-то исключительным.) Кант советовал своему молодому другу Кизеветтеру подниматься в четыре (а о русском губернаторе Восточной Пруссии Василии Суворове, отце генералиссимуса, было известно, что в два часа ночи он уже на ногах). Без четверти пять в спальне профессора появлялся Лампе и не уходил, пока тот не встанет. В халате и ночном колпаке Кант направлялся в кабинет, где выпивал две чашки слабого чая и выкуривал трубку, единственную за весь день. (Толстой заблуждался, приписывая Канту безудержную страсть к табаку, — мол, если бы он не курил так много, «Критика чистого разума», вероятно, не была бы написана «таким ненужно непонятным языком».) Кофе философ любил, но старался не пить, считая его вредным.

Первый рабочий час был наиболее плодотворным и радостным. Если предстояли лекции, то следующий час уходил на подготовку к ним. Лекции обычно начинались в семь; преподавал теперь Кант девять часов в неделю, как правило, он читал летом логику и физическую географию, зимой — метафизику и антропологию. После занятий профессор снова облачался в халат и усаживался в кабинете. Без четверти час второй раз переодевался. К этому времени в доме появлялись приглашенные на обед друзья. К старым — Грину, Мотерби — прибавились новые — военный советник Шеффнер, придворный проповедник Шульц, пастор Боровский, философы Краус, Ринк, Иеше, математик Гензихен, писатель Хитшель, врач Яхман, богослов Хассе и некоторые другие. Хозяин собственноручно выдавал прислуге серебряные ложки. Ровно в час на пороге кабинета появлялся Лампе и произносил сакраментальную формулу: «Суп на столе». Гости шли в столовую и быстро рассаживались по местам: они знали, что хозяин голоден.

Кант никогда не обедал в одиночестве. Есть одному полагал философ, недопустимо, это не восстановление сил, а их истощение: обедающий за уединенным столом остается наедине со своими мыслями, работа которых не прекращается. Бодрость возвращают только сотрапезники, непринужденная беседа с которыми отвлекает и развлекает. Чтобы беседа была общей, за обеденным столом не должно находиться многочисленное общество, по компетентному мнению — не более числа муз (но и не менее числа граций). Кант придерживался и в этом отношении золотой середины: в его хозяйстве имелось только шесть столовых приборов.

Застольная беседа — великое искусство: надо уметь говорить со всеми, а не только с соседом (плохо, когда общество разбивается на мелкие группки); нельзя допускать длительной, тягостной для всех тишины (допустимы лишь короткие паузы), нельзя перескакивать с одного предмета на другой (если тема исчерпана, следует умело перевести разговор на близлежащую); нельзя допускать, чтобы в обществе разгорались страсти; застольный разговор — игра, а не дело; если же возник серьезный спор, то вести его должно с достоинством, уважая мнение собеседника. Закончить любые дебаты лучше всего шуткой, она не только примиряет противоположные мнения, но, вызывая смех, способствует лучшему пищеварению.

Так Кант понимал «эстетику разговора», которой придавал большое значение и которой в качестве гостеприимного хозяина умело пользовался. «Знакомый с Кантом по работам и лекциям, — утверждает Яхман, — знает его лишь наполовину: полностью мудрец раскрывался в кругу собеседников». Его познания с годами стали необъятными, и он мог увлекательно говорить на любую тему. К природному остроумию и общительности прибавилось профессиональное умение владеть аудиторией, внимательно выслушивать собеседника, быть ему интересным и понятным.

Тем, кто привык видеть себя в центре внимания, могла, правда, не понравиться манера Канта быть душой разговора. Молодой граф Пургшталь, прибывший в Кенигсберг с рекомендательным письмом Рейнгольда, был раздосадован тем, что хозяин не желает беседовать с ним на умные темы, а все больше отшучивается. За обедом, по словам графа, Кант говорил без умолку, «он лучше знал, чем я, какова у нас в Штайермарке домашняя птица, как выглядит страна, в какой степени образован католический священник. По всем этим вопросам он противоречил мне».

Обед был единственной трапезой, которую разрешал себе философ. Достаточно плотная, с хорошим вином (пива Кант не признавал), она продолжалась до четырех-пяти часов. «Он ел не просто с аппетитом, но с наслаждением, — вспоминал один из гостей Канта (вероятно, не подозревавший, что у хозяина сутки до этого во рту не было ни крошки). На его лице читалось вожделение; выразительные взгляды, которые он бросал то на одно блюдо, то на другое, говорили о том, что в этот момент он целиком человек застолья». Кант действительно любил вкусно поесть, понимал толк в приготовлении пищи и был не прочь порассуждать на эту тему. Хиппель уверял, что Кант намеревался написать

«Критику кулинарного искусства». Любимым его блюдом была свежельвовленная треска. Послеобеденное время философ проводил на ногах.

При жизни Грина (скончавшегося в 1786 году) Кант обычно навещал его, и они дремали в креслах; теперь он считал сон среди дня вредным и даже не присаживался, чтобы не

задремать. Наступало время легендарной прогулки. Кёнингсбержцы привыкли видеть свою знаменитость, тихим шагом совершающую моцион по одному и тому же маршруту — «философской тропе» — обычно в одиночестве, с опущенной под тяжестью лет и дум головой. Парик на нем сидел теперь не так безупречно, как в молодые годы, и часто сползал набок. По дороге Кант старался не думать, но мысли приходили, и тогда он присаживался на скамейку, чтобы записать их. Конечная цель прогулки — форт Фридрихсбург. Вернувшись домой, философ давал распоряжения по хозяйству. Вечерние часы он посвящал легкому чтению (газеты, журналы, беллетристика), возникавшие при этом мысли опять немедленно заносились на бумагу. В сумерках, не зажигая огня, Кант любовался церковной башней в Лёбенихте. Он настолько привык к этому виду, что, когда разросшиеся тополя в соседнем саду заслонили церковь, потерял покой и обрел его лишь после того, как сосед, вняв просьбам философа, стал регулярно подрезать верхушки деревьев. В десять часов дом Канта погрузился в сон.

Регулярный образ жизни, соблюдение предписанных себе гигиенических правил преследовали одну цель — поддержание здоровья. Еще в годы работы над «Критикой чистого разума» оно стало внушать беспокойство: в письмах появились жалобы на недомогание, быструю утомляемость. Перед глазами был удручающий пример рано одряхлевшего Мендельсона. Лекарствам Кант не доверял, считал их ядом для своей слабой нервной системы. Одно время он регулярно принимал средства, понижающие кислотность желудка, но, бросив их, почувствовал себя лучше. И вот на пороге старости Кант подчиняет свою жизнь строжайшему режиму, выработанному на основе продолжительного самонаблюдения и самовнушения. Это был уникальный гигиенический эксперимент, привлекающий к себе и по сей день пристальное внимание. Люди, далекие от философии Канта, изучают его образ жизни и его привычки.

Большой интерес к нему, в частности, проявлял советский писатель Михаил Зощенко. (В области психологии Зощенко вел исследовательскую работу, достигнутые им результаты высоко оценивал академик И. Павлов.)

В повести «Возвращенная молодость» Зощенко пишет о Канте: «Он в совершенстве изучил свое телесное устройство, свою машину, свой организм, и он наблюдал за ним, как химик наблюдает за каким-либо химическим соединением, добавляя туда то один, то другой элемент.

И это искусство сохранять жизнь, оберегать и продолжать ее основано на чистом разуме.

Силой разума и воли он прекращал целый ряд болезненных явлений, которые подчас у него начинались.

Ему удавалось даже, как утверждали биографы, приостанавливать в себе простуду и насморк.

Его здоровье было, так сказать, собственным, хорошо продуманным творчеством.

Психическую силу воли он считал верховным правителем тела.

Автор не считает идеалом такую жизнь, похожую на работу машины. Но все же надо сказать, что опыт Канта удался и продолжительная жизнь и громадная трудоспособность его блестяще это доказывают».

Кант оставил изложение своей «системы». (Речь в данном случае идет не о системе философии, а о системе здоровья.) Изложена она в работе «Спор факультетов», третья часть которой носит название «О способности духа побеждать болезни силой одного только намерения». Работа была опубликована в конце жизни, но уже в 1786 году в одной из речей он изложил суть дела: управляй своим организмом, иначе он будет управлять тобой!

Кант понимал, что его рецепты сугубо индивидуальны. («У каждого есть свой собственный способ быть здоровым, отступить от которого нельзя, не подвергая себя опасности», — заявлял он в одном из писем.) То, о чем он рассказывает, не образец для слепого подражания, это всего лишь пища для размышлений, повод выработать для себя свои нормы поведения. К тому же с точки зрения современной медицины ряд рекомендаций Канта не выдерживает критики.

Основное правило диететики (так Кант называет искусство предотвращать болезни в отличие от терапевтики — искусства их лечить) не щадить свои силы, не расслаблять их комфортом и праздностью. Неупражнение органа столь же пагубно, как и перенапряжение его. Девиз стойков «выдержка и воздержание» — вот чем надо руководствоваться не только в учении добродетели, но и в науке о здоровье.

Гигиеническая программа Канта несложна: 1) Держать в холоде голову, ноги и грудь. Мыть ноги в ледяной воде («дабы не ослабли кровеносные сосуды, удаленные от сердца»). 2) Меньше спать. «Постель — гнездо заболеваний». Спать только ночью, коротким и глубоким сном. Если сон не приходит сам, надо уметь его вызвать. На Канта магическое снотворное действие оказывало слово «Цицерон»; повторяя его про себя, он рассеивал мысли и быстро засыпал. 3) Больше двигаться: самому себя обслуживать, гулять в любую погоду.

Что касается питания, то Кант прежде всего рекомендует отказаться от жидкой пищи и по возможности ограничить питье. Сколько раз есть в течение дня? Поразительный ответ Канта нам уже известен — один! В зрелые годы можно (но не обязательно) умерить за обедом свой аппетит, с тем чтобы утолить его окончательно за ужином. Но в старости это определенно вредно: желудок еще не справился с первой порцией, а ему добавляют другую.

Вредно за едой (как и во время ходьбы) напряженно думать. Нельзя заставлять работать одновременно желудок и голову или ноги и голову. В первом случае развивается ипохондрия, во втором — головокружение. (Что такое ипохондрия, Кант великолепно знал: он с детства страдал этой «способностью мучить самого себя», когда жизнь не мила, когда находишь в своем организме все болезни, вычитанные в учебнике медицины. Здесь бессилён любой врач; излечивает только самообладание, это Кант тоже знал по собственному опыту.) Искусство диететики состоит в умелом чередовании механической нагрузки на желудок и ноги с нагрузкой духовной.

Если обедать одному, погрузившись в чтение или размышление, то возникнут болезненные ощущения, так как работа мозга отвлекает силы от желудка. То же самое, если думать при ходьбе. В этих случаях целеустремленная мысль должна уступить место «свободной игре силы воображения». Поэтому наш философ всегда обедал в обществе друзей.

Гулять, правда, Кант предпочитал без спутников: необходимость разговаривать на улице и, следовательно, открывать рот приводила к тому, что в организм попадал холодный воздух, который вызывал у философа ревматические боли. Правильному дыханию Кант уделял вообще большое внимание. Нам покажется тривиальным его настойчивый совет дышать носом, плотно сдвинув губы. Но для той эпохи это было, видимо, радикальным новшеством, ибо Кант подробно рассуждает на эту тему. Правильное дыхание спасает его от простуд, способствует хорошему сну и даже отгоняет жажду.

Могут вызвать улыбку рассуждения Канта о пользе холостяцкой жизни. Сам старый холостяк, философ уверяет, что неженатые или рано овдовевшие мужчины «дольше сохраняют моложавый вид», а лица семейные «несут печать ярма», что дает возможность предполагать долголетие первых по сравнению с последними. (Здесь у Канта нашлись оппоненты, которые опровергали его статистическими выкладками.)

И наконец, занятие философией (разумеется, не в качестве профессии, а любительским образом). Это великолепное духовное средство для преодоления разного рода недомоганий, своего рода «стимулятор настроения». Философия отвлекает от внешних обстоятельств, порождает духовную силу, которая восполняет наступающую с возрастом телесную немощь. Человек должен быть при деле; на худой конец, для «ограниченной головы» годится и любой суррогат деятельности. Например, некий старичок собрал коллекцию настольных часов, которые били друг за другом, но никогда одновременно и т. д. и т. п.

К лекарствам, как мы знаем, Кант относился отрицательно, остерегался их. Это не значит, конечно, что философ пренебрегал медициной. Напротив, он следил за ее успехами, проявляя к ним почти профессиональный интерес.

Над своей жизнью Кант не дрожал, страх смерти был ему неведом. Здоровье Канту требовалось только для работы, забота о нем была лишь осмотрительностью, необходимой для проведения удачного эксперимента. И опыт удался.

«Это был поразительный опыт, который закончился победой, — констатирует Зощенко. — Но тут крылась и ошибка, которая создавала из человека некое подобие машины для работы.

Можно создать любую привычку для тела, но нельзя забывать, что при частой повторности психика как бы усиливает эту привычку и доводит ее до крайности... Кант через двадцать лет уже приобрел свойства маньяка».

Зощенко как раз обеспокоен тем, чтобы устранить из жизни человека любую маниакальность, чтобы человек не превращал себя в машину (даже для думанья). Смысл жизни, говорит он, не в том, чтобы удовлетворять свои желания, а в том, чтобы иметь их (кстати, Кант держался того же мнения). И притом по возможности разносторонние. Зощенко здесь, безусловно, прав. Но он совершенно не прав, считая судьбу Канта трагической. «Трагична жизнь Ницше, Гоголя, Канта, которые вовсе не знали женщин». — читаем мы в «Возвращенной молодости». Кант с годами все больше убеждал себя, что ему повезло с безбрачием. Трагична сознательная преждевременная гибель или осознаваемая потеря чего-то чрезвычайно важного для жизни. Кант потерял только свои болезни, он прожил долгую жизнь, и именно такую, какую считал необходимой.

Глава пятая

ИСТИНА, ДОБРО И КРАСОТА

О смертном человеке пока еще никто не сказал более высоких слов, чем Кант, что и составляет содержание всей его философии: «Определи себя сам». Эта великая идея самоопределения светит нам, отражаясь в тех явлениях природы, которые мы называем красотой

Шиллер

В конце 80-х годов в философских воззрениях Канта происходит новый перелом. Оставаясь в целом на позициях критицизма, он уточняет (а порой решительно меняет) свои воззрения на ряд существенных для него проблем. В первую очередь это затрагивает проблему метафизики. В «Критике чистого разума» вопрос остался открытым. С одной стороны, Кант убедительно показал, что метафизика как теоретическая дисциплина невозможна. С другой — он декларировал программу создания новой метафизики как науки о сверхчувственных вещах — боге и бессмертии души. Любовь Канта к метафизике была слишком пылкой и длительной, чтобы разрыв произошел моментально и безболезненно.

В 1788 году стало известно, что Берлинская академия намеревается объявить конкурс на лучшее сочинение по теме «Какие действительные успехи сделала метафизика со времени Лейбница и Вольфа». Через несколько лет премией была увенчана работа старого вольфианца Шваба, утверждавшего, что никаких успехов метафизика не сделала, да в этом и нет необходимости.

Кант в конкурсе не участвовал, хотя трижды принимался за работу. Сохранившаяся рукопись красноречиво свидетельствует о его нынешнем отношении к метафизике. Кант настаивает на том, что за пределами чувственного опыта не может быть никакого теоретического познания. Чтобы придать понятию объективность, нужно подвести под него какое-либо созерцание. Поэтому теоретически мы не можем ничего узнать ни о боге, ни о свободе, ни о нашей душе (отделенной от тела). «Практически мы сами создали себе эти предметы», мы верим в них и ведем себя соответствующим образом. Метафизика сверхчувственного возможна только с «практически-догматической» точки зрения. А метафизику природы Кант представляет себе лишь как разработку понятийного аппарата естественных наук. Метафизика есть критика, поправка к здравому смыслу, и ничего более, — можно прочитать в черновиках.

За два года до того, как заговорили о берлинском конкурсе, он выпустил работу «Метафизические начала естествознания». Если в «Критике чистого разума», набрасывая

структуру своей будущей философии природы, Кант разделил ее на рациональную физику и рациональную психологию, то теперь природу души он не считает объектом научного познания. «В любом частном учении о природе можно найти науки в собственном смысле лишь столько, сколько имеется в ней математики». Душа не экстенсивная величина, описание душевных явлений не естествознание. Последнее имеет дело только с телами.

Изменение тела — движение; последнее и является предметом метафизического учения о природе. Перед Кантом встает вопрос о том, что можно узнать о движении априорно, доопытно с помощью одних чистых понятий. В соответствии с четырьмя видами категорий Кант рассматривает движение с точки зрения его количества, качества, отношения и модальности. Так возникает идея четырех наук о движении — «форонмии», где изучается проблема перемещения в пространстве, «динамики», рассматривающей движущие силы, «механики» — учения о взаимодействии движущихся тел и «феноменологии», применяющей к проблеме движения категории модальности (то есть возможности, действительности и необходимости). В кантовской философии естествознания современного читателя может привлечь идея относительности движения и покоя, отрицание физической реальности пустого пространства.

Перейдя на позиции критической философии, Кант не забывал об увлечениях молодости, о своей «первой любви» — естествознании. Он продолжал читать курсы физической географии и теоретической жизни. Сохранял интерес к астрономии и небесной механике: написал две статьи на эту тему («О вулканах на Луне» и «Нечто о влиянии Луны на погоду»), а в 1791 году поручил своему ученику Гензихену сделать извлечения из «Всеобщей истории и теории неба», которые с примечаниями, составленными по его указанию, увидели свет в виде приложения к книге английского астронома В. Гершеля «О строении неба». (В конце 90-х годов вышло еще пять изданий космогонической гипотезы Канта.)

Философ принимал посильное участие и в практической реализации научных открытий. С именем Канта связано сооружение в Кенигсберге первого громоотвода. История тянулась нескончаемо долго. Еще в 1774 году после того, как была отремонтирована разрушенная молнией Габербергская церковь, магистрат обратился в университет за советом, как избежать повторения беды. Вопрос передали на рассмотрение профессору физики Ройшу, с тем, чтобы он привлек компетентного специалиста — философа. Ройш выбрал Канта и вручил ему на отзыв свои соображения. Кант их одобрил. «То небольшое, на что мне хотелось бы обратить внимание, — писал он Ройшу, — состоит в следующем: отводное устройство должно предназначаться лишь для того, чтобы убирать с металлического покрытия башни материю стихии, а не для того, чтобы извлекать ее из грозových облаков. Поэтому его надлежит изготовить без заострения и прикрепить к штанге и медным листам наверху».

Дело о громоотводе обрастало бумагами, но вперед не двигалось. В результате молния снова ударила в башню. Отцы города снова обратились к ученым. Ройш написал новую докладную записку, от которой Кант был просто в восторге: «Это самое лучшее, что мне когда-либо в подобном роде приходилось читать как по подробному изложению, так и краткости, обоснованности и четкости».

Но магистрат не мог сразу решиться на нововведение. Был привлечен консультант из Гамбурга. Он внес свои дополнения к проекту Ройша («только затем, чтобы обращение к нему не выглядело совершенно излишним», — комментировал Кант). На факультет поступил новый запрос магистрата относительно предложений гамбургского консультанта. Долго дебатировали проблему заземления: делать ли его в грунте или вывести в соседний водоем. Приготовления продолжались десять лет. Только в 1784 году Габербергская церковь получила наконец свой штырь на крышу.

Менее успешной оказалась попытка внедрить на прусских фабриках новый тип ткацких машин. Иоганн Бэттигер создал станок более простой, чем существующие, но превышающий производительность труда в три раза. Провели испытания, результаты отправили в Берлин с просьбой наградить изобретателя, но столичные чиновники ответили, что достигнутый эффект невозможен. Кант пытался помочь изобретателю частным путем. Он обратился к знакомому берлинскому коммерсанту с письмом, в котором сулил миллионные барыши, «подъем промышленности, а с ним и благосостояние, за которым обычно следует более высокий образ

мышления». И опять ответ из Берлина был отрицательным. А в Англии в это время внедрялись куда более совершенные машины!

Главные интересы Канта лежали в собственно философской сфере. Когда для него выяснилась несостоятельность попытки заново построить разрушенное им здание умозрительной метафизики, он стал искать новые пути создания философской системы. Ибо в философии он ценил прежде всего систематичность — я сам был великим систематиком.

«Иные полагают, — читаем в черновиках, — что система относится только к изложению, но она принадлежит к объекту познания и мышлению... Иные полагают, что создают системы, но у них возникают лишь агрегаты. Для последних нужна лишь манера; система требует метода... Исторические знания можно приобрести без системы, до известной степени также и математические, но философские без системы никогда. Контур целого должен предшествовать частям».

Общие контуры учения сложились у него давно. Но системы пока еще не было. Конечно, обе первые «Критики» связаны определенным образом, в них развита одна и та же концепция. Но достигнутое единство между теоретическим и практическим разумом представлялось ему недостаточным. Не хватало какого-то важного опосредующего звена.

Система философии возникла у Канта лишь после того, как он обнаружил между природой и свободой своеобразный «третий мир» — мир красоты. Когда Кант создавал «Критику чистого разума», он считал, что эстетические проблемы невозможно осмыслить с общезначимых позиций. Принципы красоты носят эмпирический характер и, следовательно, не могут служить для установления всеобщих законов. Термином «эстетика» он обозначал тогда учение о чувственности, об идеальности пространства и времени. Но вот в 1787 году в письмах появляются упоминания о работе над «Критикой вкуса», а в конце года Кант сообщает Рейнгольду об открытии нового всеобщего принципа духовной деятельности, а именно «чувства удовольствия и неудовольствия». Теперь философская система Канта обретает более четкие контуры.

Он видит ее состоящей из трех частей в соответствии с тремя способностями человеческой психики: познавательной, оценочной («чувство удовольствия») и волевой («способность желания»). В «Критике чистого разума» и «Критике практического разума» изложены первая и третья составные части философской системы — теоретическая и практическая. Вторую, центральную Кант пока называет телеологией — учением о целесообразности. Затем телеология уступит свое место эстетике — учению о красоте. Задуманное произведение Кант намеревался окончить к весне 1788 года. Но работа опять затянулась. Потребовалось еще две весны и два лета, прежде чем рукопись ушла в типографию. Трактат получил название «Критика способности суждения».

Термин «способность суждения» нам знаком. В «Критике чистого разума» этим термином обозначалась одна из интуитивных познавательных способностей. Если рассудок устанавливает правила, то способность суждения дает умение пользоваться этими правилами в каждом отдельном случае; фактически это ум, смекалка. Судье, скажем, мало знать законы; если он их формально применяет, то может получиться «верно, да скверно», судить надо с умом, учитывая все обстоятельства дела. В фольклоре зафиксирован образ простофили, который действует стандартно, а поэтому постоянно попадает впросак. Кант сказал бы, что у простака не хватает *определяющей* способности суждения, так он называл умение применить общее к частному.

Теперь Кант размышляет над другим видом интуиции, который называет *рефлексивной* способностью суждения. Речь идет об отыскании по данному частному некоего неформального общего, не об абстрагировании общих признаков, — это дело рассудка. Если перед нами зеленый лист, то рассудок, сопоставляя его с другими листьями и рассматривая через призму категории всеобщности, с помощью продуктивного воображения вырабатывает понятие листа вообще. Применяя рефлексивную способность суждения, мы видим в данном листе часть растения, мы размышляем над тем, для чего он служит организму, мы задаемся вопросом о его целевом назначении. Учение о целях — телеология; поэтому Кант называет эту разновидность рефлексивной способности суждения — *телеологической*. Рядом он располагает *эстетическую*

способность суждения, исходя из того, что художественное переживание доставляет такое же удовольствие, как и обнаружение целесообразности.

Традиционная вольфианская телеология рассуждала о мудрости творца, целесообразно устроившего мир. Кант подходит к проблеме иначе. Целесообразность может быть без разумного целеполагания, наличие четкого взаимодействия, радующего глаз, не говорит еще о том, что кто-то умышленно создал это взаимодействие. Телеология для Канта не финализм, не подтверждение божественного миропорядка. В «Критике чистого разума» подобные вещи были отвергнуты раз и навсегда как ложные, отвлекающие от научного познания: вместо того чтобы открывать причины явлений, финалист ссылается на недоступные исследованию решения высшей мудрости.

Финализм — поле, на котором диалектика упражняется в остроумии, трудно сказать, кому здесь принадлежит приоритет. «Бог сотворил людей, дабы они были нам пищей». Такую тираду Вольтер вложил в уста мудрой блохи. А Кант предлагал на дело смотреть иначе: бытовые паразиты — побуждение к чистоте, которая, в свою очередь, предназначена для сохранения здоровья. Такого рода телеология вызывала лишь насмешки.

Телеология для Канта — принцип рассмотрения предмета, в первую очередь живого организма, где все целесообразно, то есть каждая часть необходимым образом связана с другой. Как будто некий интеллект устроил все это, задавшись определенной целью. В 1788 году Кант обнаружил в деятельности человека сферу, где результаты также представляют собой нечто органическое. Это искусство.

В журнале «Немецкий Меркурий» появилась статья Канта «О применении телеологических принципов в философии». Возникла она по полемическому поводу. Не успел Кант дать зарок не ввязываться в споры, как тут же нарушил его и ответил на критический выпад со стороны Георга Форстера, молодого, но уже прославившего себя натуралиста. Литературную известность Форстеру принесло описание кругосветного путешествия капитана Кука, в экспедиции которого ему довелось участвовать. В статье Канта о человеческих расах Форстер увидел посягательство философа на сферу естествознания. Кант утверждал: в опыте мы только тогда находим искомое, когда знаем, что нам искать. Форстер за чистый опыт, без принуждения, против того, чтобы на вещи смотреть через философские очки. В ответе Форстеру Кант уточнил свою мысль: «в чисто эмпирическом блуждании без руководящего принципа, в соответствии с которым следовало бы искать, никогда нельзя найти что-либо целесообразное». Что касается вопроса о расах, то Форстер признавал лишь две разновидности человеческого рода — белых и негров и отделял их друг от друга генетически, то есть считал, что Африка произвела своих людей, а Евразия — своих. Кант полагал, что существует по меньшей мере четыре расы, единые по своему происхождению. В статье против Форстера Кант сопоставлял природу с искусством. Там и здесь нужно видеть живое, органическое целое. Единый подход к живой природе и художественному творчеству на основе принципа целесообразности — одна из основных идей «Критики способности суждения». Это было новое слово в эстетике. До Канта сопоставляли природу с искусством, но каковы были результаты подобного сопоставления? Француз Робине, увлеченный идеей живого организма как особой системы, иронизировал: произведения искусства не растут; их создают по частям, каждая часть уже готова, когда ее присоединяют к другим частям; произведения искусства не производят себе подобных; еще никогда не приходилось наблюдать, чтобы какой-нибудь дом произвел другой дом.

Все это, конечно, верно, но Кант подметил и нечто другое: «При виде произведения изящного искусства надо сознавать, что это искусство, а не природа; но тем не менее целесообразность в форме этого произведения должна казаться столь свободной от всякой принудительности произвольных правил, как если бы оно было продуктом одной только природы».

Открытие Канта поразило умы современников. Гёте, не оценивший «Критики чистого разума», был в восторге от «Критики способности суждения». Это открытие сыграло двоякую роль в истории культуры. Прежде всего здесь была поставлена проблема художественного творчества. Робине, безусловно, был прав, утверждая, что организм появляется на свет сразу как нечто целое, а произведение искусства рождается по частям — одна часть уже готова, другие существуют только в замысле художника. Но окончательный результат живет как организм. Тут

недопустимо произвольное вмешательство. Феномен красоты гибнет от неумелой руки, нарушающей созданную художником гармонию, «целесообразность».

Во времена Канта трудно было оценить другую сторону дела — эстетически осмысленный подход к природе, которому философ придавал огромное значение. «Я утверждаю, что питать непосредственный интерес к красоте природы (а не только обладать вкусом, чтобы судить о ней) всегда есть признак доброй души». Этот интерес к красоте природы интеллектуален, нас радует не только форма предмета природы, а сам факт его существования. Причем Кант предупреждал: «Грядущие века все больше будут удаляться от природы». В те времена было еще совершенно неясно, что это значит. Лишь в наши дни взгляд Канта на окружающую среду как на гармоническое, художественное целое приобрел мировоззренческое значение. Природа — своего рода произведение искусства. Как нельзя вторгаться в жизнь художественного организма, так нельзя нарушать гармонию природы, сложившееся в ней целесообразное равновесие.

Телеология Канта — это не теология, но и не естествознание: с ее помощью философ не отыскивает бога в природе, но и не открывает законов, ею управляющих, в центре его рассмотрения по-прежнему человек. Только человек может ставить перед собой сознательные цели, в результате возникает мир культуры. Телеология Канта перерастает в теорию культуры.

Среди черновиков Канта (относящихся к середине 80-х годов) находится любопытный фрагмент, озаглавленный «Характер человеческого рода». Философ ставит вопросы и отвечает на них. «Каково природное назначение человека? Высшая культура. Какое состояние делает это возможным? Гражданское общество. Какие рычаги? Необщительность и соперничество. Труд».

Кант рассматривает два типа культуры — «культуру умения» и «культуру воспитания». Первая необходима для достижения целей, но ее недостаточно для их выбора, только вторая освобождает волю от «деспотизма вожеланий», от прикованности к вещам. Культура в широком смысле слова охватывает все, что противостоит природе, что сотворено людьми, но она безразлична к судьбе человека. Она порождает антагонизмы и движется вперед их силой; неравенство — ее механизм; одни держат в угнетении других, оставляя на долю большинства тяжелый труд и скудные удовольствия. Кант чутко фиксирует ситуацию «отчуждения»; не пользуясь этим термином, он показывает противоречивое влияние частной собственности и разделения труда на судьбу общества. Здесь и прогресс и деградация. Этот внешний, «технический» тип культуры Кант называет также цивилизацией. Ему он противопоставляет более узкую сферу, которую называет «культурой воспитания», сферу безусловной моральности. Развиваются обе сферы, но культура явно отстает от цивилизации. Кант не теряет надежды, что первая все же когда-нибудь догонит вторую. Иначе беда.

Культура по своей структуре органична, человек в ней выступает не только как средство, но и как цель. Здесь проявляет себя принцип «субъективной целесообразности», индикатором которого служит «чувство удовольствия и неудовольствия». Этот кантовский термин сегодня представляется неудачным: перед глазами современного читателя маячит фрейдистский «принцип удовольствия», олицетворяющий животную жажду наслаждения. Кант имел в виду другое. Удовольствие удовольствию рознь. Кант различает патологическое и моральное удовольствие. Последнее для него равнозначно понятию культуры. Другими словами, чувство «удовольствия и неудовольствия» означает, выражаясь современным языком, ценностную эмоцию. На этом чувстве, на этой эмоции основана эстетическая способность суждения (художественная интуиция), создающая искусство в качестве среднего члена между свободой и природой.

«Субъективная целесообразность» — принцип эстетики, а не телеологии, последняя (даже в кантовском понимании) опирается на объективную целесообразность, совершенство предмета. Объективная целесообразность связана с удовольствием лишь косвенным образом. Конечно, приятно увидеть осуществление любого разумного намерения. Но одно дело чужое, «объективное» намерение (неизвестной нам силы, создавшей природу), а другое наше, «субъективное», человеческое намерение, которое лежит в основе творческой культуры.

В ходе работы над «Критикой способности суждения» Кант все более сужал сферу телеологии, лишал ее самостоятельной роли, ее функции как центрального звена системы

переходили к эстетике. Телеология у Канта фиксирует специфику предмета и границы его познания: объективная целесообразность налицо, но суть ее непостижима, незачем строить здесь иллюзорные гипотезы. Телеология в этом плане аналогична теоретическому разуму, который с неизбежностью наталкивается на противоречия, пытаясь проникнуть в сущность вещей самих по себе. И телеология, и теоретический разум выполняют регулятивную функцию. Конститутивную (то есть конструктивную) роль разум играет в области поведения человека, нравственности. В области познания конститутивную функцию осуществляет рассудок. В сфере «способности суждения» конститутивна эстетическая оценка, родственная телеологической и в то же время противоположная ей.

Кант пришел к постановке эстетических проблем, отправляясь не от размышлений над природой искусства, а от стремления довести до полноты свою философскую систему. Полученный результат схематически выглядел следующим образом:

<i>Способности души</i>	<i>Познавательные способности</i>	<i>Априорные принципы</i>	<i>Применение их к</i>
Познавательная способность	Рассудок	Закономерность	Природе
Чувство удовольствия и неудовольствия	Способность к суждению	Целесообразность	Искусству
Способность желания	Разум	Конечная цель	Свободе

На схеме философская система Канта представлена в ее окончательном виде. Способности суждения отведено промежуточное место между рассудком и разумом. И сам Кант недвусмысленно говорит о критике способности суждения как средстве, «связующем обе части философии в одно целое». Так озаглавлен соответствующий раздел введения к третьей «Критике». Кант пришел к своеобразному преодолению дуализма науки и нравственности путем апелляции к художественным потенциям человека. Формула философской системы Канта — истина, добро и красота, взятые в их единстве, замкнутые на человеке, его культурном творчестве, которое направляет художественная интуиция.

Кант видит в эстетике «пропедевтику всякой философии». Это значит, что систематическое изучение философии следует начинать с теории красоты, тогда полнее раскроется добро и истина. Знакомство с третьей «Критикой» должно предшествовать чтению первых двух.

* * *

Обратимся теперь к самой эстетике Канта. Его предшественники — англичане Шефтсбери и Хатчесон подчеркнули специфичность эстетического, его несводимость ни к знанию, ни к морали. Кант отстаивает этот тезис. Но рядом выдвигает антитезис: именно эстетическое есть средний член между истиной и добром, именно здесь встречаются и сливаются воедино теория и практика.

Само эстетическое не монолит. У него две ипостаси, два лица. Одно обращено преимущественно к знанию — прекрасное, другое преимущественно к морали — возвышенное. Кантовский анализ основных эстетических категорий ограничивается рассмотрением прекрасного и возвышенного (о комическом он рассуждает вскользь, трагического вообще не касается). И это тоже показательно: Канта интересует не столько эстетика как таковая, сколько ее опосредующая роль; прекрасного и возвышенного ему вполне достаточно для решения вставшей перед ним задачи.

Аналитика прекрасного строится в соответствии с известной нам классификацией суждений по четырем признакам — качеству, количеству, отношению, модальности. Первая

дефиниция звучит односторонне: прекрасно то, что нравится, не вызывая интереса. Оценка приятного возникает в ощущении и связана с интересом. Доброе мы оцениваем при помощи понятий, благоволение к нему также связано с интересом. Оценка красоты свободна от интереса чувств и разума. Канту надо развеять рационалистические и утилитаристские построения, поэтому он столь категоричен в формулировках. Взятые в их односторонности, они лежат в основе многих формалистических теорий искусства. На них преимущественно обращают свое внимание и критики Канта.

Но уже вторая дефиниция прекрасного намечает более широкий подход к проблеме. Речь идет о количественной характеристике эстетического суждения. Здесь выдвигается требование всеобщности суждения вкуса. «Прекрасно то, что всем нравится без посредства понятия». Но если нет понятия, то откуда всеобщность? Ведь чувство индивидуально, оно лежит в основе наслаждения, а на всеобщность не претендует. Оказывается, удовольствие от прекрасного производно от «свободной игры» познавательных способностей — воображения и рассудка; отсюда «субъективная всеобщность» красоты.

Несколько лет назад грузинский философ А. Бочоришвили обратил внимание на то, что в русском переводе «Критики способности суждения» имеется ошибка, сбивающая с толку. В русском тексте стоит: «Вкус есть способность судить... на основании удовольствия. Предмет такого удовольствия называется прекрасным». На самом деле у Канта здесь речь идет не об «удовольствии» (Lust), а о благожелательной оценке, симпатии (Wohlgefallen). Для Канта различие этих терминов имеет принципиальное значение. Что предшествует чему, так ставится им вопрос: удовольствие оценке или наоборот. Решение этой задачи, по его словам, «ключ к критике вкуса».

Если первично удовольствие, то проблема всеобщности снимается: удовольствие нельзя передать другому. «Ничто не может быть сообщено всем, кроме познания». Понятий в нашем распоряжении здесь нет. Зато мы располагаем неким «душевым состоянием», которое можно соотнести с «познанием вообще». Это состояние «свободной игры познавательных способностей». В результате «без наличия определенного понятия» благодаря свободной игре воображения и рассудка возникает благожелательная оценка, которая предшествует чувству удовольствия, порождает его и придает эстетическому суждению всеобщий характер.

Здесь перед нами действительно «ключ» проблемы, одно из замечательных открытий Канта. Он открыл опосредованный характер восприятия прекрасного. До него считалось (а многие продолжают думать так и теперь), что красота дается человеку непосредственно при помощи чувств. Достаточно просто быть чутким к красоте, обладать эстетическим чувством. Между тем, само «эстетическое чувство» — сложная интеллектуальная способность. Еще древние заметили, что возможна сверхчувственная красота. Чтобы насладиться красотой предмета, надо уметь оценить его достоинства. Иногда это происходит «сразу», а иногда требует времени и интеллектуальных усилий. Чем сложнее предмет, тем сложнее, тем специфичнее его эстетическая оценка. Научная красота только для специалиста. Чтобы понять красоту математической формулы, нужно обладать художественной культурой, но прежде всего — знать математику. Всеобщность эстетического суждения состоит не в непосредственной общедоступности, а в «сообщаемости», в том, что, затратив силы и время, любой человек может до него добраться. Кстати, и сама художественная культура не всегда дается от рождения, чаще воспитывается.

Достоинно внимания и понятие «свободная игра», которое Кант решительнее, чем кто-либо другой до него, ввел в эстетику и которому суждено было занять в ней одно из центральных мест. Любая игра «поощряет чувство здоровья», повышает «всю жизнедеятельность», освежает «душевую организацию». Игра непринужденна. Игра развивает общительность и воображение, без которого невозможно познание.

А как мы сегодня смотрим на проблему игры? Бодрствующий живой организм не может находиться в пассивном состоянии. Когда его активность не направлена на воспроизводство жизни, она обращена на самое себя. Это и есть игра, — деятельность как таковая, без постороннего результата, но по определенным правилам. Игра содержит в себе противоречие: играющий все время пребывает в двух сферах — условной и действительной. Уменьше играть заключается в овладении двуплановостью поведения. В искусстве — та же двуплановость. При

самой правдоподобной картине действительности зритель (или читатель) ни на секунду не забывает, что перед ним все же условный мир. Когда человек теряет из виду один из планов искусства, он оказывается вне сферы его действия. Наслаждение искусством — соучастие в игре. Кант проник в самую суть проблемы.

Еще ближе к познанию придвигает нас третье определение прекрасного: «Красота — это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели». Здесь особенно важны сопутствующие этому определению оговорки. Кант наряду с «чистой» красотой вводит понятие красоты «сопутствующей». Пример первой — цветы, пример второй — красота человека, здания и т. д. Сопутствующая красота предполагает «понятие цели, которое определяет, чем должна быть вещь». Это уже антитезис.

Может быть, «сопутствующая» красота представляет собой нечто менее ценное, низшую ступень прекрасного? Скорее наоборот. Оказывается, только в сфере «сопутствующей» красоты реализуется эстетический идеал. Нельзя представить себе идеал красивых цветов. Идеал красоты, по Канту, состоит в «выражении нравственного». А один из заключительных выводов эстетики Канта гласит: «Прекрасное есть символ нравственно доброго». Так мы оказываемся в сфере поведения человека.

Далее Кант вовлекает нас в сферу знания. Причем речь идет о самом низшем — эмпирическом знании. Помимо идеала красоты, Кант устанавливает «идею нормы» — своего рода идеальное воплощение внешнего облика. Норма красоты — средняя величина для данного класса явления. Вы хотите увидеть силуэт красивого мужчины, возьмите тысячу изображений, наложите их друг на друга, наиболее затемненная часть может служить эталоном. Его можно и просто вычислить, найдя средние показатели размеров тех или иных частей тела. И хотя Кант оговаривается, что нет необходимости прибегать к реальным обмерам, что можно вполне положиться на динамическую силу воображения, он все же остается в пределах механического понимания проблемы. За что неоднократно и справедливо подвергался критике. (Он учел ее и в одной из поздних работ внес уточнение: средней меры недостаточно, «для красоты требуется нечто характерное».) Нас в данном контексте интересует другое: логика рассуждений Канта через проблему человека привела его эстетику в еще более тесное соприкосновение с познанием.

Что касается четвертого определения прекрасного — «прекрасно то, что познается без посредства понятия как предмет необходимого благоволения», — то здесь мы не узнаем ничего принципиально нового. Суждение вкуса обязательно для всех. Почему? Условие необходимости, которую предполагает суждение вкуса, есть идея «общего чувства», базирующегося на известной уже нам «свободной игре познавательных сил». Прекрасное вызывает интерес только в обществе, это средство общения и показатель общительности.

Все рассмотренные четыре определения красоты суммируются в одном. «Красотой вообще (все равно, будет ли она красотой в природе или красотой в искусстве) можно назвать выражение эстетических идей». Идея — знакомое слово, мы сталкивались с ним, знакомясь с гносеологией Канта. Идея разума — это такое понятие, которому не может быть адекватным никакое созерцание, представление. Эстетическая идея есть представление, которое «дает повод много думать», но которому не может быть адекватным никакое понятие. («И, следовательно, никакой язык не в состоянии полностью постигнуть его».) Красота у Канта немислима без истины, но это различные вещи.

Более отчетливо, чем в аналитике прекрасного, опосредующая роль эстетики видна в аналитике возвышенного. Начать с того, что, по Канту, красота «сама по себе составляет предмет удовольствия», а удовольствие от возвышенного без «умствования» вообще невозможно. «Возвышенное в собственном смысле слова не может содержаться ни в какой чувственной форме, а касается только идей разума».

Сопоставляя возвышенное с прекрасным, Кант отмечает, что последнее всегда связано с четкой формой, первое же без труда можно обнаружить и в бесформенном предмете. Удовольствие от возвышенного носит косвенный характер, здесь уже не «игра», а «серьезное занятие воображения», прекрасное привлекает, возвышенное привлекает и отталкивает.

Основание для прекрасного «мы должны искать вне нас, для возвышенного — только в нас и в образе мыслей». Что же такое возвышенное?

Сначала Кант дает чисто формальное определение: возвышенно то, в сравнении с чем все другое мало, но тут же подкрепляет его содержательным антитезисом: чувство возвышенного требует «расположения души, подобного расположению к моральному». Ход рассуждений следующий: восприятие возвышенного всегда связано с определенного рода волнением, которое возникает при созерцании предметов, размеры или сила которых превосходят привычные нам масштабы. «Чем страшнее их вид, тем приятнее смотреть на них, если только мы сами находимся в безопасности; и эти предметы мы охотно называем возвышенными, потому что они увеличивают душевную силу сверх обычного и позволяют обнаружить в себе совершенно другого рода способность к сопротивлению, которая дает нам мужество помериться силами с кажущимся всемогуществом природы».

Возвышенное — нарушение привычной меры, вместе с тем в нем есть своя мера. Кант приводит рассказ французского генерала Савари, побывавшего с Бонапартом в Египте, о том, что пирамиды следует рассматривать с вполне определенного расстояния. Издалека они не производят впечатления, которое пропадает и в том случае, если вы подошли слишком близко и ваш глаз не в состоянии охватить их как целое.

Возвышенное — это возвышающее; бесстрашное отношение к страшному, преодоление страха и моральное удовлетворение по этому поводу. Шиллер, комментируя Канта, строит здесь четкую триаду: «В представлении возвышенного мы различаем три составные части. Во-первых, явление природы, как силу; во-вторых, отношение этой силы к нашей физической способности сопротивления; в-третьих, отношение ее к нашей моральной личности. Таким образом возвышенное есть действие трех последовательных представлений: 1) объективной физической силы; 2) нашего объективного физического бессилия; 3) нашего субъективного морального превосходства».

Так возвышенное оказывается мерилем нравственности. Прежде всего в чувствах человека, в их крайнем напряжении — аффектах. В соединении с идеей доброго аффект — это энтузиазм, без которого «не может быть достигнуто ничего великого». (Эту фразу потом повторит Гегель.) Но отсутствие аффектов тоже может быть возвышенным «и притом в превосходной степени, так как оно имеет на своей стороне и удовольствие чистого разума».

Суждение о возвышенном требует культуры, притом в большей степени, чем суждение о прекрасном. И развитого воображения. (Если прекрасное соотносит воображение с рассудком, то в восприятии возвышенного воображение соотносено с разумом — законодателем поведения.)

Вот почему не следует опасаться, что чувство возвышенного уменьшится от соприкосновения с отвлеченным предметом. Воображение может восполнить недостаток наглядности. И даже превзойти любую наглядность. Нет более возвышенного места в Библии, чем заповедь: не сотвори себе кумира. Фетиш парализует силы, принижает. «Поэтому властители охотно позволяли, чтобы религия была снабжена подобными приправами, и таким образом пытались избавить подданного от труда, а вместе с тем лишить его способности расширить свои душевные силы за те пределы, которые можно ему поставить произвольно и при помощи которых с ним как с совсем пассивным существом легче обращаться».

Возвышенное, первоначально рассматриваемое Кантом в узких, чисто количественных рамках, пройдя через купель нравственности, обретает для человека безграничные духовные потенции. Наличие морального закона в каждом из нас создает условия общего для людей наслаждения возвышенным.

Кант расчленил эстетическое на две составные части — прекрасное и возвышенное, он показал связь каждой из этих частей с сопредельными способностями пси-кики. В заключение он снова говорит об эстетическом суждении как о целом. И еще раз сталкивает два противоположных определения. На этот раз в виде открытой антиномии — двух взаимоисключающих высказываний. *Тезис*: Суждение вкуса не основывается на понятиях, иначе можно было бы о нем дискутировать. *Антитезис*: Суждения вкуса основываются на понятиях, иначе о них нельзя было бы спорить.

На синтез, как всегда, Кант сразу отважиться не может. Столкнув лбами две бесспорные истины, он не пытается найти формулу, их объединяющую, а тут же разводит их в разные стороны, поясняя: термин «понятие» употреблен здесь не в одинаковом смысле. В первом случае понятие берется как продукт рассудка, во втором как продукт разума. Противоречие Кант выдает за мнимое, но определенный результат им все же достигнут: эстетическая способность суждения в целом прямо и непосредственно связана с разумом — законодателем нравственности. Что касается связи эстетической способности с рассудком — законодателем знания, то, отвергая ее в непосредственном виде, Кант утверждает ее косвенным путем. Эстетическая идея «оживляет» познавательные способности. «В применении к познанию воображение подчинено рассудку и ограничено необходимостью соответствовать его понятиям, а в эстетическом отношении, наоборот, оно свободно давать помимо указанной согласованности с понятиями... богатый содержанием, хотя и неразвитый материал для рассудка». Формула синтеза найдена.

Теперь все расставлено по своим местам. Каждая сфера духовной деятельности человека обрисована, ограждена в своей специфичности, но вместе с тем прорыты каналы, идущие от одной из них к другой и сливающиеся в некоем центре. Истина, добро и красота поняты в их своеобразии и сведены воедино. За хитросплетением дефиниций скрывалась реальная диалектика.

Единство истины, добра и красоты находит дополнительное обоснование в учении об искусстве. В эстетике Канта, развернутой в сторону общефилософских проблем, искусству отведено сравнительно небольшое, хотя и достаточно важное место. Все отмеченные выше особенности эстетического проявляют себя здесь в полной мере. Границы искусства зыбки, но все же их можно прочертить с достаточной определенностью. Это не природа (а «созидание через свободу»). Это не наука. («К искусству относится только то, даже совершеннейшее знание чего не дает еще умения сделать это»). Это не ремесло. «Но не будет лишним отметить, что во всех свободных искусствах все же требуется некоторый механизм, без чего дух, который в искусстве должен быть свободным и единственно который оживляет произведение, был бы лишен тела и совершенно улетучился». Оговорки и здесь сопутствуют определениям, не давая им окостенеть и потерять смысл.

Искусство, по Канту, может быть механическим (если оно реализует познание) и эстетическим. Последнее, в свою очередь, делится на приятное и изящное. Приятные искусства предназначены для наслаждения, развлечения и времяпрепровождения (например, искусство «молоть всякий вздор», сюда же относится сервировка стола). Изящные искусства содействуют «культуре способностей души», они дают особое «удовольствие рефлексии», приближая сферу эстетического к сфере познания.

Кантовская дихотомия искусства на этом не ограничивается. Кант (одним из первых в истории эстетики) дает классификацию изящных искусств. Основанием для деления служит способ выражения эстетических идей, то есть красоты. Различные виды искусства — это различные виды красоты. Может быть красота мысли и красота созерцания. Во втором случае материалом художника служит либо содержание, либо форма. В результате перед нами три вида изящных искусств — словесное, изобразительное и искусство игры ощущений.

Словесные искусства — это красноречие и поэзия. Последнюю Кант считает высшей формой художественного творчества. «Она расширяет душу, давая свободу воображению и в пределах данного понятия из бесконечного многообразия возможных согласующихся с ним форм, предлагая форму, сочетающую изображение понятия с таким богатством мыслей, которому не может быть адекватно ни одно выражение в языке. Она укрепляет душу, давая ей почувствовать свою свободную, самостоятельную и независимую от обусловленности природы способность — рассматривать природу как явление в соответствии со взглядами, которые сама природа не дает в опыте, и таким образом пользоваться природой ради сверхчувственного». Сказано несколько мудрено, но мысль простая: значение поэзии в том, что она совершенствует наши и интеллектуальные, и моральные потенции, играя мыслями, она выходит за пределы понятийных средств выражения и тренирует тем самым ум; она возвышает, показывая, что человек не просто часть природы, но создатель мира свободы. «Поэзия играет видимостью, которую порождает по своему усмотрению, не вводя, однако, в заблуждение, так как само свое

занятие она провозглашает лишь игрой, которая тем не менее может быть целесообразно применена рассудком для его дела». Кто после того решится утверждать, что Кант отрывает искусство от познания? Единственное, чего он не делает, — не ставит знака равенства между искусством и познанием.

Изобразительные искусства включают в себя искусство чувственной истины (пластику) и искусство чувственной видимости (живопись). К пластике относятся вапняное и зодчество. Первое телесно воспроизводит понятия о вещах, как они могли бы существовать в природе, второе имеет определяющим основанием не природу, а произвольную цель. В зодчестве главное — использование предмета, порожденного искусством, и это ограничивает действие эстетических идей. К зодчеству Кант относит и прикладное искусство. Хотя Кант определил скульптуру как искусство чувственной истины, он все же предостерегает от чрезмерности: чувственная истина не должна доходить до того, чтобы произведение перестало казаться искусством. Живопись Кант делит на искусство прекрасного изображения природы и искусство изящной компоновки продуктов природы — собственно живопись и декоративное садоводство. Графику Кант не выделяет в самостоятельный вид искусства, для него это составная (и притом главная) часть живописи, в основе картины лежит рисунок.

Искусство изящной игры ощущений опирается на слух и зрение. Это игра звуков и игра красок. (Принципиальная разница между тем и другим Канту известна.) По силе возбуждения и душевного волнения музыку Кант ставит на второе место после поэзии. Но в отличие от поэзии впечатление от музыки мимолетно: для размышлений музыка не оставляет места, «по суду разума она имеет меньше ценности, чем всякое изящное искусство». По мнению Канта, музыке «не хватает вежливости», поскольку она «распространяет свое влияние дальше, чем требуется», музыка как бы навязывает себя, заставляя слушать тех, кто этого, может быть, и не хочет, и в результате «ущемляет свободу других». Особенно Канта раздражает громкое пение духовных песен: этим (обычно фарисейским) благочестием причиняют большое неудобство, «заставляя соседей или подпевать, или отвлекаться от собственных мыслей». Эта тирада — отзвук той борьбы, которую Кант вел за тишину в своем доме.

Сочетание основных видов искусства дает новые виды художественного творчества. Красноречие в сочетании с живописью — драму, поэзия в сочетании с музыкой — пение, пение в сочетании с музыкой — оперу и т. д.

Разбирая теорию познания Канта, мы утверждали, что он не формалист. Таким он остается и в эстетике. Чтобы постигнуть это, надо только не вырывать отдельные фразы из контекста, не рассматривать тезис в отрыве от антитезиса. Вот, например, выдвигается, казалось бы, категорическое утверждение: «Во всяком изящном искусстве главное — форма...» Можно было бы оборвать фразу и успокоиться, но все дело в том, что вслед за этим утверждением в пределах одной и той же фразы следует пояснение: «...когда важно только наслаждение, которое притупляет дух и постепенно делает предмет противным, а душу недовольной собой». Вывод недвусмыслен: «Такова в конце концов судьба изящных искусств, если их так или иначе не связывают с моральными идеями, единственно которые и вызывают самостоятельное удовольствие».

Когда Кант говорит, что искусство может прекрасно описывать «вещи, которые в природе безобразны», то речь идет не о любовании безобразным, не о чисто формальном мастерстве. «Ужасы, болезни, опустошения, вызванные войной, могут быть прекрасно описаны как нечто вредное». Главным оказывается не форма, а содержание, позиция художника, его приговор над жизнью.

Для суждения о произведении искусства нужен вкус, для их создания требуется гений. Способности души, сочетание которых образуют гений, — воображение и рассудок. Здесь нет ничего сверхъестественного, мистического, есть лишь уникальность силы и своеобразия. Четыре признака характеризуют «гений»: 1) это способность создавать то, для чего не может быть дано никакого правила, 2) созданное произведение должно быть образцовым, 3) автор не может объяснить другим, как возникает его произведение, 4) «сфера гения» не наука, а искусство. В научной области, утверждает Кант, величайший изобретатель отличается от тонкого подражателя и ученика только по степени, тогда как от того, кого природа наделила способностью к изящным искусствам, он отличается специфически. Вполне возможно изучить

все, что Ньютон изложил в своем бессмертном труде о началах натуральной философии, но нельзя научиться вдохновенно сочинять стихи. Никакой Гомер не сможет показать, как появляются и соединяются в его голове идеи, полные фантазии и вместе с тем богатые мыслями, потому что он сам не знает этого.

Что говорит нам сегодня эстетика Канта? Какие ставит проблемы? Куда указывает пути? Чтобы ответ прозвучал весомее, отвлечемся на минуту в сторону. Эстетика Канта — это не только Иммануил Кант, это также и Фридрих Шиллер.

Его имя мы уже упоминали. О Шиллере говорят, что он стал кантианцем прежде, чем прочитал Канта. Действительно, откроем диссертацию выпускника медицинского факультета Штутгартской академии «О связи между животной и духовной природой человека». Многие философы утверждают, пишет Шиллер, что тело как бы темница духа, что оно задерживает полет к совершенству. Другие, наоборот, настаивают на том, что как раз улучшение телесного существа ведет к все большему духовному совершенству. «Мне кажется, что обе стороны высказываются тут одинаково односторонне». И Шиллер мечтает установить «равновесие между двумя этими системами, чтобы уверенно вступить на среднюю линию истины». Это написано за год до появления «Критики чистого разума».

Средняя линия истины! Придерживаясь ее, Шиллер идет прямым путем, ведущим к Канту. В диссертации Шиллера можно обнаружить намеки на ту критику эпикурейцев и стоиков, которая будет осуществлена в этических исследованиях Канта, а в основе драмы «Разбойники» лежит будущая кантовская концепция права: разбоем нельзя установить правопорядок.

Знакомство с работами Канта произошло в середине 80-х годов. Поэт становится философом — поклонником, популяризатором, продолжателем Канта. Своей системы Шиллер не создал, но в историю философии вошел. Его имя называют сразу после имени Канта, особенно когда речь заходит о философии искусства.

«Для распространения своих идей я всегда мечтал найти поэтическую натуру, которая обладала бы способностью создать живую картину, соответствующую чистым понятиям рассудка, но не надеялся на это, так как талант, соединяющий школьную точность в определении понятий с блистательной популярностью, которую дает сила воображения, попадает столь редко, что нельзя рассчитывать на быструю встречу с ним». Эти слова Канта обращены к поэту Фридриху Боутервеку, который взялся за чтение лекций по критической философии. Их больше заслужил поэт Фридрих Шиллер.

«Письма об эстетическом воспитании человека» Шиллера, как признает их автор, «покоятся на Кантовых принципах». Кант прочел их и назвал «превосходными». Это одно из самых блистательных произведений в истории эстетики.

Исходный тезис звучит решительно: «Только путем красоты можно достичь свободы». (Русский читатель не может не вспомнить Достоевского — «Мир спасет красота», совпадение, как мы увидим далее, не случайно.) Что имел в виду Шиллер?

Поэт разделяет кантовскую концепцию противоречивого развития культуры. Он еще решительнее подчеркивает, что человечество идет к совершенству, в то время как узы цивилизации «стискивают нас все страшнее», и только «равновесие зла» ставит этому некоторые пределы. Орудие прогресса — антагонизм, разделение людей, их труда, их способностей. «Сколько бы ни выигрывал мир как целое от раздельного развития человеческих сил, все же нельзя отрицать того, что индивиды, затронутые им, страдают под гнетом этой мировой цели. Гимнастические упражнения, правда, создают атлетическое тело, но красоту — лишь свободная и равномерная игра членов. Точно так же напряжение отдельных духовных сил может производить необычайных людей, но только равномерное их сочетание — людей счастливых и совершенных». Другими словами, разделение труда, самоограничение в узкой области делает из человека мастера, но одновременно порождает и то, что сегодня называется «профессиональным кретинизмом», — потерю гармонии.

Восстановить ее призвано искусство. Художник — дитя века, но горе ему, если он становится баловнем века. И Шиллер поучает художника: «Живи со своим веком, но не будь его

творением; служи своим современникам, но тем, в чем они нуждаются, а не тем, что они хвалят». Люди нуждаются в воспитании. Художник может и должен воспитывать красотой.

Красота соответствует сокровенной природе человека. Красота двойственна, как сам человек. Еще будучи медиком, Шиллер пришел к выводу, что человек «не исключительно материален и не исключительно духовен»; став поэтом и философом, он утвердился в этом мнении. Аналогичным образом, полагал он, дело обстоит и с красотой. Она и материальна, и духовна, и объективна, и субъективна, сама жизнь и ее образ. Суть красоты — игра. Здесь та же двойственность; реальное сливается с условным. Шиллер усвоил идею Канта.

Разумеется, речь идет не об азартной игре, где превалирует материальный интерес, где кипят низменные страсти. Подлинная игра — самоцель, это свободное деяние, в котором проявляется природа человека как творца, созидателя культуры. Таковы были Олимпийские игры Древней Греции, их противоположность — римские бои гладиаторов. «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет».

Говоря об эстетическом воспитании, Шиллер имеет в виду не только формирование способности понимать искусство: хороший вкус — всего лишь один из компонентов личности. И не о воспитании нравственных качеств путем демонстрации готовых художественных образцов печется он: это дело малоперспективное. Связь между красотой и нравственностью носит опосредованный характер. Прямое подражание идет помимо интеллекта и эстетического переживания.

Эстетическое воспитание предполагает формирование всесторонне развитой личности, «целостного человека», способного не только к потреблению, но и к творчеству. Пусть возможности творчества ограничены, неважно: глобальные масштабы для истины, добра и красоты необязательны. Красота при этом лишь подготавливает условия для деятельности. Шиллер, назвавший красоту «нашей второй созидательницей», тут же отверг прямую связь ее с поведением и познанием. «Я с очевидностью доказал, что красота ничего не дает ни рассудку, ни воле, что красота не вмешивается в дело мышления и решения, что красота лишь делает человека способным к должному пользованию тем и другим, но нисколько не предрешает этого пользования».

Нельзя полагаться на то, что преступник исправится, прочитав назидательный роман. Решения научной проблемы не следует искать в художественном произведении. Прямой связи нет. Но Шиллер прав, подчеркивая значение косвенной связи. На страницах художественных произведений возникали нравственные идеи, которые затем становились нормой поведения. Эстетический идеал не раз перерастал в общественный: чувство гармонии требовало гармонии социальной.

В сфере эстетического лежат импульсы к творчеству не только практическому, но и теоретическому. Крупнейшие ученые современности свидетельствуют о том, что в ходе научного открытия важнейшую роль играет интуитивное озарение, опирающееся целиком на эстетическое чувство. Важно здесь и другое: в красоте не только стимулы к творчеству, но и необходимость осмыслить его предназначение. Вплоть до последнего времени наука не задумывалась над последствиями. Каждое приращение знания рассматривалось как благо и было заранее оправдано. После Хиросимы ситуация изменилась: встала проблема моральной ценности научного открытия, которое в условиях социальных антагонизмов может быть использовано во вред человечеству. Оказалось, что истина не существует вне добра, вне ценностных критериев. Эстетически развитому человеку они открываются полнее. В повестку дня встало новое понимание истины, которое выросло на почве кантовской философии, но вышло за ее пределы. Истина не просто достоверное знание, а нечто большее. Не только совпадение знания с предметом, но и предмета с познанием. Мы говорим, например, об истинном друге и понимаем под этим человека, поведение которого соответствует понятию дружбы. Истина предметна, ее нужно не только узнать, но и осуществить. Нужно создать предметный мир, соответствующий нашим понятиям о нем, нашим моральным и эстетическим потребностям. Такое понимание истины открывает более тесные связи ее с красотой и добром, превращая их единство в тождество.

* * *

Кант пришел к эстетике, отталкиваясь не от проблем искусства, а от потребностей философии. Но означает ли это, что его теоретические построения в этой области не базировались на собственном художественном опыте? Что он вообще был чужд искусству и не оставил в нем никакого следа? А окружавшая его среда ничего не могла дать для развития и удовлетворения эстетического чувства?

Конечно, Восточная Пруссия не Саксония, Кенигсберг не Дрезден, где была ключом художественная жизнь, не Веймар, где обитали Гёте и Шиллер, не Иена, где обосновались романтики, и даже не Берлин — центр Просвещения. Крайний город в завоеванных балтийских землях, он был предназначен для того, чтобы служить торговым центром и военным бастионом, а не храмом муз. В отношении зодчества Кенигсберг не представлял особого интереса. «В целом город не отличается красивой архитектурой», — отмечал путешественник в конце XVIII столетия. Королевский замок поражал скорее своими размерами, чем красотой пропорций. То же самое можно было сказать и о городском соборе. К тому же во времена Канта готика не была в почете. Это был век классицизма и рококо, средневековое зодчество слыло варварским. Кант разделял господствовавшие вкусы.

С архитектурой он был знаком главным образом по иллюстрациям и описаниям. Впрочем, знакомство не оказалось поверхностным: некий англичанин, услышавший из его уст описание Вестминстерского моста, был убежден, что философ прожил в Лондоне несколько лет и что архитектура его специальность.

Труднее обстояло дело с живописью. Хотя Кант, по его собственным словам, отдавал ей предпочтение перед другими изобразительными искусствами, что-то существенное ускользнуло от его внимания. Он называл живопись искусством рисунка. В Кенигсберге он мог (в частных собраниях) видеть только Рембрандта, Ван-Дейка, Дюрера, Кранаха, Рейсдаля. Великих итальянцев здесь не было. В одной из своих работ он спутал Рафаэля с Корреджо.

В середине 50-х годов в Кенигсберге возник собственный театр, магистр Кант был в числе завсегдатаев. Кант любил музыку, хотя сам не играл. Посещал концерты, предпочитая при этом (особенно в пожилые годы) слушать какой-либо один инструмент, чем оркестр.

Выше всего, как мы уже знаем, Кант ставил искусство поэзии. Его вкусы формировались в латинской школе, не мудрено, что римскую литературу он ценил выше греческой. По его убеждению, «у Вергилия больше вкуса, чем у Гомера». Последнего он ставил на одну доску с рассудочным Виландом, что вполне соответствовало его определению поэзии: «игра чувств, упорядоченная рассудком». Впрочем, известны и его восторженные оценки Шекспира. Сам он пробовал писать стихи, но только по одному поводу — на смерть своих коллег по университету; сохранилось несколько подобных опытов. В свое время ему предлагали кафедру поэзии.

Гёте уверял, что Кант не обратил ни малейшего внимания на его творчество. Есть, правда, и другие свидетельства, согласно которым философ любил и Гёте и Шиллера. Боготворивший его Шиллер писал ему дважды: один раз, приглашая участвовать в задуманном им журнале «Оры», другой — посылая первые номера этого журнала с собственной работой «Письма об эстетическом воспитании». Философ учтиво ответил Шиллеру, похвалил «Письма...», назвал их автора «ученым и талантливым человеком», но было неясно, читал ли он что-либо, кроме его работ по эстетике.

В Гёте Канта могла насторожить его приверженность к Спинозизму и дружба с Гердером. К полемике Кант — Гердер Гёте отнесся равнодушно, не приняв ни той, ни другой стороны. В целом, однако, великий поэт чтит «Кенигсбергского старца», предпочитая его какому-либо другому жившему в то время в Германии мыслителю. Когда прочтешь страницу Канта, говорил Гёте, испытываешь ощущение, будто вошел в светлую комнату.

Гёте прекрасно знал, чем он был обязан Канту. В статье «Влияние новой философии», написанной уже после смерти философа, он изложил историю своих с ним отношений, начиная с первых споров о «Критике чистого разума». «Я охотно стал на ту сторону, которая больше всего делает чести человеку, и вполне одобрял своих друзей, утверждавших вместе с Кантом,

что, хотя все наше знание начинается с опыта, оно тем не менее не проистекает целиком из опыта. Априорное познание я тоже допускал, как и синтетические суждения априори: ведь я и сам в течение всей своей жизни, сочиняя и наблюдая, действовал то синтетически, то аналитически: систола и диастола человеческого духа были для меня как второе дыхание...

...Вновь и вновь я возвращался к кантовскому учению; отдельные главы, казалось мне, я понимаю лучше остальных, и так я приобрел кое-что для своего повседневного пользования.

Но вот в мои руки попала «Критика способности суждения», и ей я обязан в высшей степени радостной эпохой моей жизни. Здесь я увидел самые разнообразные мои интересы, поставленные рядом: произведения искусства и природы трактовались сходным образом, эстетическая и телеологическая способность суждения взаимно освещали друг друга».

В кантовской «Критике способности суждения» Гёте нашел ряд идей, которые совпадали с его «прежним творчеством, деятельностью и мышлением». Это была в первую очередь критика примитивной вольфианской телеологии, которая всегда внушала Гёте антипатию. Это было стремление найти единые принципы для анализа природы и искусства. Это была, наконец, четкая постановка основной для Гёте философской проблемы — познания органического целого. Кант показал, что средства обычного рассудочного мышления здесь бессильны. Гегель в своем учении о конкретном понятии будет искать решение средствами диалектической логики. Перед Гёте открылась иная возможность. Согласно его учению о «первичном феномене» человек в единичном может увидеть всеобщее, в явлении раскрыть сущность. Это узрение представляет собой нечто большее, чем простое восприятие, но оно носит все же чувственный характер. Гёте назвал его «созерцательной способностью суждения». Термин — явная реминисценция Канта.

В двадцати девяти томах Собрания сочинений Канта нет ни одной цитаты из «Фауста», трудно сказать, читал ли его философ. А вот в «Фаусте» есть почти что цитата из Канта. «Жизнь — это долг, даже если она длится одно мгновенье», — возражает Фауст Елене, пустившейся в рассуждения о любви. В переводе Б. Пастернака это звучит так:

Не умствуй о любви. Какой в том толк?

Живи. Хоты миг живи. Жить — это долг.

«Фауст» сравнивают с «Феноменологией духа». Действительно, скитания героя трагедии Гёте в поисках смысла жизни напоминают путешествие гегелевского мирового духа за истиной. Но если последний уверенно обретает искомое, то первый гибнет жертвой иллюзии. Перед Фаустом открылась панорама гигантской стройки, он произносит панегирик труду, но на самом деле ничего нет, лишь лемуры роют ему могилу. Хотел ли Гёте осудить деятельную волю, показать тщетность ее усилий? Наоборот, он ее воспекает. Но один из уроков Канта состоял в том, что всякое историческое действие чревато чем-то другим, непредвиденным. Предугадать последствия невозможно, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Поэтому «не умствуй», а «живи» — следуй долгу, трудись, борись, дерзай, и ты будешь прощен. Да, именно прощен. Лучший удел исторического деятеля — прощенье (худший — проклятье). «Фауст» именно этим и кончается. Мефистофель, уже увидевший душу Фауста в своих руках, посрамлен. Торжествует любовь. Гёте, начинавший с богохульства, пришел к апофеозу христианской любви. Кант значительно раньше, хотя и более прозаично, пришел к тому же.

В первой части трагедии Фауст — индивид, обладающий (используя кантовский термин) «эмпирическим» характером. Он влеком страстями, в результате вес кончается преступлением. Во второй части перед нами уже личность, «ноуменальный» характер. Чувство вины помогает обрести свободу. (В том, что подобная мысль принадлежит Канту, мы убедимся в следующей главе.) Фауст полон лучших намерений. Его союз с нечистой силой направлен теперь не на собственное, а на общее благо. Но что получается: захотел Фауст отвоевать сушу у моря, как тут же приходится затопить водой вражеские войска. Повелел Фауст наладить морскую торговлю, а исполнитель-Мефистофель превратил ее в пиратство. Результаты не совпадают с намерениями. Кантовскими идеями пронизаны поэтические строки Гёте.

В немецкую художественную культуру Кант вошел и непосредственно. При том, что хорошим стилистом его не назовешь. Скорее наоборот. Кант тщательно обдумывал и шлифовал свои произведения, никогда не посылая он (как делали в то время многие) издателю еще не

завершенное; только увидев работу всю, осмыслив ее как целое, сдавал в печать. И тем не менее манера, в которой написаны основные его труды, может привести в отчаяние самого терпеливого читателя. Откройте любую страницу, и вы сразу натолкнетесь на предложения в десять-двадцать строк длиной. Едва вы стали читать, как начинаются напоминания, пояснения, ограничения в скобках и без скобок, примечания в тексте и под текстом. «Мне не хватает пальцев для чтения твоих произведений», — жаловался Канту его однокашник. «Что ты имеешь в виду?» — спросил его Кант. «Ты употребляешь, дорогой друг, слишком много оговорок; чтобы их запомнить, я загибаю пальцы — один, другой, третий, четвертый; они кончаются раньше, чем успеваешь перевернуть страницу».

Все это так. Но вопреки традиции мы рискнем говорить о художественном даровании Канта, которое, правда, проявлялось в узкой и специфической области. Он был ироник. Он играл словами.

Здесь уместно отступление. Что такое ирония? Прочитав А. Ф. Лосева: «Ирония возникает тогда, когда я, желая сказать «нет», говорю «да», и в то же время это «да» я говорю исключительно для выражения и выявления моего искреннего «нет». Представим себе, что тут есть только первое: я говорю «да», а на самом деле думаю про себя «нет». Естественно, что это будет только обманом, ложью. Сущность же иронии заключается в том, что я, говоря «да», не скрываю своего «нет», а именно выражаю, выявляю его. Мое «нет» не остается самостоятельным фактом, но оно зависит от выраженного «да», нуждается в нем, утверждает себя в нем и без него не имеет никакого значения».

Ирония происхождения древнего. В арсенал философствования она вошла раньше, чем была раскрыта ее суть. Отцом иронии принято считать Сократа, применявшего ее в качестве эвристического приема. С ее помощью афинский мудрец внушал недоверие к укоренившимся ложным представлениям. С видом простака Сократ задавал своему собеседнику вопросы, будто хотел учиться у него. В результате у того, кто полагал, что он все знает, возникало замешательство; ирония учила людей знать, что они ничего или очень мало знают. Ирония расчищала путь истинному знанию.

Иной характер принимает ирония у немецких романтиков. Она становится не средством, а целью. Если сократовская ирония лишь первый шаг познания, итогом которого всегда является истина, добро и красота, то для романтиков ирония — вершина духа, взобравшись на которую художник-философ с презрением взирал на низменный мир. Тем самым достигается приобщение к красоте. Но как быть с истиной и добром?

Уже современники почувствовали слабость подобной позиции: если не самодовольство, то самоудовлетворение ироническим отношением к действительности. Гегель, полемизируя с романтиками, требовал возврата к сократовскому пониманию иронии. При желании он мог бы опереться на Канта.

Роль основателя критической философии в развитии иронии еще не оценена в полной мере. Дело в том, что Кант не теоретизировал по этому поводу. Он просто, как и Сократ, пользовался оружием иронии, расчищая с ее помощью место для построения здания истины и добродетели, пользовался тонко и осторожно. А философский юмор и философская ирония открываются не каждому. Надо было быть великим Гёте, чтобы в «Критиках» Канта уловить ироническое начало. «Этот замечательный муж, — писал поэт о философе, — действовал с плутовской иронией, когда он то как будто старался самым тесным образом ограничить познавательную способность, то как бы намекал на выход за пределы тех границ, которые он сам провел».

Вольтер говорил, что небеса дали человеку для облегчения его участи две вещи — надежду и сон. Кант готов был причислить сюда и смех, но лишь с одной оговоркой: если бы только легко было вызывать его у «людей разумных», а необходимое для этого остроумие не встречалось бы столь редко. Философ оттачивал свое чувство юмора, с годами все чаще прибегая к нему в творчестве. В тех случаях, когда ему приходилось писать об обществе, где сам материал провоцировал остроумие, где били в глаза вопиющие нелепости, где приходилось обманывать цензуру или встряхивать заскорузлые мозги обывателям.

Эрудиция Канта в области сатиры была безупречной. Персии, Ювенал, Эразм, Рабле, Свифт, Вольтер, Филдинг, Стерн, Лихтенберг принадлежали к числу его любимых авторов. «Человек — животное, которое способно смеяться», — говорил Кант. Он тонко чувствовал природу смеха, хотя и мало распространялся на эту тему. В том, что вызывает смех, утверждал он, должно быть нечто нелепое. (Не случайно Кант вслед за Шефтсбери считал пробным камнем истинности учения способность выдержать осмеяние.) Шутка основана на нелепости. Вы ждете что-то, а слышите (или видите) нечто совершенно неожиданное, и вы смеетесь. «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто». Свою мысль Кант иллюстрирует тремя остротами. Англичанин угощает индийца пивом, тот поражен, увидев вытекающую пену. Что вас удивляет, спрашивает англичанин. То, как ее туда втиснули. Наследник жалуется: ему не удалось устроить достойные похороны своему благодетелю: чем больше он платил плакальщикам, чтобы они выглядели опечаленными, тем веселее они становятся. И наконец, история купца, который в страшную бурю вынужден был выбросить за борт все свои товары и так горевал, что у него за ночь поседел парик. Вот, пожалуй, все, что можно прочитать о комическом на страницах «Критики способности суждения». Причем сказано это мимоходом в параграфе, озаглавленном «Примечание». Об иронии — ни слова.

Но Кант не мог не быть ироником. Он жил в раздвоенном мире, где жизненные обстоятельства, сложившиеся нравы и предписания заставляли говорить «да», в то время как голос совести кричал «нет». Как в таких условиях не дать ему заглохнуть, не превратиться самому в обывателя или конформиста? Своеобразной попыткой ответа на этот вопрос была дуалистическая философия Канта, отделявшая прочной стеной мир явлений, которые подчинены внешней необходимости, от мира вещей «самих по себе», где господствует свобода и нравственная чистота.

Надо сказать, что Гегель ясно видел морально-эстетические корни кантовского дуализма и решительно стремился к его преодолению. При этом Гегель не притуплял остроты поставленной Кантом проблемы. Мир действительно раздвоен, наряду с подлинным существует «мир наизнанку». Последнее для Гегеля не фигуральное выражение, а одна из категорий «Феноменологии духа». Комментаторы Гегеля давно обратили внимание на сатирический смысл этой категории. То, что содержится в «мире наизнанку», не просто противоположность существующего мира. Это перевертывание, как в кривом зеркале, дает возможность узреть тайную извращенность того, что происходит в реальном мире. Снятие «мира наизнанку» означает снятие сатиры. Тогда объектом ее невольно становится сама философия. С Гегелем так и получилось. Раздвоенность мира, по Гегелю, исчезает в движении сознания, противоположности примиряются и сливаются. И здесь нельзя не вспомнить Маркса, в насмешливых тонах перелагавшего подобное «движение» гегелевских категорий: «Да» превращается в «нет», «нет» превращается в «да», «да» становится одновременно и «да» и «нет», «нет» становится одновременно и «нет» и «да». Таким путем противоположности взаимно уравниваются, нейтрализуют и парализуют друг друга»¹.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 132.

Кант слишком трезво смотрел на вещи, чтобы дать успокоить себя какой-либо иллюзией. Ирония стояла на страже, четко прочерчивая границу между «да» и «нет». (Ироник никогда не путает эти вещи, его мнимое «да» лишь оттеняет «нет», его могут неправильно понять, но сам-то он всегда знает, в чем дело.) Ирония Канта чутко фиксировала то, что в мире существует «наизнанку» и, говоря словами Гёте, «не делится на разум без остатка».

Мы уже знакомы с «Грезами духовидца» — блистательным образцом кантовского искусства иронии. В статье «Предполагаемое начало человеческой истории» ирония скрыта. Лишь еле заметная улыбка автора оживляет внимание читателя. Кант уверяет, что намерен совершить «просто увеселительную прогулку» по истокам истории, используя «священный документ как карту», но трактует вещи серьезные. Библия предстает как исторический источник.

У своего читателя Кант предполагает безукоризненное знание Священного писания. Нам же придется напомнить текст. Речь идет о детях Адама. «И был Авель пастырь овец, а Каин был

земледелец». Кант видит в этом «переход от дикой охотничьей жизни и собирания плодов во второе состояние», то есть к труду.

«3. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу; 4. и Авель также принес от первородных стада своего. И призрел Господь на Авеля и на дар его; 5. а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Пастушеская жизнь, рассуждает Кант, привольна и дает наиболее верный доход. Земледельческий труд тяжел, зависит от погоды, требует постоянного жилища, земельной собственности и силы, чтобы ее охранять. «Земледелец мог завидовать пастуху, как более покровительствуемому небом (ст. 4), и в действительности последний стал ему в тягость, поскольку пасущийся скот не щадит посевов».

За сим последовало братоубийство и уход Каина в страну Нод. Иначе, по Канту, и быть не могло. «Именно земледелец первый должен был употребить силу против подобных поступков, которые другой не считал недозволенными; и если он не хотел потерять плоды своих долгих усилий, он вынужден был, наконец, удалиться по возможности дальше от пастушеских племен. Это расставанье знаменует собой третью эпоху», то есть разделение труда. «Увеселительная прогулка» обернулась научной экспедицией, содержательной интерпретацией первых этапов всемирной истории.

В «Критике чистого разума» ирония уходит внутрь, высвечивая глубины и лишь изредка выплескиваясь на поверхность. Вспомним знаменитый афоризм: «Мне пришлось устранить знание, чтобы освободить место вере», который одновременно звучит как «мне пришлось поднять знание...». В каком биографическом контексте прозвучали эти слова, читатель узнает в следующей главе.

Глава шестая

ВЕРА — НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ

Страшен бог без морали.

Кант

Поздней весной 1789 года начинающий русский литератор Николай Михайлович Карамзин отправился в многомесячное путешествие. Во Франции уже разгорался очаг будущего революционного пожара, но на окраинах Европы было спокойно; молодой человек не спеша, с долгими остановками продвигался в западном направлении. Он вел дневник, записывая по свежим следам дорожные впечатления. Кенигсберг поразил приезжего своими размерами («в окружности около пятнадцати верст»). Дело было перед ярмаркой, и улицы города заполняла шумная праздничная толпа. Повсюду бросались в глаза яркие мундиры военных — синие, голубые, зеленые с красными, белыми и оранжевыми отворотами. Обедать Карамзину пришлось в обществе офицеров; разговор шел о прошедшем смотре, сыпались плоские шутки, раздавался громкий смех. Писателю все это было не по душе: к военному ремеслу он не питал пиетета и приехал сюда не для знакомства с прусской армией.

Окончив трапезу, Карамзин отправился искать Принцессинштрассе. Еще перед отъездом из Москвы от немецкого поэта Ленца, бывшего «штюрмера», ныне обосновавшегося в России, он получил совет навестить Канта. Не без трепета душевного входил молодой человек в дом знаменитого философа.

«Я не имел к нему писем, но смелость города берет, — и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я — русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту». Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может нравиться всем: не многие любят метафизические тонкости».

Вначале беседа шла о «разных вещах», и философ блистал познаниями в области географии и истории, но затем гость решительно перевел разговор на философскую почву. Он был знаком с «Критикой чистого разума», но не читал этических работ Канта, его обуревали нравственно-религиозные сомнения, которыми он поспешил поделиться с хозяином. Кант

ответил изложением своих взглядов, он говорил быстро, негромко и невнятно; русский весь превратился во внимание. Разговор продолжался около трех часов.

«Действительность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застаёт нас в пути к чему-нибудь, что мы ещё иметь хотим. Дай человеку все, чего желает, но он в ту же минуту почувствует, что это *все* не есть *все*. Не видя цели или конца стремления нашего к здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет и что скоро придет конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с *законом нравственности*, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о нравственном законе: назовем его совестью, чувством добра и зла — но они есть. Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно. Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, глазами увидели ее? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешней жизнью и были бы в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: авось там будет лучше! Но, говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума, все для чего-нибудь и все благо творящего. Что? Как? ...Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное».

Вернувшись в гостиницу, Карамзин поспешил занести на бумагу содержание разговора. «Почтенный муж! — обращался он мысленно к философу. — Прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои!» Русского путешественника поразила в Канте не только глубина умозрения, но еще одна удивительная душевная черта — терпимость, уважение к чужой точке зрения. «Тот есть для меня истинный философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его образом мыслей. Должно показывать заблуждения разума человеческого с благородным жаром, но без злобы. Скажи человеку, что он ошибается и почему, но не поноси сердца его и не называй безумцем. Люди, люди! Под каким предлогом вы себя ни мучите!»

Так резюмировал Карамзин разговор с Кантом о религии.

Философия религии Канта непосредственно примыкает к его этике. Мы помним тезис: мораль не возникает из божественных установлений. Но знаем и антитезис: мораль неизбежно ведет к религии. Человеческих способностей недостаточно для того, чтобы привести в соответствие право людей на счастье с их обязанностями, необходимо признать всемогущее моральное существо как владыку мира. (Признать? Атеист Фейербах сказал бы — измыслить. Кант — верующий и выражается куда осторожнее: «Звучит что-то, хотя и сомнительное, но отнюдь не предосудительное, когда говорят, что каждый человек делает сам себе бога».) Обоснованию антитезиса посвящен трактат «Религия в пределах только разума».

Кант начинает с размышлений о нравственной природе человека. Одни мудрецы убеждены, что человек безнадежно погряз во зле. Иные видят его по природе добрым, а злым лишь под влиянием обстоятельств. И те и другие — ригористы, категоричные в своих суждениях. Им противостоят индифферентисты, которые полагают, что человек по природе своей нейтрален — ни добр, ни зол, — и синкретисты, считающие его одновременно и добрым и злым. Кант в делах морали ригорист, но одновременно он... диалектик. Он и здесь пытается совместить, более того — столкнуть противоположности.

Человек, утверждает Кант, по природе зол. В нем заключена неизбывная склонность творить зло, которая выглядит как приобретенная, будучи, однако, изначально ему присущей. Вместе с тем человек обладает первоначальными задатками добра. Моральное воспитание в том и состоит, чтобы восстановить в правах добрые задатки, чтобы они одержали победу в борьбе с человеческой склонностью к злему.

Такая победа возможна только как революция в образе мыслей и чувств. Кант в свое время сам пережил ее и считал, что коренное нравственное обновление, своего рода второе

рождение является неременным условием формирования характера — человека и человечества.

И еще одно важное условие победы добра. «Высшее нравственное благо не может быть осуществлено исключительно через стремление отдельного человека к его собственному моральному совершенству, а требует для этой цели соединения в одно целое, в систему благомыслящих людей, в которой и только благодаря единству которой оно может осуществиться». Благо (добро) — общественная потребность и порождение общества. В учении о религии абстрактная этика Канта обретает социальные черты.

Кант вводит понятие «этической общины». Без нее невозможно преодолеть в плане нравственности «естественное состояние», где, согласно Гоббсу, идет война всех против всех, где нет не только законов, но и моральных заповедей. Этическая община — это церковь. Определенный тип религии на определенном этапе духовной истории человечества оказывается необходимым инструментом, цементирующим и совершенствующим людское сообщество.

Еще в древности появилась просветительская концепция религии — «страх породил богов». На исходе средневековья эта концепция была уточнена: страх подготовил почву, а бессовестные обманщики навязали темному народу представления о тех или иных богах. «Бросьте взгляд на большинство пародов и эпох, исследуйте те религиозные принципы, которые фактически господствовали в мире, — вряд ли вас можно будет убедить в том, что они суть нечто большее, чем бред больших людей». Таков вывод, к которому приходил почитаемый Кантом Юм. Но почему «обман», почему «бред» получил столь широкое и прочное распространение? Как возникла идея страдающего бога? По мнению Юма, религия — это необъяснимая загадка; единственный результат ее изучения — сомнение и отказ от каких-либо оценок.

Немецкое Просвещение, выросшее на почве протестантизма и пиетизма, всегда смотрело на религию сквозь исторические очки. Лессинг в «Воспитании человеческого рода» набросал схему развития религиозных верований как нравственного совершенствования людей и, заглядывая в будущее, предсказал наступление безрелигиозного времени, когда мораль сможет обходиться без веры в высшее существо.

Кант присматривается к прошлому, ищет социально-психологические корни веры в бога и видит в человеке (человечестве) борьбу двух начал — добра и зла. Зло изначально преобладает, но задатки добра дают о себе знать в виде чувства вины, которое вдруг овладевает людьми.

Переживание вины (своей собственной или чужой, которой ты лишь сопричастен) — основа морали. Спокойная совесть — изобретение дьявола, скажет впоследствии Альберт Швейцер (защитивший диссертацию по религиозной философии Канта). Человек, который «всегда прав», погиб для морали. Нравственное обновление возможно только как борьба с самим собой. Отыскивая корни религии, Кант вдруг набрел на первоисточки нравственности. Обнаружил ее фундамент. И встретил знакомого нам «конструктора» — воображение. Присмотримся к тому, как оно работает в данной области.

Страх породил богов, рассуждает Кант, а боги установили запреты. Боязнь нарушить табу, страх перед тем, что это уже совершилось, рождает идею искупительной жертвы. Когда жертвоприношение превращается в самопожертвование, происходит нравственно-религиозная революция. Человек, решившийся на самопожертвование, уподобляет себя богу. Так возникает образ страдающего «сына божьего», вестника, который одновременно и бог и человек.

Учитель Евангелия провозгласил себя посланником неба, объявил старую, рабскую веру в формулы и обряды как нечто само по себе ничтожное, а моральную веру как единственно душеспасительную. Своей жизнью и своей смертью, полной величия, он дал пример подлинно богоугодной человечности. «Этой смертью, — добавляет Кант, — его публичная история и кончается. Приложенная к ней как дополнение более таинственная и совершившаяся только перед глазами близких ему лиц история воскресения и вознесения на небо... не может без ущерба для ее исторического достоинства быть использована для религии в пределах только разума».

...Пройдет несколько лет, и молодой, еще никому не известный магистр богословия Вильгельм Гегель под впечатлением Канта напишет «Жизнь Иисуса» как биографию великого моралиста, без каких-либо сверхъестественных чудес. Учение Иисуса Гегель противопоставит учению Моисея как живое слово мертвой догме, Новый завет — Ветхому, и здесь он тоже повторит Канта...

Сопоставлению христианства с Ветхим заветом Кант придает принципиальное значение. Десять библейских заповедей изложены как «принудительные законы», они устремлены на внешнюю сторону дела, в них нет требования морального образа мыслей, что является главным для христианства. Это во-первых.

Моисей хотел основать только политическую, а не этическую общину. «Иудейская вера по своему первоначальному устройству представляет собой только совокупность статуарных законов, на которых основывается государственный образ правления, ибо если какие-либо моральные добавления — с самого ли начала или впоследствии — к ней и прицепились, то они, безусловно, относятся не к иудейству как таковому. Последнее, собственно, не есть религия, но только соединение толпы людей, которая, — так как вся она составляет одно особое племя, — сформировалась в один общий строй под политическими лишь законами и, значит, не сложилась в церковь». Это во-вторых.

И в-третьих. Иудейство «исключало весь человеческий род из своего общения, считая себя особым народом, народом-избранником Иеговы, который ненавидел все другие народы и был поэтому ненавидим каждым из них. И при этом вера в свое исключительное избрание доходила до того, что этот народ только себя одного делал всеобщим миродержцем».

Возникновение христианства означало полное отрицание ветхозаветной веры. Это была революция в религии. Только с христианства Кант начинает «всеобщую церковную историю».

В учении о религии четко проявился историзм кантовского мышления. Кант видит изначальное, по сути дела, безрелигиозное состояние людей, затем первый еще несовершенный тип религии, который называет «богослужебным». Третий этап — вера разума. Богослужебная религия (наиболее распространенный тип веры) рассчитана на снискание благосклонности верховного существа, которое можно умиловать путем почитания, сакральными жертвами, соблюдением предписаний и обрядов. Человек льстит себя мыслью, что бог может сделать его счастливым без того, чтобы самому стать лучше; нужно только соответствующим образом бога попросить и предпринять кое-какие внешние действия. По сути дела, речь идет о сделке по принципу «я тебе, а ты мне». Священник выступает в роли посредника; в богослужебной религии он жрец, носитель ритуала, церковь здесь храм, где ритуал свершается.

Религия разума — это чистая вера в добро, в собственные моральные потенции без примеси какого бы то ни было расчета, без перекалывания ответственности на высшие силы. Это религия доброго образа жизни, которая обязывает к внутреннему совершенствованию. Священник в ней просто наставник, а церковь — место собраний для поучений.

Страх породил богов (а боги установили запреты), но потом, говорит Кант, в дело включилась совесть. Именно она является главным регулятором развития религиозных дел. Совесть — значит совместное ведание, знание; образ другого знающего, от которого нельзя спрятаться, вплетается в мое самосознание. Я совершил проступок, никто не может уличить меня в содеянном, и все же я чувствую, что есть свидетель и обвинитель. Совесть — это страх, ушедший внутрь, направленный на самого себя. Самый страшный вид страха. В церковной вере он объективизирован в виде бога, который устанавливает заповеди и карает за их нарушение, но прощение и милость которого можно снискать. В чистой религии разума сделка с богом (то есть сделка с совестью) невозможна. Остается только не нарушать запреты, следовать категорическому императиву. «Все, что, кроме доброго образа жизни, человек предполагает делать, чтобы быть угодным богу, есть только религиозная иллюзия и лжеслужение богу» — таков символ веры Кенигсбергского реформатора (современники сравнивали Канта с Лютером, он, правда, не создал новой церкви, но нашел многих последователей). Между тунгусским шаманом и европейским прелатом, по сути дела, нет разницы. И тот и другой полны одного стремления — направить к своей выгоде невидимую силу, которая повелевает судьбами людей. Только о том, как к этому приступить, они думают различно.

В одном из заключительных разделов «Критики чистого разума» Кант сформулировал три знаменитых вопроса, исчерпывающих, по его мнению, все духовные интересы человека. Что я могу знать? Что я должен делать? На что могу надеяться? На первый вопрос, полагал он, дает ответ его теоретическая философия, на второй — практическая. С третьим, который «есть вопрос одновременно практический и теоретический», дело обстояло сложнее. «Критика способности суждения» с ее выходом в проблемы культуры указывала «дорогу надежды», по которой следует идти индивиду. Культура — «последняя цель природы», человек призван создать ее. Можно ли при этом рассчитывать на какие-либо внешние силы, кроме собственных потенций? Какого рода надежду оставляет вера во всемогущее существо?

На помощь сверхъестественных сил надеяться непозволительно. Нет ни чудес, выходящих за пределы объективных законов опыта, нет божественной тайны, превышающей возможности нашего духа, нет благодати, силой божественного авторитета просветляющей нашу нравственность. Поэтому Кант отвергает молитву как средство общения с богом («когда встречаются человека, который громко говорит сам с собой, это может вызвать подозрение, что у него легкий припадок умопомешательства»), хождение в церковь, носящее характер идолослужения, и другие ритуальные обряды. По своему содержанию «религия ничем не отличается от морали», существуют различные виды веры, но религия едина, как едина мораль. Вера в бога — это прежде всего надежда на собственную нравственную силу. Второй и третий вопрос слились воедино.

При том, что Кант не отнимает надежды и на посмертное воздаяние. Поступай так, как если бы в потустороннем мире тебя ждала награда. Так может и не быть, все равно — веди себя нравственно! «Разумно вести себя таким образом, как будто нас безусловно ожидает иная жизнь, и при вступлении в нее будет учтено моральное состояние, в каком мы закончили нынешнюю». Без веры в будущую жизнь немыслима никакая религия.

Бог — это моральный закон, как бы существующий объективно. Впрочем, не только. Кант не стоик. Для стоика высшее благо аскетизм и даже добровольный уход из жизни. Самоубийство, по Канту, — нарушение долга. Надежду он возлагает не только на ригористическое служение долгу. (Как думают многие знатоки Канта.)

Бог — это любовь. С годами Кант внял критическим голосам, обвинявшим его в черствости, а может быть, и сам понял силу аффекта, влекущего одного человека к другому, объединяющего людей узами более прочными, чем страх и обязанность. Так или иначе, но чем старше становился Кант, тем охотнее он рассуждал о любви.

Любовь и долг — вещи разные. Таков первоначальный тезис. Долг любить — бессмыслица. Когда говорят: «полюби ближнего своего, как самого себя», то это не значит, что ты сначала должен полюбить человека и посредством этой любви потом делать ему добро. Наоборот, делай своим ближним добро, и это пробудит в тебе человеколюбие. Делать добро другим людям по мере нашей возможности есть долг, независимо от того, любим ли мы их или нет, и этот долг остается в силе, даже если бы мы были вынуждены сделать печальное открытие, что человеческий род недостойн любви.

Так говорится на страницах «Метафизики нравов», наиболее поздней этической работы Канта, Антитезис неизбежен, он появляется на последующих страницах той же работы, один из разделов которой называется «О долге любви к другим людям». Читатель в недоумении. Спасает опять оговорка: во втором случае под любовью подразумевается не чувство, а некий общий принцип.

Теперь остается обнаружить синтез, который бы снимал остроту крайних формулировок. Мы находим его в статье «Конец всего сущего», в рассуждениях о том, как любовь помогает выполнению долга: «То, что человек не любит, он делает настолько убого, подчас так уклоняясь с помощью софистических уловок от велений долга, что вряд ли можно представить себе последние в качестве мотива действия без одновременного вмешательства первых.

Если с целью улучшения христианства к нему присоединяют еще некий авторитет (пусть даже божественный), то каким бы благим ни было намерение, какой благородной ни была цель, присущая ему любовь все же исчезает, ибо никому нельзя предписать не просто поступать определенным образом, но делать это с охотой.

Цель христианства — споспешествовать любви к осознанию своего долга, и ему удастся это, так как его основатель говорит не в качестве командира, требующего подчинения своей воле, а в качестве друга людей, который закладывает в сердца себе подобных их собственную, правильно понятую волю действовать так, как если бы они сами себя подвергли надлежащему испытанию.

Свободный способ мышления — равнодалекый как от раболепия, так и от распушенности — вот благодаря чему христианство завоевывает сердца людей, рассудок которых уже просветлен представлением о законе их долга. Чувство свободы в выборе конечной цели внушает им любовь к моральному закону». В трактате о религии те же мысли: «Высшая, для человека никогда не достижимая вполне цель морального совершенства конечных творений есть любовь к закону. Соответственно этой идее в каждой религии принцип веры должен был бы быть таким: «Бог есть любовь».

Бог есть любовь. Кто только не повторял эту евангельскую истину, кто только не мудрствовал над ней лукаво. Бог есть любовь, скажет Гегель, и увидит здесь логико-диалектическую проблему: любовь — это тождество противоположностей, высшая ее форма — «любовь общины», опосредованная «обесценением всякой особенности». Любовь есть сам бог, отзовется Фейербах, но слово «бог» прозвучит для него лишь как метафора, христианство он отвергнет решительным образом. Для Канта христианство — высший этап нравственно-религиозного развития человечества. Все остальное — шаг назад.

А откуда взялась любовь? Кант и здесь старается мыслить исторически. Любовь — дар не небес, а земли, метаморфоза полового инстинкта. Стиснутое рамками запрета не удовлетворенное до конца низменное животное вожделение трансформируется в высший элемент культуры. Кант рассуждает о социогенезе. «Человек вскоре замечает, что половое возбуждение, покоящееся у животных на преходящем, большей частью периодическом влечении, способно у него принять характер длительный и более интенсивный благодаря воображению, которое поддерживает эту эмоцию, умеряя ее, но делая в то же время тем продолжительнее и единообразнее, чем больше предмет удален от чувства, в результате чего избегается пресыщение как необходимое следствие полного удовлетворения животной потребности... Отказ был волшебным средством, превратившим чисто чувственное влечение в идеальное, животную потребность в любовь, просто приятное ощущение в переживание красоты сначала в человеке, а затем и по отношению к природе». Кант говорит, что это «маленькое начало» оказалось важнее всех последующих достижений культуры.

У преемников Канта не раз возникал спор по поводу бессознательных влечений человека. Что первично — страх или запрет? По Канту, первично воображение, нагоняющее страх и парализующее действие. Усиливающее и очищающее страсть. Может быть, ограничения, которые вынужден был накладывать на себя философ, помогли прийти к этому выводу.

Интерпретируя Библию, помимо инстинкта питания и любви, Кант называет еще два мощных культуроформирующих стимула. Ожидание грядущего, мысль жить для потомства, надежда на лучшую будущую жизнь (но уже не для себя, а для своих детей). И наконец, желанье самому быть целью (а не средством для других).

Итак, Кант предстал в еще одной необычной ипостаси. Ранее мы разглядели в нем ироника, теперь перед нами апологет любви и ее аналитик. Христианство он приемлет как нравственный принцип, как программу человеколюбия. Совершенствуя эту программу, он пытается обосновать ее теоретически. От церковной догматики он далек. Догмы Кант превращает в гипотезы. «Бог как гипотеза» — это фраза из кантовских черновики. Там же можно прочитать: «Бог — не существо вне меня, а лишь моя мысль». Сомнения не покидали Канта. Но богоборцем он не был.

В середине 70-х годов Кант (об этом свидетельствуют его письма к Лафатеру) пришел к моральному истолкованию религии. «Вместе с Иовом» он считает теперь «преступлением льстить богу». Склонять колени или падать ниц с целью показать свое благоговение перед небесными силами противно человеческому достоинству, равно как и обращение к их изображениям. В этом случае «вы поклоняетесь не идеалу, который представляет вам ваш

собственный разум, а *идолу*, сотворенному вами самими». Кант перестал ходить в церковь. Его учение противоречило официальной догме. Столкновение с властями стало неизбежным.

* * *

К этому времени на прусском престоле уже не было Фридриха II. Трон унаследовал его племянник Фридрих-Вильгельм II. В отличие от своего дяди, деспота-вольнодумца, решительного администратора, полководца и покровителя наук, нынешний король был человеком безвольным, тупым, склонным к мистике. Он увлекался магией и состоял в тайном ордене «розенкрейцеров». Деспотизма в Пруссии не убавилось, а просвещения стало меньше. Фридриховский девиз «Рассуждайте, но повинуйтесь!» уступил место более привычному «Повинуйтесь не рассуждая!».

Первоначально отношения Канта с новым королем складывались благоприятно для философа. Это было время его первого ректорства, когда Фридрих-Вильгельм II прибыл в Кенигсберг для принятия присяги. Главу университета пригласили в королевский замок, от имени профессоров и студентов он приветствовал монарха и был им обласкан. (От участия в торжественном богослужении Кант отказался, сославшись на болезнь.)

В год своего второго ректорства (1788) Кант открывал праздничное заседание по поводу королевского юбилея следующими словами: «День, давший миру нашего дражайшего короля, — воистину торжественное событие для университета, для любого сословия подданных, для всей Европы, если она желает жить в мире, основанном на справедливости и человечности, покоящемся на мощи. Наш университет устами оратора выскажет сегодня свое благоговение и благодарность всемилостивейшему монарху. Ваши превосходительства соизволят присоединиться к нашим поздравлениям и украсить своим присутствием этот торжественный акт». Последние слова относились к представителям местной администрации. Сохранился листок с текстом приведенных трех фраз, испещренный поправками: слова зачеркнуты, восстановлены, заменены другими. Нелегко давались Канту льстивые формулы! Но положение обязывало, и единственное, что он мог себе позволить, — быть предельно кратким.

Он мог себе позволить и быть двусмысленным. В 1787 году вышло второе издание «Критики чистого разума». Мы помним, что философ добавил специальный раздел против теоретических попыток обосновать бессмертие души. Но это в конце книги, а в начале? Здесь появилось новое предисловие, доказывавшее, что критическая философия споспешествует религии. «Мне пришлось устранить знание, чтобы освободить место вере», — читал мракобес и радовался. «Мне пришлось арестовать знание...» — так звучала эта фраза для полицейского уха. А внимательный глаз, прочитавший «Критику» до конца, видел совсем другое: философ должен был «поднять знание», чтобы найти место для веры. Об иронической двусмысленности употребленного глагола мы говорили выше.

Король санкционировал принятие Канта в Академию наук. Без какого-либо представления из Кёнигсберга Берлин значительно повысил его оклад, составлявший теперь 720 талеров. Осенью 1788 года из Берлина за государственный счет командировали в Кенигсберг способного молодого человека Иоганна Готфрида Кизеветтера, чтобы он по первоисточнику изучил критицизм, а затем преподавал его при дворе. Кизеветтер пробыл в «Альбертине» год. Вернувшись в столицу, он начал читать курс критической философии. И вдруг заметил, что времена переменялись.

Во Франции полыхала революция. Первые известия о ней вызвали в Германии всеобщий энтузиазм. Дело заключалось не только в демократических настроениях. Бурбоны считались врагами немецкой нации, поэтому их падение приветствовали и в хижинах и во дворцах. Гвардейский оркестр в Потсдаме разучил марш санкюлотов, берлинские модницы носили трехцветные ленты, герцогиня Готская украсила свой салон бюстами парижских революционеров.

Затем наступило отрезвление. Возникли опасения, что революционный пожар перекинется на прусские земли. В Берлине постепенно начали принимать охранительные меры. Кантианца Цедлица на министерском посту сменил Вельнер, «лживый, пронирыливый поп, и ничего больше», как его однажды охарактеризовал покойный Фридрих. Вышел новый

религиозный эдикт, в котором хотя и провозглашалась свобода совести, но подданным предлагалось «свое особое мнение держать при себе и остерегаться распространять таковое». Затем последовал новый закон о цензуре, направленный на то, чтобы пресечь «разнузданность так называемых просветителей» и «свободу печати, превратившуюся в наглость печати».

Кизеветтера предупредили, чтобы он на лекциях не высказывался против религии и не забывал напоминать, что философия Канта не противоречит христианству. Начиная разбор «Критики практического разума», он только об этом и толковал. (И не напрасно: среди слушателей обратил на себя внимание суетливый молодой человек, стремившийся записать каждое слово лектора, на следующем занятии его уже не было.) Печатно Кизеветтер утверждал то же самое. А Канта он уверял: «Если бы Христос мог вас услышать и понять, он сказал бы: да, именно это я хотел выразить». Были, однако, и другие мнения, Канта называли смутьяном, скептиком, сеятелем сомнения. Ходили слухи, что Канту запретят выступать в печати. Говорили, что кто-то уже просил короля об этом. Но пока что Кизеветтер учил кантианству придворных дам, ему же доверили воспитание наследника. Ситуация оставалась неясной.

По религиозному эдикту привлекли к суду «простоволосого» проповедника Иоганна Шульца, книгу которого о морали в свое время рецензировал Кант, а от преследований спасало покровительство Фридриха II. Блестящий оратор, Шульц убедил своих судей, что его проповеди, хотя и отрицают божественную троицу, не противоречат учению Христа. Суд признал Шульца не лютеранским, но все же христианским проповедником и оправдал его. Король приказал заменить оправдательный приговор обвинительным и наложил на судей значительный штраф. Шульца отстранили от должности.

Король был игрушкой в руках ловких царедворцев. Они пользовались для своих интриг его слабостями (альковными и визионерскими). Королю приглянулась графиня Денхоф, его тайно развели с королевой и обвенчали с графиней. И все это не в ущерб другой графине — Лихтенау, что числилась главной придворной метрессой.

Королеву объявили душевнобольной. «Она пляшет на столе и видит призраки», — сообщил Кизеветтер Канту. Впрочем, о ее бывшем супруге он отзывался не лучше: «Королю уже несколько раз были видения... Слаб он душой и телом, сидит часами и плачет».

Следующая удивительная история, предельно неправдоподобная, ярко передает мнение современников о Фридрихе-Вильгельме II. Незадолго до битвы под Вальми прусские войска заняли Верден. В честь успеха и предстоящего полного разгрома санкюлотов король дал бал. В разгар праздничной суеты к Фридриху-Вильгельму подошел неизвестный, шепнул на ухо пароль «розенкрейцеров» и предложил следовать за ним. Послушный статуту ордена, его величество повиновался. Его провели в темную комнату, где не было свечей, и только догоравший камин бросал зловещие отблески на сумеречные стены. Незнакомец исчез, король хотел было вернуться к гостям, как его остановил знакомый голос. (Он знал этот голос, он не мог ошибиться, он слышал его тысячи раз — в покоях Сан-Суси, в походах и на плац-парадах.) Во тьме он увидел знакомую сутулую фигуру — острый профиль, резкие движения, знакомый сюртук, знакомая трость. Призрак покойного дяди говорил королю об измене, Пруссию вовлекли в опасную авантюру, ни шагу далее, вернись к своим границам...

То, что произошло в последующие дни, не укладывалось в понятие о наступлении. Прусские войска топтались на месте, а после Вальми, где не было предпринято решительных атак, начался общий отход. Современники и историки терялись в догадках, и даже Бонапарт не находил объяснения поведению пруссаков.

История с призраком старого Фрица стала известна со слов Бомарше. У драматурга был друг — актер Флери, известный блестящим исполнением роли Фридриха II; он полностью копировал его голос и манеру держаться, он приобрел каким-то образом сюртук и шляпу прусского короля. В тревожные сентябрьские дни 1792 года, когда началось вторжение, Флери срочно выехал из Парижа в Верден. Нас во всей этой истории интересует только одно: о причудах Фридриха-Вильгельма II говорила вся Европа.

Кант о них узнавал из писем Кизеветтера. Он знал также и то, что это болезнь времени. Кант сравнивал «все возрастающую склонность к экзальтации» с эпидемией инфлюэнцы. Век Просвещения не просвещенный век. Беда в полуобразованности. Читают много, а знают и

понимают мало. И с легкостью необычайной судят обо всем на свете. Визионер требует указать причину «животного магнетизма»¹, ученый, естественно, воздерживается от ответа, и тут начинается игра фантазии. «Против такого безобразия есть только одно средство: надо намагнитить самого магнетизера и держать его в таком расслабленном состоянии столько, сколько ему и другим легковверным понравится, а полиции следует, дабы не было ущерба нравственности, идти единственно возможным путем науки, проверяя показания чувств о внешнем объекте при помощи эксперимента и наблюдения. Какие-либо специальные опровержения здесь противоречат достоинству разума и излишни, против таких бредней более действенным средством служит презрительное молчание, ибо подобные происшествия в мире морали живут недолго, уступая место новым глупостям».

¹ Так называли в XVIII веке гипноз.

Четверть века назад Кант высмеял духовидца Сведенборга, теперь речь шла о графе Калиостро. Итальянский авантюрист Иосиф Бальзамо, присвоивший титул графа и имя Калиостро, исколесил почти всю Европу, дурача великосветских простаков, выдавая себя за алхимика, мага, ясновидца и всюду вымогая деньги. В 80-х годах он появился в Митаве, проследовал в Петербург, а затем в Варшаву. Екатерина II самолично сочинила о нем две комедии. В немецкой прессе появились разоблачения. Ученик Канта Боровский написал против Калиостро книгу. Он обратился к учителю с просьбой высказать свое мнение о визионерстве и экзальтации. Кант ответил письмом, предназначенным для печати. Боровский опубликовал его в качестве приложения к своей работе.

Но от Канта давно уже ждали другого — собственной книги, посвященной религии. Святоши упрекали его в неверии, ученики доказывали ортодоксальность критической философии. Кант понимал, что рано или поздно ему придется высказаться. Прежде чем он закончил свой трактат, ему пришлось прочитать произведение, которое вышло из-под чужого пера, пытавшегося, правда, воспроизводить его мысли. Произведение называлось «Опыт критики любого откровения». Его автором был Фихте.

О зачинателе немецкого классического идеализма надо сказать особо. Иоганн Готтлиб Фихте родился в 1762 году (как и Кант, в семье ремесленника). Мальчик обладал феноменальной памятью, и в девять лет он мог повторить слово в слово услышанную в церкви проповедь. И еще одна черта характера проявилась уже в ранние годы — бескомпромиссная одержимость, вера в свое призвание. Впоследствии он скажет о себе: «Я — жрец истины, я поступил к ней на службу, я обязался сделать для нее все — дерзать и страдать».

Юность прошла в материальных лишениях. После университета Фихте скитался по частным домам, обучая детей состоятельных родителей. Он уже достиг 28 лет, когда один студент обратился к нему с просьбой помочь в изучении Канта. О последнем у Фихте было смутное представление. Он знал лишь, что никто не может его понять. Фихте засел за «Критики» и вдруг узрел в них истину. Теперь он горел одним желанием: скорей познакомиться с Кантом и под его руководством завершить свое образование.

В Кенигсберг Фихте попал летом 1791 года. Как только позволили обстоятельства, направился к философу. Ожидания были слишком велики, чтобы оправдаться. Фихте встретил усталый старик, погруженный в свои мысли, равнодушный к гостю, не замечавший его энтузиазма. Лекциями Канта Фихте также остался недоволен, близости с учителем не возникало. Тогда молодой человек предпринял решительный шаг. Он более месяца не ходил на занятия, лихорадочно работал, затем обратился к Канту с письмом: «Я приехал в Кенигсберг, чтобы ближе познакомиться с человеком, которого чтит вся Европа, но которого во всей Европе лишь немногие любят так, как я. Я уже представился Вам. Потом я понял, что это была дерзость — претендовать на знакомство с таким человеком, не предъявив никаких полномочий. Я должен был иметь рекомендательные письма. Но я признаю лишь те, что пишу себе сам. Таковое и прилагаю». К письму Фихте приложил объемистый трактат, написанный за тридцать пять дней напряженной работы и только что им законченный, — «Опыт критики любого откровения».

Восторженными письмами Канта удивить было нельзя. Незадолго до этого он получил куда более экстравагантное: «Великий Кант, к тебе взываю я как верующий к богу: спаси, утешь

иль возвести кончину». Писала из Австрии некая Мария фон Херберт, пережившая несчастную любовь и державшаяся за жизнь только чтением этических произведений Канта; философ передал письмо для ответа пастору Боровскому. (Потом, правда, написал и сам — обстоятельное, ободряющее письмо.)

Но рукопись Фихте привлекла его внимание. Тем более что речь шла о предмете, над которым он сам работал. Перелистав несколько страниц, Кант понял, что имеет дело с незаурядным человеком. Фихте был приглашен, снова появился на Принцессинштрассе и снова ушел разочарованным. Хотя его приняли с душевной теплотой, разговор не получился. Фихте засыпал хозяина вопросами, но тот отослал его к «Критике чистого разума» и... придворному проповеднику Шульцу. Третий визит к учителю удовлетворил наконец ученика. «Только теперь, — записал он в дневнике, — я познал в нем черты, достойные того великого духа, которым полны его произведения». На этот раз Фихте был зван к обеду. А за трапезой, как мы знаем, Кант раскрывался полностью, блистал умом и остроумием.

Тем временем прозелит попал в затруднительное материальное положение. Деньги кончались, а надежд на заработок в Кенигсберге не было. Фихте предпринял новый решительный шаг. Он опять написал Канту письмо — с просьбой о помощи. «У меня осталось только 2 дуката, да и они не принадлежат мне, так как я должен оплатить квартиру и т. д. Я не знаю других средств к спасению, если не найдется кто-нибудь, кто бы мне, незнакомцу, не ссудил денег на обратную дорогу до того времени, когда я смогу их вернуть, т. е. до пасхи будущего года под залог моей чести. Я не знаю никого, кроме Вас, добродетельный муж, кому бы я мог предложить этот залог без опасения быть поднятым на смех». Далее на нескольких страницах Фихте повествовал о своих переживаниях, связанных с неприятной для него просьбой. В заключение он писал: «Скорее по своему темпераменту и в силу приобретенного опыта, а отнюдь не из принципа я безразличен к тому, что не находится в моей власти. Не в первый раз попадаю я в положение, из которого не вижу выхода, но это было бы впервые, если бы я его не нашел. Любопытство к тому, что же будет дальше, — вот, главным образом, что я чувствую в таких случаях. Я просто использую те средства, которые мне представляются лучшими, и спокойно жду результата. В данном случае дело обстоит для меня проще, так как я отдаю его в руки доброго и мудрого человека. Но в одном отношении я отсылаю это письмо с небывалым дотоле трепетом в сердце. Ваше решение может быть каким угодно — все равно я лишаюсь чего-то в том радостном чувстве, которое питаю к Вам. Если оно будет положительным, то я смогу, конечно, восстановить утерянное, если же оно будет отрицательным, то, как мне кажется, — никогда».

Решение Канта было диалектическим — ни положительным, ни отрицательным. Кант никогда не подавал милостыню на улице, но охотно передавал своему пастору значительные суммы на помощь бедным. Когда в безденежье оказался его ученик Плессинг (вынужденный спешно покинуть Кенигсберг из опасения предстать перед судом по поводу уплаты алиментов), Кант, не раздумывая, выложил за него 30 талеров. (Плессинг вернул ему их через девять лет, прибавив, как тогда полагалось, пять процентов за каждый год.) Фихте не получил от Канта ни гроша, но получил нечто большее — учительское место в богатой семье и, главное, «путевку в жизнь» большой философии. Кант предложил издать «Опыт критики любого откровения», нашел издателя и добился немедленной выплаты гонорара.

Книга привлекла внимание. Она вышла анонимно, и хотя при вдумчивом чтении можно было обнаружить и смысловое и стилистическое отличие ее от кантовских работ, молва приписала авторство Кенигсбергскому философу: от него давно ждали трактата по философии религии. Возможно, что издатель выпустил книгу (вопреки желанию Фихте) без указания автора, рассчитывая именно на то, что ее припишут Канту. Маленькая хитрость принесла большой барыш. Канту пришлось выступить в печати с заявлением и назвать новое литературное имя. Фихте стал известен.

При печатании «Опыта критики любого откровения» возникли цензурные трудности, новые времена давали о себе знать. Фихте, однако, повезло: цензор сменился, и книга увидела свет. Кант же при публикации своего труда о религии столкнулся с более серьезными препятствиями. Первая часть трактата под названием «Об изначально злом в человеческой природе» получила цензурское разрешение в самом начале 1792 года и была напечатана в

«Берлинском ежемесячнике» Бистера. Но затем последовал новый королевский указ об усилении контроля за прессой. У всех на глазах, говорилось в указе, печальный пример великой страны, где чрезмерное свободомыслие привело к крушению государственных устоев.

Речь шла о Франции, переживавшей великую революцию. Французский король был пленником народа и ждал суда. Влияние духовенства падало, дехристианизаторы закрывали приходы и громили церкви. Страхи прусского короля и его приспешников, опасавшихся любой крамолы в собственной стране, можно было понять.

Бистер, получив из Кенигсберга вторую статью Канта — «О борьбе доброго принципа со злым за господство над человеком», предлагал действовать в обход прусской цензуры (такая возможность была). Но Кант не хотел скандала по мелкому поводу и поэтому настаивал на соблюдении буквы закона. Статья не прошла. Тот же цензор, что пропустил первую статью, задержал вторую. Апелляция к королю не увенчалась успехом.

У Канта уже был готов весь трактат, все его четыре части. Теперь игра стоила свеч, философ мог пойти на риск скандала. Обмануть бдительность цензуры не составляло труда. Дело в том, что за университетами оставалось право выдавать разрешения на публикацию научной литературы. Кант представил рукопись богословскому факультету «Альбертины» и получил ответ, что поскольку его трактат носит философский характер, то рассмотрению подлежит на соответствующем факультете. Тогда он отправил «Религию в пределах только разума» в либеральную Иену, где декан философского факультета без колебаний поставил визу. Весной 1793 года книга была напечатана, не вызвав никакого переполоха.

Взамен непошедшей статьи Кант послал в «Берлинский ежемесячник» другую — «О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики». Речь шла о морали и праве. Последнее все более привлекало внимание Канта, именно здесь он искал теперь ответ на вопрос о том, на что же все-таки следует надеяться человеку. Прусские правовые порядки не внушали оптимизма, но Кант рассуждал в общей форме. Он осуждал деспотизм. Нельзя принудить меня быть счастливым так, как того хочет другой. Каждый вправе искать своего счастья на том пути, который ему самому представляется хорошим (если только он этим не нанесет ущерба свободе других стремиться к подобной цели). Правление отеческое, при котором подданные, как несовершеннолетние, не в состоянии различить, что для них полезно, а что вредно (за них это решает глава государства), — такое правление есть величайший деспотизм. Правление должно быть не отеческим, а отечественным, объединяющим правоспособных граждан.

Затем последовала статья «Нечто о влиянии Луны на погоду». И здесь содержалась ироническая шпилька власть предержащим. С наукой, говорил Кант, дело обстоит как с катехизисом. Чем старше мы становимся, тем меньше мы в нем понимаем, нас следовало бы снова послать в школу, если бы только нашелся человек, о котором мы могли бы подумать, что он понимает что-либо лучше нас самих.

Статья была написана в апреле 1794 года, накануне семидесятилетия. Юбилейных торжеств не было — Кант радовался уже тому, что о нем не вспоминают. Со дня на день он ждал какой-нибудь крутой меры правительства. «Жизнь коротка, особенно то, что остается после прожитых 70 лет, но я надеюсь: найдется на Земле уголок, где можно будет беззаботно закончить свои дни. Если Вы сообщите мне что-нибудь, что не является тайной, но в наши места может прийти не сразу и в искаженном виде, буду рад». Просьба обращена к Бистеру, издателю «Берлинского ежемесячника». Посылая ему новую статью «Конец всего сущего», Кант просит опубликовать ее, «прежде чем наступит конец Вашей и моей писательской деятельности». Оба уже давно находятся под угрозой. И тем не менее один пишет, а другой печатает статью, которая представляет собой шедевр философской иронии. И это была последняя капля, переполнившая чашу терпения властей.

Что могло вызвать высочайшее неудовольствие в статье «Конец всего сущего»? Кант непочтительно обходился с Библией. Он иронизировал над идеей Страшного суда и другими догматами веры. «Если *конец сущего* представить себе как конец света в той форме, как он существует ныне, а именно, что звезды упадут с неба, рухнет небосвод (или рассыплется, как листы книги), и всё сгорит, и будет создано новое небо и новая земля как обитель блаженных и

ад для грешников, то такой судный день, конечно, не может стать последним, ибо за ним последуют другие дни. Сама идея конца всего сущего ведет свое происхождение от размышлений не о физической, а о моральной стороне дела». Речь, следовательно, может идти о конечной цели человеческого бытия. Если последняя оказывается недостижимой, то в глазах обывателя «сотворенное бытие теряет смысл, как спектакль без развязки и замысла».

По ироническому мнению Канта, конец всего сущего может быть троякого рода: 1) естественный, соответствующий моральным целям божественной мудрости, 2) сверхъестественный — под воздействием причин, нашему пониманию недоступных, 3) противоестественный, который «мы вызовем сами вследствие неправильного понимания конечной цели». Говоря о последнем, Кант явно намекал на противоестественный характер тех насильственных мер, которыми министерство Вёльнера пыталось укрепить положение религии. Что же делать для укрепления веры? Лучше всего, по мнению Канта, не вмешиваться в естественное течение дел.

«Я слишком хорошо осознаю свою неспособность внести какое-либо новое, счастливое предложение и хочу лишь дать совет, для чего, конечно, не нужна большая изобретательность, — оставить всё в том состоянии, которое уже сложилось и на протяжении почти поколения сносно проявило себя в своих последствиях. Естественно, это не может быть мнением мужей великого или предприимчивого духа, но да будет мне позволено скромно обратить внимание не на то, что они хотели совершить, а на то, что им придется преступить, чтобы не действовать вопреки своим (пусть даже самым лучшим) намерениям». Кантовская ирония окрашивается в меланхолические тона. Статью читать «и грустно, и смешно», признавался автор.

Есть в статье определенная, и притом довольно дерзкая переключка с французским свободомыслием. В свое время Вольтер иронизировал: среди заповедей Моисея не забыты указания насчет устройства отхожих мест. Кант в духе Вольтера пародирует библейскую легенду о появлении человека на земле, излагая ее в терминах ассенизации. Земной мир, пишет он, сравнивают «с клоакой, куда спускаются нечистоты из других миров. Эта весьма остроумная мысль пришла в голову одному персидскому остроумцу, который поместил рай, местопребывание первых людей, на небо. Там было много деревьев, отягощенных роскошными плодами, остатки которых после еды незаметно испарялись из организма. Исключение составляло одно дерево, соблазнительные плоды которого оставляли иного рода выделения. Поскольку наши прародители дали себя соблазнить и, вопреки запрету, вкусили от этих плодов, то, чтобы не запачкать небо, пришлось воспользоваться советом одного из ангелов, который показал на Землю и сказал: «Вон отхожее место для всей Вселенной». Он их свел туда по нужде и, оставив там, вознесся на небо. Так появился на Земле человеческий род...» Гнев начальства можно было понять.

Поползли слухи о готовящейся над Кантом расправе. Говорили, что ему предложено будет либо отречься от своих взглядов, либо покинуть университет. Именно так расправились с коллегой Канта профессором Хассе, обвиненным в свободомыслии. Хассе уступил, покался, теперь над ним всячески измывались. Вопрос об отставке Канта казался предрешенным.

Из далекого Брауншвейга пришло письмо от Кампе, с которым Кант в свое время переписывался. Бывший педагог «Филантропина» не сомневался в том, что философ никогда не откажется от своих убеждений, и предлагал поддержку. «В этом случае Вы можете рассматривать себя в качестве хозяина всего того, чем я располагаю. Вы обрадуете меня и моих близких, если поселитесь в моем довольно просторном доме, который с этого момента станет Вашим, и займете место Главы моей семьи».

Глубоко тронутый Кант отвечал Кампе, что слухи ложны. «Комендант нашего города не предъявлял мне никаких требований опровергнуть свои взгляды». Но Кампе прав в оценке той позиции, которую он, Кант, займет, если ему предъявят подобные требования; впрочем, такое вряд ли произойдет, ибо он не нарушал никаких законов. А если все же случится, то у него есть средства, необходимые для того, чтобы прожить остаток дней своих, не прибегая к чужой помощи, с каким благородством ее ни хотели бы ему оказать.

В июле 1794 года русская Академия наук избрала его своим членом. На заседании 28 июля был утвержден список из 14 иностранных ученых. Рекомендовал Канта географ И. И.

Георги, превозносивший не только «Критику чистого разума», но и «Физическую географию», тогда еще не опубликованную и известную лишь как лекционный курс.

...В России Канта знала не только академия. В Москву идеи критической философии занес гёттингенец Людвиг Мельман, преподававший в 90-х годах сначала в университетской гимназии, а потом и в самом университете. В 1791 году «Московский журнал» напечатал «Письма русского путешественника» Н. Карамзина, где рассказывалось о его визите к знаменитому философу.

В Петербурге в том же году вышел философский роман «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад». С шедевром Гёте его роднил не только сюжет, заимствованный из средневековой легенды, но и кантианский взгляд на дела человеческие. В эпилоге книги содержалось ироническое пожелание немецким профессорам «победить своего величайшего противника всеокрушающего Канта, чтобы с их кафедры вечно могла греметь метафизическая бессмыслица». Автором анонимно изданной книги был в прошлом вождь «Бури и натиска» Фридрих Максимилиан Клиндер, ныне офицер русской армии Федор Иванович Клиндер (он умер совсем обрусевшим в чине генерал-лейтенанта). Клиндеровский Фауст — противник феодальной системы и клерикализма, носитель правосознания. Он изобрел книгопечатание, но с опаской взирает на дегуманистические поползновения науки. В своих скитаниях по белу свету Фауст однажды сталкивается с группой одержимых жаждой знания ученых, изучающих анатомию на живом человеке, с которого содрана кожа.

Летом 1794 года Канта посетил русский офицер Вольдемар Унгарн-Штернберг. Потом в Петербурге он тиснул небольшую книжицу «Послание к России», состоящую из оды в честь Екатерины II и сопроводительных дарственных писем великим мира сего — графу Румянцеву-Задунайскому, князю Зубову, фельдмаршалу Суворову и т. д. и т. п. Имя профессора Канта замыкало этот ряд. Автор называл его «князем философов», «цезарем мудрецов», «великим человеком без титулов и орденов», уверял, что уже Аристотель предчувствовал его появление, а царица Екатерина осуществила его гражданские предназначения. «Ее законы определяют моральную свободу, она учит равенству прав; хижины и дворцы украшают одни и те же розы, все граждане пьют из одного кубка». Штернбергу Кант не ответил.

Зато он взвешивал каждое слово в своем ответе князю Белосельскому; их обмен посланиями — самый интересный, но совершенно забытый эпизод из истории прижизненных отношений Канта с русской культурой. Он настолько интересен, что мы отвели ему особое место — в конце книги.

...Избрание Канта в Петербургскую академию состоялось в июле 1794 года. В сентябре он получил письмо от конференц-секретаря Эйлера (сына знаменитого математика) с приятным известием и обещанием прислать диплом «с первой надежной оказией, как только к нему будет приложена большая императорская печать». Жизнь текла в те времена неторопливо, почта работала с перебоями. Но диплом все же в конце концов дошел благополучно до хозяина. Вот его текст в переводе с латыни:

**«По повелению
светлейшей и могущественнейшей
государыни императрицы
ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ
всея Руси самодержицы
Я, Екатерина княгиня Дашкова,
кавалер ордена св. Екатерины,
директор Академии Наук
согласно праву, дарованному мне государыней,
провозглашаю настоящим почетным дипломом
Иммануила Канта, профессора философии в Кенигсберге,
мужа знаменитейшего, достойного всяческого отличия
за его славные успехи в науках, по общему решению всей Петербургской
академии,
иностранным членом этого общества и надлежащим образом жалую его
почетом,
привилегиями и милостями, дарованными корпорации академиков».**

Вполне возможно, что Кант читал ободрительные слова из Петербурга одновременно с окриком, последовавшим из Берлина. Ибо гром наконец грянул. Прусское правительство долго ломало голову, как наказать всемирно известного ученого и не угодить при этом в глупое положение. Наконец форма взыскания была найдена: в октябре 1794 года Кант получил выговор от короля, но никто (кроме самого философа) об этом не узнал. Королевский указ не был обнародован, он пришел как частное письмо.

«Наша высочайшая особа уже давно с великим неудовольствием наблюдает, как Вы злоупотребляете своей философией для искажения и унижения некоторых главных и основных положений Священного писания и христианской веры, что Вами было допущено в книге «Религия в пределах только разума» и других мелких трактатах. Мы ожидали от Вас лучшего; Вы сами должны понять, сколь безответственно вы нарушаете свой долг учителя юношества и поступаете вразрез с нашими, Вам хорошо известными отеческими намерениями» (после того как Кант высмеял идею «отеческого» правления, было несколько рискованно употреблять этот термин в официальном документе!). «Мы требуем от Вас немедленного и добросовестного ответа и надеемся, что во избежание нашей высочайшей немилости Вы в будущем не провинитесь подобным образом, а напротив, в соответствии с Вашим долгом, примените свое влияние и свой талант в целях осуществления наших отеческих намерений; в противном случае, при дальнейшем неповиновении, Вы неизбежно навлечете на себя неприятные распоряжения». От имени короля депешу подписал министр Вёльнер.

Отказываться от своих взглядов было не в правилах Канта, оказывать сопротивление — ему не по силам. На случайно подвернувшемся клочке бумаги он сформулировал единственно

возможную тактику: «Отречение от внутреннего убеждения низко, но молчание в случае, подобном настоящему, является долгом подданного; если все, что говоришь, должно быть истинным, то не обязательно гласно высказывать всю истину». Так категорический императив приобрел конкретно-историческую форму. От Канта требовали немедленного ответа, и он ответил немедля. Соблюдая все необходимо смиренные формулы обращения верноподданного к своему монарху, он отнюдь не калялся, а, наоборот, решительно отводил по всем пунктам предъявленные ему обвинения. Во-первых, в качестве «учителя юношества» в своих лекциях он не преступал границы философского истолкования религии, чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в конспекты его студентов. Во-вторых, в качестве автора в своей книге «Религия в пределах только разума» он не действовал вразрез с «высочайшими отеческими намерениями», ибо последние устремлены к благу существующей в стране религии, а названная книга предназначена для факультетских ученых — богословов и философов, дабы определить, каким образом вообще можно наиболее ясно и действенно донести религию до человеческого сердца, учение, о котором народ вообще не имеет никакого представления. В-третьих, в названной книге нельзя найти унижения христианства, ибо в ней вообще не содержится никаких оценок какой-либо из существующих религий откровения, а рассматривается только религия разума как высшее условие всякой истинной религии. «Пусть мой обвинитель укажет хотя бы один случай, где я позволил себе унижить христианство, оспорил его как учение об откровении или назвал бы его ненужным». В-четвертых, Кант настаивал на том, что он показал подлинное уважение к христианству, истолковав Библию как лучшее из существующих средств для основания и обретения моральной религии народа. В-пятых, «я всегда требовал добросовестности от сторонников религии откровения, чтобы они не утверждали о ней более того, в чем они действительно убеждены, и не призывали других верить в то, в чем они сами не полностью уверены. Я же сам в своих сочинениях, касающихся религии, никогда не упускал из виду совесть — божественного судию, находящегося во мне. Более того, не скажу: каждую пагубную для души ошибку, но каждое только лишь казавшееся мне предосудительным сомнение я незамедлительно устранял, добровольно восставая против него, особенно теперь, когда мне идет 71-й год и когда сама собой приходит мысль, что и мне, конечно, придется держать ответ перед всемирным судьей, которому ведомы сердца. И поэтому сейчас я с полной добросовестностью держу ответ перед высшей государственной властью». И наконец, в-шестых, дабы не давать повода для обвинений в извращении и унижении христианства, философ «в качестве верного подданного Вашего королевского величества» обещал в дальнейшем воздержаться от публичных выступлений по вопросам религии.

Ответ Канта был достоин великого ироника. «В качестве верного подданного Вашего королевского величества» эта внешне смиренная формула содержала двусмысленность: после смерти Фридриха-Вильгельма II Кант заявил, что он свободен от взятого на себя обязательства (поскольку он стал теперь подданным другого «величества»). В «Споре факультетов» Кант вернулся к толкованию Библии, а в предисловии к работе опубликовал свою переписку с королем.

«Спор факультетов», по словам Канта, — вещь, «строго говоря, сугубо публицистическая». Она полемична и иронична. Особенно ее первая часть, написанная в 1794 году под свежим впечатлением правительственного выговора. Три «высших» факультета — богословский, юридический и медицинский — опираются не на разум, а на указания. Богословы исходят из Библии, юристы из правительственных установлений и даже медики лечат, руководствуясь не «физикой человеческого тела, а руководствами по медицине». (Впрочем, медицинский факультет намного свободнее, чем первые два, и «очень близок философскому».)

Спор между факультетами идет из-за влияния на народ. Последний желает быть ведомым, то есть на языке демагогов — обманутым. И Кант высмеивает позицию обывателя: «То, что вы, философы, болтаете, я сам знаю уже давно; я бы хотел узнать от вас, как от ученых: как бы мне, прожившему нечестивую жизнь, все же в последний момент получить позволение войти в царство небесное; как бы мне, если даже я не прав, выиграть тяжбу и как бы мне остаться здоровым и долго прожить, если даже я тратил сколько хотел свои телесные силы на наслаждения и даже злоупотреблял ими?»

Высшие факультеты — это «правое крыло» парламента ученых, правительственная партия; философский факультет — «левое крыло», своего рода оппозиция, и притом весьма

необходимая правительству инстанция. Ибо без его строгой проверки и возражений у правительства не будет достаточно ясного понятия о том, что ему самому полезно или вредно. Философы призваны контролировать три высших факультета, впрочем, они народ скромный: «Можно в крайнем случае согласиться с гордым притязанием богословского факультета на то, что философский факультет его служанка (при этом все же остается открытым вопрос: несет ли эта служанка перед милостивой госпожой факел или шлейф позади нее), лишь бы не закрыли философский факультет и не зажали ему рот». Кант верит в прогресс и надеется, что со временем положение изменится: «последние станут первыми», низший факультет — высшим, разумеется, не в смысле господства (к этому философы не стремятся), «а в смысле советов властям; в этом случае свобода философского факультета и вытекающая отсюда свобода воззрений будет лучшим средством для достижения целей правительства, чем его собственный абсолютный авторитет».

В «Споре факультетов» Кант снова настаивает: церковная вера может не совпадать с религией. «Если я принимаю веру в качестве принципа безотносительно к морали... то такая вера вовсе не часть религии». Вера в библейские поучения сама по себе не заслуга, а отсутствие веры и даже сомнение само по себе не есть вина. «Важнее всего в религии дело». Теоретический разум венчает знание, практический — не вера, а поведение.

Вначале было дело. Так гётевский Фауст интерпретирует Евангелие от Иоанна. В деянии начало бытия, гласит другой перевод. Кант мог бы уточнить: в моральном деянии начало человеческого бытия. «Спор философского факультета с богословским» венчает рассуждение о специфическом отличии человека. Отнюдь не рассудок отличает его от животного, инстинкт — это тоже «род рассудка». Только мораль делает человека человеком. Потеряв ее, человек превращается в животное.

После «Критики способности суждения» проблема человека доминирует в учении Канта уже не подспудно, а явно. Три прежних основных вопроса своей философии он дополняет теперь четвертым, самым главным, — о человеке. Вот свидетельство, относящееся к середине 90-х годов: «Поприще философии в этом широком значении можно подвести под следующие вопросы:

- 1) Что я могу знать?
- 2) Что я должен думать?
- 3) На что я могу надеяться?
- 4) Что такое человек?..

В сущности, все это можно свести к антропологии, ибо три первых вопроса относятся к последнему».

Человек рожден для общества, говорили во времена Канта. Чем дальше, тем больше Кант думал об этой стороне дела. Признание культуроформирующей (в первую очередь художественной) деятельности в качестве основы мира человека еще не означало для Канта решения всей проблемы человека. В самом развитии культуры Кант обнаружил противоречия, устранить которые не в силах ни сам по себе категорический императив, ни художественная интуиция. Сам по себе человек ничего здесь сделать не может. На что же ему все-таки надеяться? Кант дополняет религиозное и этическое решение проблемы социологическим. Надеяться можно на других, на общество в целом, на его социально-правовые институты. Философия права — это новый рубеж духовного развития Канта, который он взял, уже будучи глубоким стариком. Философия Канта оптимистична. Он не только любит человека, но и верит в него, надеется на его разум, волю, благородство. Вера, Надежда, Любовь — эта триада значила для Канта столь же много, как и уже известная нам, — Истина, Добро, Красота.

Глава седьмая

К ВЕЧНОМУ МИРУ

Для человека, готовящегося покинуть этот мир, нет ничего утешительней, чем уверенность, что жизнь прошла не напрасно.

Кант

Век Просвещения заканчивался войнами. Царство разума, провозглашенное идейными вождями третьего сословия, обернулось господством чистогана, кровавой борьбой за политическую и экономическую гегемонию...

Революционная Франция не стала дожидаться, когда на нее нападут, и выступила первой. Национальное собрание объявило войну «тиранам Европы». В Пруссии война была непопулярна. Гёте, участвовавший в походе, не скрывал своего презрения к французским эмигрантам, мечтавшим о восстановлении монархии. После неудачи под Вальми он обронил знаменитую фразу: «Отсюда и с сегодняшнего дня начинается новая эпоха всемирной истории».

Французы перешли в контрнаступление. Их войска вторглись на немецкую землю. Пали Майнц и Франкфурт. В Майнце возник революционный конвент, проголосовавший за присоединение к Франции (среди майнцких руководителей выделялись оппонент Канта Форстер и кантианец Дорш). На Франкфурт была наложена большая контрибуция: в Париже считали, что война должна кормить себя сама (а также подкармливать нацию). Во Франкфурте французы не удержались, летом 1793 года они сдали и Майнц. С переменным успехом боевые действия продолжались до апреля 1795 года.

В Кенигсберге о событиях в Западной Европе узнавали с большим опозданием. Теперь Кант читал газеты не по вечерам в часы отдыха, а сразу, как только они приходили. Политика все больше занимала его интересы. На Базельский мир, прекративший войну между Пруссией и Францией, но сохранивший состояние враждебности, чреватой новыми столкновениями, философ откликнулся знаменитым трактатом «К вечному миру», в котором теоретическая основательность органично сочеталась с политической злободневностью и выражена была в отточенной иронической форме.

Уже название «К вечному миру» звучало для немецкого уха двусмысленно: по форме это и стереотипный заголовок научной работы, и не менее стереотипная ...вывеска трактира. Кант не преминул воспользоваться двусмысленностью. «К кому обращена эта сатирическая надпись на вывеске одного голландского трактирщика рядом с изображенным на вывеске кладбищем? Вообще ли к людям или, в частности, к главам государств, которые никогда не могут пресытиться войной, или, быть может, только к философам, которым снится этот сладкий сон?» — так начинается философский трактат о мире.

«Вечный мир» — тоже двусмысленность, которая как бы открывает перед человечеством два возможных решения — либо прекращение войн путем международного договора, либо вечный мир «на гигантском кладбище человечества» после истребительной войны. Для того чтобы увидеть первую возможность, надо было просто уметь мечтать; вторая в XVIII веке могла открыться только человеку, который привык додумывать все до конца. О первой уже в то время писали многие, упоминание о второй мы находим лишь у Канта.

Впрочем, он оптимист и не устает пропагандировать идею международного соглашения. И свой трактат он строит в виде договора, пародируя соответствующие дипломатические документы. Сначала прелиминарные статьи, затем окончательные и даже одна тайная. Прелиминарные статьи формулируют условия, открывающие путь к нормальным отношениям между государствами. 1. Ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении сохраняется скрытая возможность новой войны. 2. Ни одно самостоятельное государство (большое или малое — это безразлично) не может быть приобретено другим государством путем наследования, обмена, купли или дарения. 3. Постоянные армии со временем должны полностью исчезнуть. 4. Государственные долги не должны служить целям внешнеполитической борьбы. 5. Ни одно государство не имеет права насильственно вмешиваться в политическое устройство и правление другого государства. 6. Ни одно

государство во время войны с другим не должно прибегать к таким враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие при будущем мире, как, например, засылка убийц, отравителей, нарушение условий капитуляции, подстрекательство к измене и т. д.

В «окончательных» статьях кантовского проекта речь идет об обеспечении достигнутого мира. Гражданское устройство в каждом государстве должно быть республиканским. (Республика, по Канту, означает не отсутствие монарха, а правовой порядок, гласность и разделение властей, Фридрих II, по его мнению, правил страной республикански.) Вторая «окончательная» статья договора о вечном мире определяет основу, на которой возникает международное право, а именно — добровольный союз государств, где реализуется устройство, подобное гражданскому обществу, в котором каждому его члену гарантировано его право. Союз народов, «федерализм свободных государств» не всемирное государство; Кант недвусмысленно выступает за сохранение национального суверенитета. Третья «окончательная» статья ограничивает «всемирное гражданство» лишь правом на гостеприимство в чужой стране. Каждый человек должен иметь возможность посетить любой уголок земли и не подвергаться при этом нападениям и враждебным действиям. Каждый народ имеет право на территорию, которую он занимает, ему не должно угрожать порабощение со стороны пришельцев. Кант — противник колониальных захватов.

Он не был первым, узревшим бедствия войны. Человечество выстрадало мечту о мире. Уже в древности люди задумывались над искоренением кровопролития из жизни общества. Эразм Роттердамский в трактате «Жалобы мира» призывал монархов покончить с войнами. В XVII веке родилась идея достигнуть вечный мир путем договора между государствами. Сен-Пьер и Руссо были горячими сторонниками этой идеи. То новое, что внес Кант, состояло в обосновании неизбежности установления на земле всеобщего мира. Не случайная воля монарха, а историческая необходимость одолеет войну как форму международных отношений. Государства вступят на путь создания мирного союза, подобно тому как в свое время люди вступили на путь создания государства. И в том и в другом случае речь идет об отказе от части своих прав (вернее, от самоуправления), но не о потере самостоятельности. Эту мысль Кант высказал еще в 1784 году в статье о всеобщей истории. И с тех пор неизменно ее придерживался и неоднократно повторял. Кант не убеждал монархов, не соблазнял их прелестями мирной жизни (как это делали его предшественники), он настаивал на неизбежности мира и иронизировал над теми, кто игнорирует веленье времени.

Договор о вечном мире венчает «тайная» статья. Что она содержит? Одну лишь насмешку: «Государства, вооружившиеся для войны, должны принять во внимание максимы философов об условиях возможности общего мира». И все пояснения к этой «статье» ироничны и насмешливы. Вот пассаж о юристах: «Юрист, избравший символом права весы и рядом с ними символом справедливости меч, обычно пользуется мечом не только для того, чтобы оградить весы от всех посторонних влияний, но и для того, чтобы положить его на чашу, если она не захочет опуститься». А вот о философах, претендующих (в соответствии с утопией Платона) на власть: «Нельзя ожидать, чтобы короли философствовали или философы стали королями; да этого и не следует желать, так как обладание властью неизбежно извращает свободное суждение разума. Но короли или самодержавные... народы не должны допустить, чтобы исчез или умолк класс философов, а должны дать ему возможность выступать публично; это необходимо и тем и другим для внесения ясности в их деятельность».

А какие советы дает Кант «практику-политику»? 1) *Fas et excusa*. Не упускай случая, благоприятствующего самовластному захвату (права государства либо над своим народом, либо над другим, соседним народом). Подыскать оправдание или прикрыть благовидными предложениями насилие после захвата будет гораздо легче и удастся с большим блеском... 2) *Si fecisti, pege*. Отрицай свою виновность в том преступлении, которое ты сам совершил. Например, доведя свой народ до отчаяния и тем самым до восстания, утверждай, что в этом виновата строптивость подданных. «3) *Divide et impera*. Это значит: если в твоём народе есть некоторые привилегированные лица, обладающие властью, которые избрали тебя своим верховным главой, то посеяй между ними раздор и поссорь их с народом; заступись далее за народ, обольщая его большей свободой, и всё будет зависеть от твоей неограниченной воли. Если же дело идет о других государствах, то возбуждение розни между ними — вполне надежное средство подчинить себе их одно за другим под предлогом помощи более слабому».

Такими политическими максимами, заключает Кант, конечно, никого не обманешь, так как они общеизвестны. Скомпрометировать их может не разглашение, а только неудача.

Как объединить политику с моралью? Есть две возможности: либо приспособить мораль к интересам политики, либо подчинить политику морали. Первый вариант поведения избирает «политический моралист», он начинает там, где останавливается «моральный политик» («ставя повозку впереди лошади»), он подгоняет принципы под цели. Подлинное единство морали и политики возможно только на основе права. А гарантией служит гласность.

Ни одно из сочинений Канта не вызывало таких непосредственных и живых откликов. Первое издание трактата «К вечному миру» буквально расхватали. Издатель Николовиус в том же 1795 году выпустил новое. Одновременно в Берне вышел французский перевод, которым, однако, Кант остался недоволен. В 1796 году Николовиус выпустил новое немецкое и авторизованное Кантом французское издание. В Париже возник третий перевод, который увидел свет книгой и (в извлечениях) на страницах газеты «Монитор». «Знаменитый Кант, — писал парижский официоз, — совершивший в Германии духовную революцию наподобие той, что сокрушила старый режим во Франции, сей муж отдал всю силу своего имени делу республиканского устройства».

Любопытно, что сопоставление идей критической философии с духом французской революции родилось уже в то время. Гейне верно почувствовал моменты сходства. (Маркс философию Канта прямо назвал «немецкой теорией французской революции»¹. Единственно, в чем ошибся Гейне, был выбор эквивалента. Не экстремист Робеспьер, а умеренный Сийес восторгался Кантом. Сийес пытался организовать в Париже чтение лекций о философии Канта, и только отсутствие специалиста помешало это осуществить. Когда в 1798 году в Париж приехал Вильгельм Гумбольдт, Сийес попросил его донести до французских коллег основные идеи кантианства. Состоялся пятичасовой коллоквиум, на который были приглашены наиболее именитые «метафизики» (Кабанис, Дестют де Траси и др.). Гумбольдт уверял потом, что не нашел общего языка с аудиторией, так как французы не склонны к абстрактному мышлению. Но было и другое мнение: лектор слабо ориентировался в кантовских «Критиках».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 83.

Ходили слухи, что Сийес намерен послать Канту на отзыв французскую конституцию, что Париж обратился с просьбой в Берлин командировать во Францию философа для наилучшего устройства государственных дел. В 1797 году появилась (неизвестно где и кем изданная) книга «Ответ профессора Канта аббату Сийесу», содержащая проект христианской утопии. В конце книги автор признавался в подделке.

Генерал Бонапарт проявлял живой интерес ко всему диковинному. Философия Канта не составляла исключения. Во время пребывания первого консула в Женеве некий незадачливый эрудит безуспешно пытался обратить его в кантианство. Вскоре после этого в Лозанне Бонапарт стал расспрашивать тамошнего мудреца об отношении швейцарцев к философии Канта. Услышав в ответ: «Генерал, мы ее просто не понимаем», радостно обратился к своему спутнику: «Вы слышите, Бертье, здесь Канта тоже не понимают».

Наконец, однажды Бонапарту стало известно, что в Париже имеется великолепный знаток Канта, бывший эмигрант Шарль де Виллер, автор изложения «Критики чистого разума», которое переведено на немецкий и издано в Германии. Первый консул вызвал Виллера и велел на четырех страницах изложить суть кантовской философии, дав на размышление четыре часа. В результате возник четкий конспект, который, однако, не произвел на Бонапарта должного впечатления. Заклучая конкордат с папой, будущий император изволил выразиться: «Священники ценнее, чем Калиостро, Кант и все немецкие мечтатели».

События во Франции и на Европейском континенте усилили давно созревший интерес Канта к проблеме права. Мораль дает внутренний закон поведения человека, в принципах права внутреннее убеждение сочетается с внешним принуждением. В результате возникает сила, регламентирующая жизнь общества, укрепляющая нравственность, спасающая человека от произвола других.

Право формально. Оно обязательно для всех, не оставляя никакого места для исключений. Стоит только допустить малейшее исключение в исполнении закона, чтобы он стал шатким и ни на что не годным. Это сказано было относительно нравственности, о праве Кант говорит то же самое. Конечно, и здесь есть свои трудности, свои противоречия. Кант не закрывает на них глаза и сам называет два случая, когда право становится двусмысленным.

Прежде всего — апелляция к справедливости. Вам выплачивают жалование в обесцененных деньгах, на которые нельзя купить то, что вы могли бы приобрести на них при заключении контракта. Это несправедливо, но у вас нет правовых оснований для перерасчета. Вы можете только взывать к справедливости — немому божеству, голос которого нельзя услышать. С точки зрения справедливости строгое право — величайшая несправедливость. Но ничего не поделаешь. Законы должны соблюдаться. Такова аксиома правосознания.

Другой сомнительный случай — крайняя необходимость. Говорят, что нужда не знает заповедей. И тем не менее, утверждает Кант, не может быть такой нужды, которая сделала бы законосообразным то, что неправо. Здесь как и при отказе от моральных норм: если ты вынужден преступить закон, то знай, на что идешь, и не выдавай зло за благо, правонарушение за законопослушность.

Кантовская «Метафизика нравов» — панегирик правосознанию. Она увидела свет двумя выпусками — в январе и августе 1797 года. Первая часть посвящена праву, вторая — морали. В философии права Кант находит существенное дополнение к ответу на вопрос, который был задан в философии религии, — на что я могу надеяться. Кроме как на себя самого, человек возлагает надежду на общество, на социальные институты, на юридические законы.

В результате претерпевает изменения и кантовская концепция морали: она теряет черты ригоризма. Мыслителя то и дело одолевают «казуистические вопросы», на которые невозможно дать однозначные ответы. Он становится терпимее, меньше требований предъявляет к человеку, больше прегрешений готов ему отпустить. Он говорит о счастье людей как о конечной цели человеческого рода. О любви как силе, споспешествующей счастью. Вторая часть «Метафизики нравов» содержит существенные коррективы к «Критике практического разума» и другим этическим работам.

Обратимся, однако, к первой части. Право, по Канту, распадается на частное и публичное, в первом рассматриваются отношения между частными лицами, во втором — между человеком и обществом, а также между социальными группами. Главная проблема частного права — собственность. Частная собственность составляет основу гражданского общества, но она не изначальна, «мое» и «твое» — результат истории. Объектом собственности могут быть только вещи; человек — лишь субъектом ее. Владеть человеком нельзя. Есть, правда, сфера вещно-личного права, где люди рассматривают себя как вещи и отдают друг друга во взаимное пользование. Это брак, который Кант определяет как «соединение двух лиц разного пола ради потенциального обладания половыми органами другого». Кант не устает подчеркивать равенство вступающих в брак сторон. Поэтому не только муж может потребовать ушедшую от него жену, но и наоборот. У обоих и равное право на наслаждение. Здесь старый холостяк Кант смотрит на вещи гораздо шире, чем его последователь женатый Фихте, искренне считавший, что только мужчина должен получать радость в соитии.

Публичное право определяет состояние отдельных индивидов в государстве и отношения между государствами в составе человечества. Правовые атрибуты человека как гражданина суть свобода, равенство и самостоятельность. Первые два явно заимствованы Кантом из лозунгов французской революции, оба устремлены против всех видов феодальной зависимости, деспотизма и сословных ограничений, перед законом все равны. Итак, свобода, равенство... В качестве третьего лозунга на знаменах санкюлотов было начертано некое мифическое «братство», правовую триаду Канта венчает более определенный пункт — «гражданская самостоятельность». Несамостоятельны, по мнению Канта, дети, женщины, слуги, поэтому он лишает их избирательных прав. Но не прав вообще; перед законом, настойчиво повторяет Кант, все равны. Что касается избирательных прав, то, кстати сказать, Якобинская конституция 1793 года не предоставляла их домашней прислуге. Это было в духе времени.

Чтобы исключить деспотизм, Кант настаивает на строгом разделении властей. Идея не новая, но в «Метафизике права» она проведена с предельной последовательностью и убедительностью. В каждом государстве существует три власти — верховная, издающая законы, исполнительная, осуществляющая управление на основании существующих законов, и судебная, контролирующая соблюдение законов. Деспотизм появляется там, где не обеспечена достаточная независимость одной власти от двух других. Противоположность деспотизма, по Канту, — республика. Если в условиях конституционной монархии осуществлен принцип разделения властей, то это, по Канту, республика. Канта называли «прусским королевским республиканцем». Монархия (автократия), полагал он, наиболее проста, а поэтому и удобный способ правления. Она, правда, открывает широкие возможности для деспотизма, но от него не гарантирована и демократия (которая, выродившись, может превратиться в охлократию, деспотическую власть толпы). Форме правления Кант вообще не придает особого значения. Главное, говорит он, чтобы страной правили не люди, а законы. И каждая из трех властей не преступала бы своих полномочий.

Законодательная власть страны воплощает в себе объединенную волю народа. Законодатель не может быть правителем, ибо первый издает законы, а второй подчиняется им. Ни законодатель, ни правитель не могут творить суд, они лишь назначают судей. Народ сам судит себя через своих сограждан, которые назначены для этого как его представители путем свободного выбора. Под пером Канта рождаются требования, удивительно перекликающиеся с программой французской революции. Расходится он с ней только в понимании средств.

Тезис Канта предельно ясен: «обязанность народа терпеть злоупотребления верховной власти, даже те, которые считаются невыносимыми... Изменения в имеющем изъяны государственном устройстве, которые иногда требуются, могут быть произведены только самим сувереном путем реформы, а не народом путем революции». Сказано четко и определенно. Кант потрясен развитием событий во Франции, особенно казнью короля Людовика XVI по приговору Конвента. Убийство монарха во время восстания — это еще куда ни шло. «Казнь по форме — вот что приводит в содрогание душу человека, исполненную идеей человеческого права». Это самоубийство государства.

Теперь наша задача состоит в том, чтобы отыскать антитезис. Он рядом, буквально на следующей странице: «Если революция удалась и установлен новый строй, то неправомерность этого начинания не может освободить подданных от обязанности подчиняться в качестве добрых граждан новому порядку вещей». В «Споре факультетов» Кант произносит панегирик французскому политическому катаклизму: «Революция талантливого народа, происходящая на наших глазах, может закончиться удачей или провалом, может быть в такой мере полна бедствий и злодеяний, что здравомыслящий человек даже в надежде на счастливый исход не решился бы начать столь дорогой эксперимент вторично — и тем не менее эта революция, говорю я, встречает в сердцах всех зрителей... такое сочувствие, которое граничит с энтузиазмом». Ибо борьба идет за погрязшие права народа.

Угнетение всегда чревато восстанием. Кант обращает свой взор на Восток, в сторону гигантской империи, где народ лишен элементарных прав, и задается вопросом, «не предстоит ли нам еще одна революция, которую осуществит славянское племя».

Кант — решительный противник тирании. Он лишь опасается, что применение насилия в борьбе с ней расшатает правосознание и приведет к еще худшей тирании. Деспот должен быть низложен, но только легальными средствами. Народ «имеет свои неотъемлемые права по отношению к главе государства, хотя они не могут быть принудительными правами». Что это за «непринудительные» права? Свобода критики в первую очередь. «Гражданин государства, и притом с позволения самого государя, должен иметь право открыто высказывать свое мнение о том, какие из распоряжений государя кажутся ему несправедливыми по отношению к обществу... Свобода печатного слова есть единственный палладиум прав народа».

Наказывать главу государства нельзя, «можно лишь уйти из-под его власти». Как и куда, Кант не объясняет, но смысл его рассуждений ясен: общественное мнение вправе отказать в поддержке тирану; поставленный в условия моральной изоляции и опасаясь стихийного мятежа, он вынужден будет внять голосу народа, соблюдать существующие законы или реформировать

их, если они нуждаются в исправлении. От недовольных требуется выдержка. Нетерпение неуместно.

Среди просветителей, современников Канта, имели хождение своего рода анархистские концепции. Его оппонент Гердер расточал гневные филиппики против государства, называл его машиной, которую со временем придется сломать. Кант понимает, что без государства нельзя, он видит в нем не механизм, а организм, некое целое. «Каждое звено в таком целом должно, конечно, быть не только средством, но также и целью». Механическое вмешательство в жизнь органического целого недопустимо. Только постепенное совершенствование — путь общественного прогресса.

А улучшение законов — главный его признак. Обоснованию тезиса, что в области законодательства есть свой прогресс, посвящена центральная часть «Спора факультетов». Мы уже приводили содержащуюся в ней восторженную оценку французской революции. Такие события, говорит Кант далее, в мировой истории не забываются, ибо они открывают в человеческом роде наклонность и способность к совершенствованию; это торжество идеи права и, по сути дела, феномен не революции, а эволюции естественно-правового строя.

(После центральной, патетической следует часть ироническая, причем Кант иронизирует над идеей прогресса, то есть над собственными убеждениями. Если при изложении взглядов на религию Кант использовал иронию в целях маскировки, то теперь он прибегает к ней с иными намерениями: задача состоит не в том, чтоб отвлечь внимание, а чтобы привлечь его. Прием не новый, им пользовался Вольтер и многие другие до него.)

Рассуждения о прогрессе в «Споре факультетов» завершаются анекдотом. Одного больного врач обнадеживал тем, что все время находил симптомы выздоровления. То хвалил его пульс, то — стул, то уверял, что потливость свидетельствует об улучшении. Когда больного спросили, как он себя чувствует, бедняга ответил: «Умираю от непрерывного улучшения».

Шутка обогнала время. Есть в ней явное предостережение прогрессу, который чреват губительными последствиями. Видел ли их Кант, предчувствовал ли? Скорее всего да, ибо за этой шуткой следует другая, которая называет предмет опасений — войну. Спор с юридическим факультетом венчает цитата из Юма: «Когда я смотрю на сражающиеся народы, я думаю о двух пьяницах, которые дерутся в лавке фарфоровых изделий: им не только придется лечить свои увечья, но и оплатить причиненные убытки».

Идея вечного мира — завершающее звено философии Канта. Что бы и где бы ни писал Кант об обществе, его рассуждения неизбежно заканчиваются постановкой вопроса об устранении войны.

«Метафизика нравов» не составляет исключения. По сравнению с трактатом «К вечному миру» здесь, правда, есть одна существенная поправка. Там речь шла о всеобщем мире как цели «практически достижимой». Здесь Кант более реалистически смотрит на вещи. «Вечный мир (конечная цель всего международного права) есть, разумеется, неосуществимая идея. Но политические принципы, устремленные на то, чтобы вступать в такие международные связи, которые служили бы постоянному приближению к состоянию вечного мира, вполне осуществимы». Альтернатива всеобщего мира путем договора, мы помним, — вечный покой на кладбище человечества, «противоестественный конец всего сущего». Поэтому, как ни утопичен вечный мир, стремление к нему — императив внешней политики. Императив надежды.

«Метафизика нравов» появилась в 1797 году. Вслед за ней последовал «Спор факультетов» — работа, которую мы уже трижды упоминали. Только что в связи с проблемой улучшения законов («Спор философского факультета с юридическим»), до этого, когда речь шла о столкновении Канта с прусской цензурой («Спор философского факультета с богословским»), и в четвертой главе при рассмотрении кантовской «системы здоровья» («Спор философского факультета с медицинским»). «Спор факультетов» — книга, написанная во славу разума. Три, казалось бы, самостоятельных, возникших в разное время эссе объединяет одна идея: интеллект и воля человека всемогущи, они могут направить общество по пути прогресса, могут одолеть предрассудки и мракобесие, могут управлять физическими процессами организма.

Последнее обстоятельство с годами все больше привлекало его внимание. Врачи знали об интересе (далеко не любительском) Канта к медицине и обращались к нему за советом. Известный анатом Земмеринг прислал ему свою рукопись «Об органе души». Кант ответил обстоятельным письмом, которое затем было напечатано в виде приложения к работе Земмеринга. Кант отстаивал свою давнюю мысль о том, что механических закономерностей недостаточно для понимания деятельности организма и, в частности, нервной системы. Но есть здесь и нечто новое — стремление объяснить жизнь естественным образом. Происходящие в мозгу процессы Кант предлагает рассматривать с точки зрения химического взаимодействия.

От знаменитого врача Хуфсланда пришла книга «Макробиотика, или Искусство продлить свою жизнь». Кант ответил статьей «О способности духа господствовать над болезненными ощущениями», завершившей «Спор факультетов».

Дух Канта долго господствовал над его телом. Но всему приходит конец. Кант не был болен, а силы убывали. Он постепенно сокращал объем своих учебных занятий, заканчивал зимний семестр не в апреле, а в феврале. Последняя лекция (по логике) была прочитана 23 июля 1796 года. Потом еще три семестра он объявлял лекционные курсы, но с оговоркой: «если позволит состояние здоровья». Здоровье не позволяло, лекции отменялись.

За годы работы в университете Кант прочитал 268 лекционных курсов; в том числе логику 54 раза, метафизику — 49, физическую географию — 46, этику — 28, антропологию — 24, теоретическую физику — 20, математику — 16, право — 12, энциклопедию философских наук — 11, педагогику — 4, механику — 2, минералогию — 1, теологию — 1. И вот теперь его голос на кафедре умолк. Студентам хотелось чествовать прославленного профессора, но «круглой» даты поблизости не предвиделось: преподавать Кант начал в 1755 году. А прощаться было рано: уходить в отставку он не собирался.

Тогда вспомнили, что предисловие к первой работе Канта «Мысли об истинной оценке живых сил» помечено апрелем 1747 года. В июне 1797 года решили отметить пятидесятилетие литературной деятельности философа. К дому на Принцессинштрассе направилась студенческая процессия. Играли оркестры. В профессорские покои вошел двадцатилетний юноша, поздравил Канта с юбилеем и заверил мудрейшего, что люди никогда не забудут его уроков. На улице кричали «виват».

Кант гордился тем, что и в преклонном возрасте он сохраняет ясность мысли, бодрость духа, интерес к жизни и любимому делу. Не было сил читать лекции, но он мог еще писать. По-прежнему все предобеденное время он проводил за письменным столом. И старался жить жизнью университета. Когда ректорат решил исключить Канта из состава сената (философ не ходил на заседания), то он запротестовал и добился своего. В письме ректору Кант доказывал, что главное в работе сената — принятие решения путем тайного голосования, а голосовать лучше всего дома, опуская бюллетень в запечатанную урну: здесь никто не мешает и есть время подумать. Из Берлина пришло указание держать Канта в сенате до тех пор, пока он того пожелает.

Летом 1797 года он вдруг узнал, что Петербургская академия наук не числит его своим членом. Давным-давно он получил диплом, а в академических списках его нет. Оказалось, что от него не поступило ответного письма с согласием принять высокое звание. В свое время он отправил такое с оказией (в его бумагах хранился черновик), но произошло какое-то недоразумение. Проживавший в Петербурге пастор Коллинс рассказывал, что он получил из Кенигсберга поручение передать княгине Дашковой письмо профессора Канта, но само письмо ему переслано не было.

Кант немедленно написал новое благодарственное послание, адресовав его И. А. Эйлеру, который был в то время конференц-секретарем Петербургской академии. Оно дошло до адресата, и список русских академиков пополнился еще одним славным именем.

Ныне оригинал письма хранится в архиве АН СССР. Странным образом ни в одном немецком издании переписки Канта его нет, а в Полном собрании сочинений оно значится как утерянное. Поэтому приведем его текст.

«Благородный господин коллежский советник и директор

Высокочитимый господин!

Из сообщения Вашего благородия, переданного мне камер-секретарем герцога Голштинского г. Николовиусом 6 июля с. г. при его проезде через Кенигсберг, я узнал, что полагающееся благодарственное письмо президенту Русск. Императорской Академии наук по поводу моего принятия в ее члены 28 июля 1794 года в Санкт-Петербург от меня не поступило, в результате чего возник существенный пробел в ее списках.

Не будучи знаком с деловыми формальностями, я, по-видимому, мог ошибиться, отправив благодарственное письмо (доставка которого в Канцелярию гарантирована мне здесь распиской г. Коллинса) Академии не через ее директора, а тогдашнему президенту, княгине Дашковой, — ошибка, которая, я надеюсь, будет исправлена настоящим моим извинением и объяснением.

С высочайшим почтением имею честь пребывать

Вашего благородия покорнейший слуга Иммануил Кант Кенигсберг 17 июля 1797».

В этом письме одно место требует пояснений. Кант писал, что мог ошибиться, отправив письмо академии «не через ее директора, а тогдашнему президенту, княгине Дашковой». Президентом академии был в то время К. Г. Разумовский, живший за границей, а Дашкова — ее директором (до ноября 1796 года). Должность Дашковой была названа в тексте диплома, но Кант не обратил на это внимания. Обращаясь в своем письме к И. А. Эйлеру как директору, он также совершил ошибку.

* * *

Современник Канта, профессор математики и поэт Абрагам Кёстнер попытался представить себе, что произойдет, если мечта Канта о вечном мире сбудется. В результате возникла эпиграмма:

Завет исполнен мудреца,

Народы мирные ликуют:

Навеки изгнана война.

И лишь философы воюют.

Действительно, ни в одной области знания мнения не сталкиваются столь решительно без какой-либо надежды на примирение. Кант знал эпиграмму Кёстнера и вспоминал о ней в своем памфлете «Оповещение о предстоящем подписании договора о вечном мире в философии». В отношении стиля Гёте считал это маленькое сочинение «более кантовским, чем сам Кант». Поэт, как мы знаем, чутко реагировал на иронию философа.

Как же все-таки прекратить распри в стане любителей мудрости, где школа воюет со школой, как армия против армии? В истории народов антагонизм интересов через истребительные войны приводит к выработке справедливого соглашения о всеобщем мире. Так и в история философии антагонизм систем должен создать условия для всеобщего обоснования единых принципов. Одинаково чуждая догматизму и скептицизму критическая философия решает эту задачу, отделяя учение о мудрости от учения о знании. Мудрость лежит в основе поведения. Что касается философии как учения о знании, то здесь, как и в учении о мудрости, гарантией мира может быть только выполнение долга правдивости. Конечно, не все есть истина, что человек считает таковой, но все, что он говорит, должно быть правдивым. Ложь бывает двоякого рода: сознательная неправда и необоснованная уверенность. В первом случае за истину выдается заведомая ложь, во втором случае за достоверное выдается то, в чем нет уверенности. Не надо лгать! — так звучит категорический императив философии. «Заповедь: не лги (даже с самыми благородными целями), искренне признанная основным принципом философии, не только бы создала в ней вечный мир, но и обеспечила бы его на вечные времена». Но по иронии судьбы как раз созданное Кантом учение открыло поле для таких жарких схваток, которых не знала история предшествующей философии.

Любое новое учение, по Канту, переживает три этапа. Сначала его не замечают, затем опровергают и, наконец, «улучшают», приспособлявая к своим интересам. Кант давно уже не

обращал внимания на врагов, его все больше начинали беспокоить последователи и друзья. Первым, кто вознамерился усовершенствовать трансцендентальную философию, был Соломон Маймон. Выходец из литовского местечка, достигший в 9 лет высшей степени талмудистской учености, женатый в 11 лет, в 14 ставший отцом, увлеченный учением Маймонида и изменивший вследствие этого свою первоначальную фамилию (Хейман), в поисках европейского образования отправился в Берлин. Лишенный средств к существованию, он обратился за помощью к еврейской общине, но его признали еретиком и выбросили на улицу. Побираясь, он пошел по дорогам Пруссии, добрал до Познани, где ему наконец удалось маломальски устроиться. Но новое обвинение в ереси заставило Маймона покинуть и Познань. Он снова в Берлине, на этот раз судьба свела его с Мендельсоном. Теперь он хотя по-прежнему беспорядочно, но все же более основательно занимается философией. Прочитав «Критику чистого разума», Маймон становится кантианцем; по привычке талмудиста он составляет к ней обширный комментарий «Опыт трансцендентальной философии». Марк Герц пересылает рукопись на отзыв учителю.

Как всегда, занятый по горло, Кант хотел было вернуть рукопись непрочитанной, но случайно брошенный на нее взгляд подсказал, что перед ним не безделка. Он внимательно прочитал начало, оценил способности автора и уловил его главное намерение: дать собственные вариации на тему, заданную «Критикой». Маймон оспаривал необходимость «вещи самой по себе», это была первая критика кантианства «справа». (Так В. И. Ленин назвал субъективно-идеалистические нападки на Канта, материалисты критиковали Канта «слева».) Кант написал Герцу подробное письмо с разбором позиции Маймона (никогда в жизни он не писал таких длинных посланий!); отказывая в положительном отзыве, он предлагал Маймону компромиссный вариант: смягчить нападки и направить свои усилия на то, в чем они едины, — на реформу метафизики.

Маймон напечатал все, как было, не изменив ни строчки. Канту он послал свои возражения. Ответа, естественно, не поступило. Однажды Маймону на глаза попались произведения Бэкона, и он написал статью «Бэкон и Кант», где сравнивал двух реформаторов философии, устанавливая произвольные аналогии и настаивая на ошибочности позиции своего учителя. Статья увидела свет в «Берлинском ежемесячнике» (1790, № 2), автор направил ее на отзыв в Кенигсберг. Ответа не было. Это не помешало Маймону послать Канту подробное изложение другой своей работы — «О мировой душе».

И снова ответа не последовало. Не ответил Кант и на следующее письмо Маймона, где тот снова излагал свое понимание кантовской теории познания и умолял учителя высказаться по этому поводу, а также по поводу изданного Маймоном «Философского словаря». Наконец в ноябре 1794 года раздался последний истошный крик: «Заклинаю святостью Вашей морали, не откажите в ответе... Пусть Ваш ответ будет кратким, мне важно получить от Вас хотя бы несколько строк». Маймон писал, что он только теперь догадался о причине молчания, Кант, по видимому, недоволен его поведением. Но ведь в статье, где речь шла о Бэконе, он судил совершенно беспристрастно. Сейчас он настоятельно просит разъяснить некоторые места в трансцендентальной эстетике. «Согласно Вам представления о времени и пространстве суть формы чувственности... Я, напротив, утверждаю, что это не является всеобщей истиной». Далее шли аргументы.

Не могу понять, жаловался Кант Рейнгольду, «что, собственно, хочет Маймон с его попыткой улучшить критическую философию, и предоставляю другим возможность поставить его на место».

...Фридрих Август Ханридер ученых трактатов не сочинял. Он хотел лишь жизнью своей практически обосновать реальность категорического императива. Не окончив курса, один из любимых студентов Канта с рекомендательным его письмом отбыл искать счастья в Россию. Способный и решительный молодой человек быстро получил офицерский чин и был определен адъютантом к генералу Суворову. Участвовал во второй турецкой кампании (1787—1792). Был под Фокшанами, Рымником, Измаилом. Категорический императив не дал ему возможности спокойно взирать на нарушение законов Российской империи, и он обратился к императрице с письмом по поводу чиновных злоупотреблений. Его вызвали в Петербург; состоялся суд, приговоривший правдоискателя «за клевету» к многим годам тюремного заключения. Из

крепости Ханридер, прошедший школу не только Канта, но и Суворова, бежал. В 1796 году без средств к существованию он оказался в родных краях. Кант принял живое участие в судьбе ученика. Ханридеру предложили заняться землемерными работами, которые шли в Западной Пруссии. У него, однако, возникли другие планы; только простой физический труд, по его мнению, мог дать ему возможность жить в соответствии с категорическим императивом. Он решил стать столяром. Он отправился в Берлин, имея в кармане новое рекомендательное письмо Канта. (Обращено оно было к Кизеветтеру, намерение Ханридера в нем называлось «парадоксальным, но отнюдь не фантастическим».) Найти мастера столярного дела, который бы согласился учить ремеслу желающего опроститься интеллигента, оказалось не так просто: ситуация была слишком двусмысленной. В конце концов нашелся один, заломивший, правда, за учение высокую цену. Берлинские друзья и почитатели Канта согласились в складчину ее выплатить, они же обеспечили Ханридера всем необходимым для скромной жизни. Так бывший прусский студиозус, бывший русский офицер стал простым рабочим.

Он был доволен. Пила и рубанок слушались его. Труд не изнурял, и Ханридер мог не порывать с культурной средой. Он ходил на лекции Кизеветтера, бывал у издателя Бистера, читал Канта, переписывался с ним. «Нравственность не химера, — сообщал он учителю, — Вы это доказали, таково мое убеждение. Сил у меня достаточно; мужества хватило на то, чтобы противостоять опасностям и неприятностям в России, я шел путем, который мне предписывал долг, неужели мужество оставит меня теперь, когда дело обстоит гораздо проще?» Ханридер находил время и для просветительских занятий с товарищами по работе, и для того, чтобы писать мемуары. (Когда они были готовы, Кизеветтер отсоветовал издавать их; не потому, что они были плохо написаны, — Ханридер владел пером не хуже, чем столярным инструментом, — Кизеветтер опасался неприятностей из-за их разоблачительного характера.)

Прошел год. И вдруг Ханридер понял: категорический императив несовместим с наемным трудом. Он не желал быть «простой машиной в руках богатых, чтобы ублажать их чувственность». Велениям нравственного закона может следовать только самостоятельный труженик. Ханридер принял новое решение: осесть на земле. Он дошел до высоких правительственных инстанций, добился перевода в крестьянское сословие и получил надел в Западной Пруссии. Обзавелся семьей и наконец успокоился. В последнем письме к Канту (1800) к обычной для Ханридера экзальтации примешиваются и нотки самодовольства: «Теперь, по моему, я нахожусь на высшей ступени, которую может достичь смертный, ибо нельзя придумать ничего более великого, чем обрабатывать землю, не завися от чужих капризов; я переполнен ощущением этого счастья и не променяю свое положение на какое-либо другое. Моя жизнь похожа на роман...»

Сигизмунд Бэк не решился бы утверждать о себе такое. Его внешняя жизнь воспроизводила жизнь учителя — студент, приват-доцент, профессор; что касается жизни духа, то совпадение взглядов казалось полным. «Из тезисов, приложенных к Вашей диссертации, — писал ему Кант, — вижу, что Вы усвоили мои принципы значительно правильнее, чем многие другие». Бэк ему в ответ: «Критику чистого разума» изучил я с самым сердечным интересом и верю в нее, как в математические аксиомы. «Критика практического разума» с момента ее появления стала моей Библией».

Кант поручил Бэку составить компендий из своих основных работ, который задумал издать Харткнох. Трехтомный труд «Поясняющее извлечение из критических произведений господина профессора Канта, выполненное по его совету» увидел свет в 1793—1796 годах. По этому поводу между учителем и учеником возникла оживленная переписка. Первоначально Бэк робел («Извлечение...» было его первым литературным произведением), внимательно выслушивал советы Канта, благодарил и кланялся. Но после выхода первого тома осмелел и стал поучать учителя. Бэк никак не мог усвоить идею активности рассудка, конструирующего понятия, он все время твердил об их «изначальной положенности». Кант терпеливо объяснял свою точку зрения, наконец не выдержал и заявил: «Даже я сам не понимаю себя в достаточной степени». Бэк иронии не заметил. Третий том «Извлечения...» он издал под названием «Единственно возможная позиция для оценки критической философии», а в письмах к Канту продолжал раскрывать ему истинный смысл его (Канта) философии. Обращаясь к Канту, он называл его человеком, который «в скором будущем отправится к праотцам», полагая, что эта формула полна почтения.

Но больше всего забот причинил Канту Фихте. Ибо он был самый способный из учеников. И самый одержимый. Он не нуждался в советах, не задавал Канту вопросов, не делился идеями и не требовал их одобрения. Жрец истины, он изрекал ее для всех, чувствуя призвание нравственно исправлять людей силою своего слова. «С Фихте опасно ссориться, — свидетельствует современник, — это неукротимый зверь, не выносящий никакого сопротивления и считающий всякого врага его бессмыслицы врагом его личности. Я убежден, что он способен был играть роль Магомета, если бы были еще Магометовы времена, и насаждать свое наукоучение мечом и темницами, если бы его кафедра была королевским троном». Во Франции он мог бы стать вождем Конвента. Но он родился в Германии, и судьба определила ему быть университетским профессором.

Его не заботил контакт с аудиторией; блистательные успехи поэтому чередовались с прискорбными провалами. Бывало, студенты пели серенады под его окнами, бывало, били стекла. Фихте шел своим путем. Книги его появлялись одна за другой. Мысль Канта об активности сознания он довел до крайности, до абсурда. Первоначалом всего сущего, по мнению Фихте, является сама деятельность, некое абсолютное, всеобщее «я». Притом Фихте не был индивидуалистом: «я» означало для него «мы», личность он целиком подчинял интересам целого, общества, государства. Идеи Канта о правовом общественном устройстве он переиначил на свой лад: государство должно руководить народным хозяйством, регламентируя поведение индивидов. Увлеченный революцией во Франции, он хотел туда переселиться и стать французом. Разочаровавшись в революции и мобилизуя нацию на борьбу с Наполеоном, он провозгласил превосходство немцев над другими народами.

Фихте регулярно посылал свои книги Канту, но тот не читал их. О содержании «наукоучения» (так Фихте именовал свою систему) Кант узнал из журнальной рецензии. Впечатление сложилось неприятное; суммируя его, Кант писал: спекуляции Фихте напоминают ловлю призрака: думаешь, что схватил его, а в руках ничего нет. Прочитав наконец самого Фихте, Кант утвердился в своем мнении.

Подобно тому как бывший якобинец Бонапарт истреблял во Франции следы революционной диктатуры, ученик Канта Фихте расправлялся с «вещью самой по себе». Бонапарт, даже провозгласив империю, сохранил трехцветный республиканский флаг. Фихте не отрекался от Канта, наоборот, он уверял, что созданная им система есть не что иное, как система Канта, только более последовательная. Создавалось впечатление, что ученик завершил начатое учителем дело. Рейнгольд, восторженный кантианец, переметнулся теперь к Фихте. Кант называл обоих «гиперкритическими друзьями», был вне себя от возмущения, но в печати не выступал. Его молчание вызывало недоумение, расценивалось как капитуляция, как признание того, что возразить нечего.

В январе 1799 года «Эрлангенская литературная газета» потребовала внести ясность. На ее страницах появилось обращенное к Канту предложение публично высказаться по поводу идей Фихте. Кант ответил коротко, но недвусмысленно: «Я заявляю настоящим, что считаю наукоучение Фихте совершенно несостоятельной системой. Ибо чистое наукоучение представляет собой только логику, не восходящую благодаря своим принципам к материалу познания, абстрагирующуюся в качестве чистой логики от его содержания; попытка выковырнуть из нее реальный объект представляет собой напрасный и поэтому никогда не выполнимый труд». Кант говорил далее, что непонятна претензия приписать ему мысль, будто он создал только введение в философию, а не философскую систему, он всегда считал лучшим признаком истинности своего учения его завершенность. И все, что он написал, надо понимать не в каком-либо переносном, а в буквальном смысле. Заявление заканчивалось следующим выразительным пассажем: «Итальянская поговорка гласит: «Боже, спаси нас только от наших друзей, с врагами мы сами справимся!» Дело в том, что бывают добродушные, благожелательно к нам настроенные друзья, которые, однако, дабы споспешествовать нашим намерениям, ведут себя нелепо, но бывают и такие так называемые друзья, лживые, коварные, которые стремятся к нашей гибели, хотя при этом и говорят на языке благожелательства, по отношению к ним и их козням надо всегда быть в высшей степени настороже. Невзирая на все это, критическая философия благодаря своему неукротимому стремлению к удовлетворению рассудка как в теоретическом, так и в практическом отношении должна чувствовать, что впереди ей не угрожают никакие перемены мнений, улучшения или заново созданные построения. Система

критики покоится на прочной основе; непоколебимая вовеки, она будет нужна человечеству и в будущем для наивысших помыслов».

«Заявление» Канта появилось в Иене и совпало по времени с разгоревшимся там академическим скандалом, в результате которого Фихте обвинили в атеизме и он вынужден был покинуть кафедру.

Друзья пострадавшего говорили, что Кант злонамеренно подливает масло в огонь, и требовали отповеди. У Фихте хватило такта в печати ответить сдержанно. Но в письмах он изливал душу. Канта он называл «головой на три четверти», его учение — «сплошной бессмыслицей», его поведение — «проституированием», уверял, что Кенигсбергский старец «свою собственную философию, с которой он никогда не был в ладах, теперь совершенно не знает и не понимает».

(К счастью для Канта, Фихте не ведал о его ироническом признании в письме Бэку, что он сам себя не понимает. Не знал этого и пересмешник Гейне, который в своей книге о немецкой философии посвятил специальный пассаж ее «непонятности». Будто бы Гегель, лежа на смертном одре, сказал: «Только один меня понял», но тотчас вслед за тем раздраженно заметил: «Да и тот меня не понимал». Поверить в это трудно. Что касается Канта, то он явно рассчитывал на правильное понимание: иначе в своем творчестве он не прибегал бы столь широко к иронии.)

Строго говоря, у Канта не было необходимости особым заявлением отмежеваться от субъективного идеализма. В «Критике чистого разума» специальный раздел освещал отношение автора к берклианству. Критическая философия в целом исходила из бытия объективного мира, независимого от сознания; человек вторгается в мир, но последний может прекрасно обходиться без него. Философия, по Канту, всего лишь поправка к здравому смыслу.

* * *

Завершив «Метафизику нравов» построение философской системы, Кант почувствовал потребность изложить свое учение в более или менее концентрированном виде. А заодно и ответить на вопрос, который с некоторых пор представлялся ему как философу главным: «Что такое человек?»

«Антропология» (1798) — последняя работа, изданная самим Кантом. Здесь как бы подводится итог размышлениям о человеке и вообще всем философским размышлениям. Если «Антропологию» соотнести только с «Критикой чистого разума», то многое в последней работе Канта нам останется непонятным. Если соотнести ее со всей философией Канта в целом, то содержание ее прояснится (что касается формы, то «Антропология» — одно из наиболее ярких его произведений). Это завершение пути. И одновременно начало: начинать изучение философии Канта целесообразно именно с «Антропологии». Читатель должен как бы пуститься в путь, обратный движению мысли Канта. В конце его окажется «Критика чистого разума».

(После «Антропологии» я рекомендую начинающему прочитать «Метафизику нравов», она знакомит с этикой и теорией права — альфой и омегой кантовского учения, затем — «Критику способности суждения», где обоснована система философии и где изложена эстетика; и только потом браться за главную «Критику». «Пролегомены» и «Критику практического разума» на первый случай можно опустить. Все названные работы представлены в русском Собрании сочинений Канта.)

Уже первый взгляд, брошенный на «Антропологию», говорит о совпадении структуры этого произведения с общей системой кантовской философии. Главная часть книги распадается на три раздела в соответствии с тремя способностями души: познанием, чувством удовольствия и способностью желания. Именно эти три способности определили в свое время содержание трех кантовских «Критик». В «Антропологии» идеи критической философии непосредственно соотнесены с миром человека, его переживаниями, устремлениями, поведением.

Антропологию Кант рассматривает с «прагматической» точки зрения. Это значит, что вне поля его зрения остается физиология, то, что сделала из человека природа; его интересует в

первую очередь то, что он делает из себя сам, что делают с ним люди. Ныне это называется культурной или социальной антропологией.

Человек для Канта — «самый главный предмет в мире». Над всеми другими существами его возвышает наличие самосознания. Благодаря этому человек представляет собой индивид, лицо. При всех изменениях, которые он может претерпеть, он все же одно и то же лицо. Из факта самосознания вытекает эгоизм как природное свойство человека. Логический эгоист считает излишним проверять свои суждения с помощью рассудка других людей, так как этот пробный камень истины ему не нужен (между тем, подчеркивает Кант, никак нельзя обойтись без этого средства, дающего уверенность в правильности наших суждений). Эстетический эгоист довольствуется только собственным вкусом, лишая себя возможности дальнейшего совершенствования; аплодирует сам себе и критерий прекрасного ищет только в самом себе. Наконец, моральный эгоист — тот, кто все цели ограничивает самим собой, кто пользу видит только в том, что выгодно ему, и высшее свое предназначение — в своем счастье, а не в представлении о долге. Просветительская философия, исходившая из отдельного, обособленного индивида, культивировала разумный эгоизм как основу поведения. Кант отвергает эгоизм во всех его видах, последний для него несовместим с разумом. Эгоизму Кант противопоставляет плюрализм — образ мыслей, при котором человек рассматривает свое «я» и ведет себя не как весь мир, а лишь как гражданин мира. Человековедение — это мироведение. Кант требует обуздания эгоизма и вообще наиболее полного контроля разума над психической деятельностью. При том, что он энтузиаст воображения. Но одно дело, когда мы сами вызываем и контролируем наши внутренние голоса, другое — когда они без зова являются к нам и управляют нами, тут уже налицо либо душевная болезнь, либо предрасположение к ней.

Не контролируемое разумом сознание снова привлекает пристальное внимание философа. Может ли человек иметь представления и не осознавать их? Также представления Кант еще в молодости назвал темными. Теперь о них он говорит подробно и обстоятельно. В полном мраке сознания может идти такой сложный психический процесс, как художественное творчество. Представьте себе, пишет Кант, музыканта, импровизирующего на органе и одновременно разговаривающего с человеком, стоящим подле него; одно ошибочное движение, неверно взятая нота, и гармония разрушена. Но этого не происходит, хотя играющий не знает, что он сделает в следующее мгновение, а сыграв пьесу, подчас не в состоянии записать ее нотными знаками.

Какова интенсивность «темных представлений», какое место занимают они в духовном мире человека? Кант не склонен недооценивать их значение. Рассудок порой не в состоянии избавиться от их влияния даже в тех случаях, когда считает их нелепыми и пытается противоборствовать им. Так, например, обстоит дело с половой любовью. Что касается сферы наших неосознанных представлений, то она значительно больше, чем можно себе представить, практически беспредельна. «На великой карте нашей души, так сказать, освещены только некоторые пункты — это обстоятельство может возбуждать у нас удивление перед нашим собственным существом: ведь если бы некая высшая сила сказала: да будет свет! — без малейшего содействия с нашей стороны перед нашими глазами открылось бы как бы полмира (если, например, мы возьмем писателя со всем тем, что он имеет в своей памяти)». Рассуждения о «темных представлениях» и их роли в творческом процессе — важное дополнение к гносеологии и эстетике критицизма.

Таким же дополнением к идеям трех «Критик» служит и раздел «Антропологии» с выразительным названием «Апология чувственности». В «Критике чистого разума» о чувствах говорилось вскользь (что, впрочем, оправдано названием книги), но не уничижительно; здесь речь идет о том же, лишь более обстоятельно. Снова подчеркивается принципиальное различие между чувственностью и интеллектом (в противоположность Лейбницу и Вольфу, которые усматривали разницу лишь в степени отчетливости представлений); снова выдвигается тезис о том, что чувства нас не обманывают (и дополняется утверждением, что они не запутывают нас и не повелевают нами).

Учение о видимости распространяется в «Антропологии» на область нравственности. Моральная видимость — это этикет, правила поведения. Под маской вежливости может, конечно, скрываться грубиян. Но природа мудро вселила в человека склонность поддаваться

обману, чтобы хотя бы внешне направлять к добру. Чем больше цивилизованы люди, тем больше они актеры, они охотно играют предписанную им роль, входят в нее, сживаются с ней. В результате торжествует добродетель. Целомудренность (самопринуждение, скрывающее страсть) — полезная иллюзия, сохраняющая известное расстояние между полами, необходимое для того, чтобы не сделать один пол простым орудием наслаждения. Силой против чувственности ничего нельзя добиться, ее надо перехитрить. Моральная видимость необходима в общежитии.

Ощущения Кант разделяет на две группы. Высшая из них (осознание, зрение, слух) основывается на механическом воздействии и ведет «к познанию предмета как вещи вне нас». Низшие, «более субъективные» ощущения (обоняние и вкус) вызываются химическими раздражителями; «представление через них относится больше к наслаждению, чем к познанию внешнего предмета; поэтому относительно первых трех легко прийти к согласию с другими; что касается последних, то при одном и том же внешнем эмпирическом созерцании и названии предмета может быть совершенно различным способ, каким субъект чувствует воздействие предмета».

Ощущение не мертвый неизменный отпечаток внешнего воздействия. Его интенсивность зависит от ряда условий, в которые поставлен воспринимающий субъект. Кант называет способы усиливать чувственные ощущения. (И надо сказать, что художественная практика всех времен и народов широко ими пользуется.) Прежде всего контраст. На фоне своей противоположности любой раздражитель действует сильнее; хорошо обработанный участок в пустыне производит впечатление райского уголка. Далее, новизна. Отсюда страсть к диковинному, необычному, недоступному. Далее, смена впечатлений. Работа и отдых, пребывание в городе и деревне, разговор и игра в обществе, занятие то историей, то поэзией, то философией, то математикой придают душе новые силы. Не следует начинать ни с сильных ощущений, ни быстро достигать их. Ожидание наслаждения усиливает его, сильнее всего оно в нашем воображении.

Воображение — «главный конструктор» самых важных построений в системе Канта. Философ задал вопрос: что такое человек; он мог бы ответить: существо, созидающее культуру при помощи удивительной способности — воображения. В «Антропологии» воображение соотносено с чувствами. И Кант уточняет: воображение может быть продуктивным, творческим, но оно оперирует лишь материалом и формами созерцания, не созидая ничего заново. У воображения есть свои границы, за которыми лежат пустые фантомы. Воображение опирается на предшествующий опыт. Кант заимствует у Гельвеция рассказ о том, как одна дама с помощью телескопа увидела на Луне тени двух влюбленных, а священник, заглянувший в тот же телескоп, возразил ей: «О нет, мадам, это две колокольни на главной церкви».

В «Критике способности суждения» художественное творчество рассматривалось как особый дар, не сравнимый ни с каким другим видом деятельности. Его носитель определялся как «гений». В «Антропологии» сфера «гения» расширяется, охватывая и науку. Кант проводит разграничение между «открытием» и «изобретением». Открывают то, что существует само по себе, оставаясь неизвестным (Колумб открыл Америку). Изобретение — создание ранее не существовавшего (порох был изобретен). «Талант к изобретению называют гением». Теперь в число «гениев» Кант зачисляет и Ньютона. И это характерная деталь: речь идет о сближении научного и художественного творчества, эстетического и познавательного начал. И то и другое опирается на воображение.

Но сближение не означает совпадения. В «Антропологии» по-прежнему отстаивается идея специфичности эстетического начала и его «промежуточного», опосредующего предназначения. А в этом состояло главное завоевание «Критики способности суждения»: там была показана несводимость эстетического ни к знанию, ни к морали, но одновременно подчеркнута неразрывная связь красоты с истиной и добром. Эстетическое есть нечто иное, чем познание и нравственность, оно своеобразный «мост» между ними. Одно утверждение не существует без другого, тезис без антитезиса. В «Антропологии» упор делается на антитезис. В частности, вводится понятие «эстетическое познание». В «Критике» этого не было, там шла речь о прекрасном как об «игре познавательных сил», которая является лишь подготовкой к акту познания. Вместе с тем близкое соприкосновение двух сфер открывало возможность

допущения некой промежуточной сферы, принадлежащей как эстетическому, так и познавательному началу, где знание приобретает эстетическую окраску, а эстетическое становится познавательным. Допущение такой сферы не только не разрушает исходных построений эстетики Канта, но, наоборот, логически вытекает из ее существа.

Примечательно, что это сделано именно в «Антропологии»: здесь в сферу научного изыскания вошел человек, а источником знаний среди других стала и художественная литература. Человеческие «характеры, как их рисуют Ричардсон и Мольер, должны быть по своим основным чертам заимствованы из наблюдений действительного поведения людей: степень их, правда, преувеличена, но по качеству они соответствуют человеческой природе».

Эстетическое познание — особая промежуточная сфера между чувственностью и рассудком. Логика бросает упрек чувственности в поверхностности, единичности знаний. Обратный упрек рассудку — в сухости и абстрактности. «Эстетическая разработка, первое требование которой — популярность, избирает новый путь, на котором можно избежать обоих недостатков». Этот путь не уводит от науки. Наоборот, приводит к ней: «Красота — это цветок, наука — плод». О самом чувстве прекрасного Кант говорит как «об отчасти чувственном, отчасти интеллектуальном удовольствии».

В «Антропологии» уточняется одна из главных категорий кантовской эстетики — «чувство удовольствия», которое лежит в основе способности суждения. Удовольствие есть чувство, «споспешествующее жизни». Но у человека на животный инстинкт наслаждения наложена нравственная и культурная узда. Человеческое удовольствие есть синоним культуры. «Один способ удовольствия есть в то же время культура, а именно увеличение способности испытывать еще большее удовольствие; таково удовольствие от наук и изящных искусств. Другой способ — истощение, которое делает нас все менее способными к дальнейшему наслаждению». Обращаясь к молодому человеку, Кант говорит: «Полюби свою работу, отказываясь от наслаждений не для того, чтобы отречься от них совсем, а для того, чтобы, на сколько это возможно, всегда иметь их перед собой в перспективе».

Именно в «Антропологии» сказана знаменитая фраза: «работа — лучший способ наслаждаться жизнью». Чем больше ты сделал, тем больше ты жил. Единственное средство быть довольным своей судьбой — заполнить ее деятельностью. Впрочем, полное удовлетворение недостижимо, и в этом тоже есть глубокий смысл. «Природа сделала страдание стимулом к деятельности человека, неизбежно толкающим его к лучшему. Быть в жизни (абсолютно) довольным — это признак бездеятельного покоя и прекращения всех побуждений или притупления ощущений и связанной с ними деятельности. Но такое состояние так же несовместимо с интеллектуальной жизнью человека, как и прекращение работы сердца в животном организме». Кант пишет эти строки, когда ему идет семьдесят пятый год. Он думает только об одном — о совершенствовании своего учения. И его философия в «Антропологии» обогащается новым содержанием. Это новые поиски. Но прежде всего — итог.

* * *

Кант — философ XVIII века. Век был на исходе. Система критической философии создана и завершена. Кантом никогда не овладевало чувство самоуспокоения, но он знал: главное сделано. Может быть, именно потому, что спало напряжение поиска, силы круто пошли на убыль.

Он стоял на вершине славы. Был членом трех академий (Берлинской, Петербургской, а с апреля 1798 года и Сиенской). Уже давно было составлено его жизнеописание. Пастор Боровский еще в 1792 году прислал ему «Набросок будущей биографии прусского мудреца Иммануила Канта». Философ прочитал текст, исправил неточности, кое-что вычеркнул, но публиковать до своей кончины не разрешил. Другой будущий биограф — Яхман решил облегчить свою задачу: он направил Канту подробную анкету — 56 вопросов. Некоторые из них касались генезиса учения: «44. Главные моменты того, как переменялись философские взгляды и какие причины определили переход к критицизму. 45. В каком порядке изучались системы древней и новой философии? 46. Какое влияние они оказали на философию г-на профессора?» Другие вопросы были нескромными: «33. Имела ли какая-либо из женщин счастье вызвать

любовь и уважение? 34. Какие вообще женщины вызывали к себе интерес?» Наконец, один вопрос выдавал с головой отношение Канта к официальному культу: «47. Соблюдались ли когда-либо христианские церковные обычаи и когда это прекратилось». Если бы Кант ответил на поставленные вопросы, в нашем распоряжении была подробная автобиография.

У славы есть оборотная сторона: Канту докучали графоманы, созидатели философских систем, блюстители духовной чистоты и просто мошенники. Одни искали у него духовной поддержки, другие вызывали на диспут, третьи вымогали деньги. В Мекленбурге объявился некий «магистр Кант», выдававший себя за сына знаменитого философа и кормившийся за счет доверчивых его поклонников.

Теодор Кант в родственники не набивался. Он лишь на правах однофамильца просил о вспомоществовании: его хутор сгорел, он понес убытки на 5 тысяч талеров. Пусть великий человек, которого почитает вся Европа, войдет в его положение. Одновременно с этим письмом из Познани весной 1797 года пришло аналогичное из Швеции. Карл Фридрих Кант уверял, что брат его папы Ларс Кант приходится философу... отцом. Сам Карл Фридрих намеревается ныне стать таможенным инспектором и нуждается для этого в деньгах. Не сможет ли «высокочтимый господин кузен» осчастливить его, ссудив на несколько лет 8 или 10 тысяч талеров. Летом новоявленный двоюродный брат снова напомнил о себе и повторил просьбу. Затем, видимо, по его наущению в дело включился шведский епископ Линдблом. Выдержанное в торжественных тонах, написанное по-латыни епископское послание сообщало важную новость: отец философа был унтер-офицером армии Карла XII.

Линдблomu пришлось ответить. Кант был вежлив, но ироничен. «Усилия, которые Ваше святейшество затратили, чтобы исследовать мое происхождение и сообщить мне результат, заслуживают всяческой благодарности, хотя ни для меня, ни для кого другого, судя по всему, никакой пользы от этого возникнуть не может». Кант писал, что прекрасно знает, кто был его отец. Что касается деда, то тот происходил из Шотландии. (Здесь Кант, как мы знаем, ошибался, его дед был пруссак, а прадед — выходец из Курляндии.) Шведские родственные связи представляются ему проблематичными. Кант не преминул процитировать письмо «кузена», просившего крупную сумму, и перечислил своих подлинных родственников: сестра, шестеро детей, оставшихся от другой сестры, брат и его четверо детей.

Его близкие духовно были ему далеки, но все нуждающиеся неизменно получали материальную помощь (на это уходило свыше 1 тысячи талеров в год). Им он завещал свое имущество, каждому — равную долю. Его «последняя воля», оформленная надлежащим образом, хранилась с февраля 1798 года в университете. 1500 гульденов оставил он профессору Гензихену — исполнителю завещания. Не забыт был слуга Лампе, которому назначалась пожизненная пенсия 400 гульденов, а когда тот умрет, его вдове — 200, а если останутся дети, то одновременно им — 1000. Наследство составляли дом и капитал — 42 930 гульденов.

Было и другое богатство — рукописи, материалы лекционных курсов. После «Антропологии» сам Кант был не в состоянии доводить что-либо крупное до печатного станка. Он передал записи своим ученикам; по физической географии и педагогике — Ринку, по логике и метафизике — Иеше.

Всеобщий интерес вызывала физическая география. Еще в 1797 году книготорговец Фольмер предложил Канту издать этот лекционный курс, посулив баснословный гонорар — 40 талеров за печатный лист. Кант подивился высокой ставке, но отказался. Ринк, получив в свое распоряжение рукопись, предложил ее Фольмеру, но с условием, что тот одновременно издаст и шесть томов его собственных сочинений. Это было наглостью. Фольмер не согласился и стал издавать физическую географию Канта по студенческим записям. Запахло скандалом. 24 июня 1801 года во «Всеобщей литературной газете» появился протест Канта — последнее его выступление в печати. Единственное правомочное издание его лекций по физической географии, настаивал Кант, осуществляется Ринком. Фольмер заявил, что Кант уже не отдает отчета в своих поступках, его заявление инспирировано Ринком, и продолжал издание.

Иеше выпустил «Логик». Беда этого издания состояла в том, что публикатор не был в курсе тех изменений, которые претерпели взгляды автора. Кант читал логику на протяжении всей своей преподавательской деятельности, используя учебник Майера. Каждый раз он вносил

в учебник новые записи, отражавшие развитие его концепции. Для Иеше всё оказалось едина суть. В результате в изданном им тексте сосуществуют утверждения, относящиеся к разным периодам творчества Канта. Вот, например, знаменитое место, где утверждается, что все «поприще философии» сводится к ответу на вопрос, «что такое человек». Это явно написано в последние лекционные годы. А вот совершенно «из другой оперы»: эстетика определена как наука о чувственности, сфера красоты ограничена низшей ступенью познания. Ни слова о специфичности эстетического, о его опосредующей роли. Как будто «Критика способности суждения» не была написана. Как будто Кант вернулся к Баумгартену.

Может быть, так и произошло? Может быть, Кант действительно вернулся к взглядам своей молодости? Но чтение лекций Кант прекратил в 1796-м, а затем была «Антропология», воспроизводившая в основных пунктах концепцию третьей «Критики». О возвращении в «докритическое» состояние речи быть не могло. Просто Иеше оказался не на высоте. А Кант уже не мог контролировать издание.

Переломным оказался 1799 год. Богослов Абегг, посетивший Канта годом раньше, оставил подробное описание встреч. Он дважды обедал у Канта. Как всегда, были гости, и хозяин живо и остроумно вел беседу. Говорили о политических новостях и всякой всячине. Новый король Фридрих-Вильгельм III прибыл в Кенигсберг. Канту не понравилось, что он ехал в закрытой карете, перед толпой надо было появиться верхом. В торжествах философ не принимал участия. Королева хотела видеть его и даже посылала за ним лакея, но Кант не последовал приглашению. Бонапарт отправился в морскую экспедицию; Кант был твердо убежден, что он оккупирует Португалию. (Даже потом, когда газеты сообщили о высадке в Египте, философ считал, что это лишь отвлекающий маневр, главная цель Бонапарта — завоевание Португалии для дальнейшего удара по Англии.)

Королеве город подарил янтарное украшение. Кант рассказывал о редких экземплярах янтаря, которые довелось ему видеть, и о том, как добывается это «золото Балтики».

В другой раз за обедом обсуждали странности русского императора Павла I, заодно — будущее Англии. Канту хотелось видеть ее республикой, пусть король Георг останется курфюрстом Ганноверским. Шотландцы способнее англичан. Кант вспомнил об английской поговорке: чтобы шотландца научить языкам, достаточно пронести его в мешке по Европе. В будущее процветание Французской республики верят все, а верят потому, что хотят этого. А толченый уголь предохраняет от гниения (разговор сделал крутой вираж), Кант вспомнил, как однажды, когда он ехал в почтовой карете, у припасенного в дорогу жаркого появился душок, он засыпал мясо углем, и все было в порядке. Яйца в угольном порошке дольше сохраняют свежесть. Уголь с медом — прекрасное средство от зубной боли, надо сказать это придворному проповеднику Шульцу, тот давно жалуется на зубы...

Так было год назад. Теперь у Канта появились признаки быстро наступающей дряхлости. Он сократил маршрут своих прогулок, шел неуверенным старческим шагом, случалось — падал. Он укладывался спать раньше обычного — сначала на четверть часа, потом на час и более. Засыпал днем, сидя на стуле. Общество тяготило его, и к обеду приглашалось не более двух гостей, да и им все труднее становилось втянуть хозяина в разговор. «Господа, — признался философ, — я стар и слаб, обращайтесь со мной как с ребенком».

Из своих друзей он стал привечать дьякона Васянского, который некогда учился у него. Васянский был ненавязчив, обязателен, заботлив. Мастер на все руки, он быстро приводил в порядок любую домашнюю неполадку, раздражавшую Канта, — перекосившуюся дверь, остановившиеся часы и т. д. (Если за дело брался Лампе, то испорченную вещь надо было потом выбрасывать: отставной солдат понимал только ружейные приемы.) Васянский жил недалеко и мог появляться по нескольку раз за день. Кант доверил ему ведение хозяйства и денежные дела.

Незыблемым пока оставалось раннее вставанье. В пять утра философ по-прежнему за письменным столом. Он пишет. Говорит, что работает над главным трудом своей жизни. Книгу он назовет «Переход от метафизических начал естествознания к физике». Рукопись растет. Исписаны сотни и сотни страниц. Заглянем в них.

Увы, это разрозненные записи. Иногда сравнительно большие куски, в которых последовательно излагается та или иная мысль, но чаще — мелкие фрагменты, не связанные

друг с другом. Вот несколько вариантов предисловия. «Если философское естествознание представляет собой систему (а не фрагментарный агрегат), то отсюда вытекает разделение его на метафизические и физические начала. Обе науки дополняет переход от метафизических начал естествознания к физике. Это не просто прыжок из одной области в другую, ибо тогда не возникнет необходимая связь в интересах целого, это позиция, которую должен занять разум, чтобы охватить единым порывом оба берега». Так начинался один вариант.

«Естествознание — наука о движущих силах материи в мировом пространстве. Поскольку в ее основании лежит априорная система понятий и теорем, она называется метафизикой природы. Поскольку она основана на опытных принципах — физикой... Переход от первой к физике с целью связать оба берега — необходимая задача натурфилософа, ибо физика представляет собой цель, к которой он всегда стремится, а ее понятия для него всего лишь заготовки». Так начинается другой вариант.

«Главное затруднение философской архитектоники заключается в том, чтобы не допустить наложения друг на друга границ между науками, чтобы точно определить владения каждой, без чего невозможно решение задачи их дальнейшего совершенствования». Так начинается третий вариант. Ни один из них не доведен до конца. Но мысль ясна и непротиворечива.

Кант пишет о твердых телах и жидкостях, движении, трении, тяготении, о теплороде и жизненной силе. Что такое органическое тело? Вопрос не нов, а в ответе содержится новое. Такое тело, рассуждает Кант, не может получать свою организацию только от движущихся сил материи. Необходимо допустить, следовательно, нематериальную силу в качестве ли части чувственно воспринимаемого мира или отличающейся от него сущности. Подобный ход рассуждений повторяется много раз. И в конце концов возникает нечто достойное внимания: «Организм представляет собой твердое тело, составляющие части которого возможны лишь благодаря понятию цели и сформированы по аналогии с преднамеренным движением. Если эту форму представить себе не в качестве действительного, а лишь мыслимого намерения, то подобное тело есть природная машина. Органические тела — природные машины». Здесь развиваются идеи Канта, изложенные им в письме к Земмерингу об «органе души»: жизнь — особый тип сложных естественных связей. Эта антивиталистическая мысль витает в атмосфере эпохи. К ней близко подходит молодой Шеллинг, увлекающийся умозрительной натурфилософией. Ее четко формулирует как вывод из эксперимента Александр Гумбольдт. Кант в своих старческих штудиях старается не отставать от жизни. Здесь нет ни инфантилизма, ни возврата к «докритическому» состоянию.

Но годы идут, и мысль начинает путаться. Перескакивать с одного на другое. Теперь уже речь идет не о физике, а о метафизике, не о природе, а о бытии как таковом. Прежде чем переходить к физике, надо исследовать философские основоположения. Переход от метафизических начал естествознания к трансцендентальной философии — вот с чего надо начинать. Затем отсюда совершить переход к всеобщему учению об опыте, потом от природы к свободе, затем к человеку как существу, воплощающему в себе принципы того и другого.

Последняя папка записей, начатых в 1800 году, посвящена уже целиком абстрактным материям. Прежде всего проблема бога. Что есть бог? Есть ли бог? Бог — это личность, обладающая всеми правами, по отношению к которым никто другой не имеет никаких прав. Это субстанция высшего существования, очищенная от каких-либо чувственных представлений. Понятию бога противостоит понятие мира. Активность субъекта сводит их воедино. «Мыслящий субъект создает себе мир как предмет возможного опыта». Это уже непохоже на критическую философию, явная реминисценция из Фихте. И свою систему Кант вдруг называет «наукоучением». Но рядом совсем другое: «Я, человек, представляю собою внешний чувственный объект, часть мира». И тут же между философских строк: «В среду — горох со свиной. В четверг — сухие фрукты с пудингом. Геттингенская колбаса от Николовиуса». А затем снова: бог, мир и их владелец человек. Можно ли мир отделить от бога? Трансцендентальная философия не дает никаких указаний по поводу гипотезы о существовании бога. Философия — это любовь разумного существа к высшей цели человеческого разума. И опять житейское: «Лампе вчера после обеда повесил мой халат за печь в столовой, чтобы после еды надеть на себя теплое, а не холодное. Кухарка бешено бранилась с Лампе, что он ею

командует и строит из себя господина. Она сама хочет играть госпожу. Homo homini lupus»¹. И в другом месте: «Проучить Лампе, чтобы не пьянствовал с утра до вечера».

¹ «Человек человеку волк» (латин.).

Отношения с Лампе никогда не были ни близкими, ни идиллическими. Канта раздражала его тупость: тридцать лет приносил он с почты одну и ту же газету и никак не мог усвоить ее название. Однажды Лампе предстал перед глазами хозяина в желтом кафтане (вместо обычного белого с красным воротником). Кант разгневался. Лампе объяснил, что это обновка, купленная у старьевщика по случаю его новой свадьбы. Для философа все было новостью: и то, что его слуга вступает в брак, и то, что он овдовел, и то, что он вообще уже был женат. Избранница Лампе, как мы знаем, не была забыта в завещании.

Привычка — вторая натура. Кант привык к своему многолетнему слуге, терпел его выходки и, опасаясь любых перемен, не решался его прогнать. Васянский понимал, что без конца так продолжаться не может. Увещевания не помогали. Лампе дряхлел вместе со своим хозяином и плохо управлял собой. Васянский подыскал ему замену.

Наконец настал день, когда господин взбунтовался против своего лакея. Что между ними произошло, Васянский так и не узнал, но Лампе был немедленно рассчитан. (Он получил вперед годовой оклад и пожизненную пенсию — 40 талеров, в завещание была внесена соответствующая поправка.)

Новый слуга Иоганн Кауфман, средних лет, обладал ровным нравом, природной смекалкой и хорошей памятью. Он быстро вошел в курс привычек Канта, и ониладили. Первый день его службы прошел под полным контролем Васянского, который с четырех часов утра был уже в доме на Принцессинштрассе. В пять философ поднялся и был несколько озадачен, увидев вместо привычного лица Лампе два посторонних. Кауфман подал чай, Васянский тоже расположился за столиком, но Канту было явно не по себе. Он не притрагивался к своей чашке. «Я сидел прямо напротив него, — рассказывает Васянский, — наконец он набрался духу и весьма вежливо попросил меня переменить место, сесть так, чтобы ему не было меня видно: вот уже более полустолетия за чаем не было рядом с ним ни одной живой души. Я сделал как он хотел, Иоганн вышел из комнаты и появился только тогда, когда Кант позвал его. Теперь все было в порядке. Кант привык, как я уже выше сказал, пить чай в одиночестве, предаваясь при этом своим думам. И хотя теперь он не читал и не писал, стихия многолетней привычки полностью владела им, он не мог без величайшего беспокойства перенести чье-либо присутствие. Все это повторилось, когда я однажды ясным воскресным утром предпринял еще одну подобную попытку».

В ноябре 1801 года Кант окончательно расстался с университетом. Его отпустили на покой, сохранив полностью жалованье. Теперь он почти не выходил на улицу, не принимал посетителей. Лишь немногим удавалось добиться аудиенции. Среди них оказался молодой русский врач. Восторженный «поклонник Канта и поэт», увидев старца, он бросился целовать ему руки. Кант смутился и остался недоволен встречей. На следующий день русский снова появился в доме философа и стал выпрашивать у слуги какой-нибудь автограф Канта. Кауфман подобрал на полу кабинета исписанный листок (это был черновик предисловия к «Антропологии») и (с разрешения Васянского) отнес его в гостиницу, где остановился русский врач.

Тот был в восторге, расцеловав бумагу, он снял с себя сюртук, жилет и присовокупив к ним талер, отдал всё Кауфману.

Прослышав о немощи хозяина, в дом Канта стали наведываться и совсем уж непрошеные гости. Прилично одетая дама настойчиво добивалась встречи с Кантом наедине. Говорить ей пришлось с Васянским, который узнал в ней известную в городе авантюристку. Дама заявила, что в свое время ее муж передал Канту дюжину серебряных ложек и золотые вещи, если их уже нет, то она удовлетворится денежной компенсацией. Васянский послал за полицией и отпустил вымогательницу лишь после ее обещания никогда больше не появляться в этом доме.

Другой незнакомке удалось-таки незамеченной проникнуть в кабинет. Кант вскочил из-за стола, готовый оборонять свое имущество. Она спросила, который час. Кант достал часы и, зажав их в кулаке, назвал время. Незнакомка поблагодарила, вышла из комнаты, затем вернулась и сказала, что ее, собственно, послал сосед, имя которого она упомянула; ему нужно правильно поставить часы, пусть господин профессор даст свои на несколько минут, она тотчас же принесет их обратно. Кант поднял крик, и дама быстро ретировалась. Если бы дело дошло до потасовки, комментирует этот случай Васянский, исход был бы не в пользу философа, впервые в жизни победу над ним могла одержать женщина.

Поток писем иссяк. Друзья знали о состоянии Канта. Дольше других писал Кизеветтер. Писал уже не столько о философских материях, сколько о репе из Тельтова, которая пришлась по вкусу Канту и которой Кизеветтер регулярно его снабжал. Репа — главная тема их последней переписки. В ноябре 1801 года, посылая очередной бочонок репы, Кизеветтер уже не обращается к Канту, а лишь сообщает в сопроводительной записке, кому предназначена посылка. К августу 1801 года относится последнее письмо, написанное рукой Канта, — фраза благодарности Виллеру (тому самому, которому Бонапарт дал четыре часа на изложение кантианства) за присылку двухтомного труда по трансцендентальной философии. Прощение об отставке составлено чужой рукой, Канту принадлежит только подпись. Чужая рука пишет под его диктовку: «Мои силы убывают с каждым днем, мои мускулы слабеют; хотя я никогда в жизни ничем не болел и сейчас не болен, в течение двух лет я не выхожу из дома». Это апрель 1802 года. Письмо к мужу племянницы, который дал о себе знать знаменитому родственнику.

Канту трудно ходить без посторонней помощи. При нем постоянно кто-то должен находиться. Теперь в его доме живет младшая сестра Барбара (брата уже нет в живых). Иногда он присаживается к столу. Дрожащая рука выводит отдельные фразы: «Трансцендентальная философия представляет собой совокупность принципов разума, априори объединенных в систему... Непрерывная бессонница... Согласно субъективным принципам боль в животе никак иначе нельзя себе представить кроме как субъективную. Отдаться явлениям звездного неба. Что они? Только явление или действительность?»

Кауфман помогает хозяину вести нечто вроде дневника. В специальной тетради он ставит дату, записывает, что будет на обед, кто приглашен (за обеденным столом по-прежнему два гостя). Среди этих записей попадаются иногда и пометки Канта: «В пятницу (послезавтра) 22-го я вступаю в мой 80-й год, по поводу чего меня любезно навелят мои добрые друзья И. К.». Это апрель 1803 года.

В назначенный день к праздничному обеду собрались приглашенные. Однако Канту за столом стало плохо. Шум беседы, которую старались вести как можно тише, все же оглушил его.

«Он пришел по-настоящему в себя только в кабинете, когда переодетый остался наедине со мной, — рассказывает Васянский, — и стал говорить о подарках, которые надо сделать домашним. Кант не мог радоваться, если не радовались вокруг него. Я решил уйти и попрощался с ним обычным образом. Он всегда был против всего торжественного и необычного, против всяких поздравлений, особенно исполненных пафоса, находя его пустым и смешным. На этот раз за мои усилия в устройстве праздника он стал благодарить столь чрезмерным образом и в таких выражениях, которые явно свидетельствовали о его упадке».

В октябре состояние Канта ухудшилось. Впервые в жизни он провел несколько дней в постели. Наступило улучшение, и снова приглашались гости к обеду, который теперь проходил в полном молчании. Кант наспех проглатывал свою порцию и сразу же укладывался в постель. Иногда засыпал. Вечером им овладевало беспокойство. Ночью мучили кошмары. Кауфман спал с ним в одной комнате.

15 декабря в дневнике сделана последняя запись. Читать Кант не мог уже с осени. Теперь он почти оглох. Не узнавал сестру, реже — Кауфмана. 3 февраля 1804 года он перестал принимать пищу. Сидел за столом с гостями и не мог есть.

* * *

Платон оставил потрясающее деталями описание смерти своего учителя Сократа. Казнь как медицинская процедура. Выпей яд и ходи до тех пор, пока не отяжелеют ноги. Затем приляг; когда холод подступит к сердцу, тогда и конец. Сократ, оклеветанный, ложно обвиненный в неверии и развращении молодежи, казалось, спровоцировал смертный себе приговор и отказался от побега, который подготовили его друзья. Он умер в полном сознании и самообладании. Хотел ли он бросить вызов своим согражданам, не принявшим его заповедей? Призыв к грядущим поколениям помнить о совести? Человечество два с половиной тысячелетия ломает голову над загадкой его смерти.

Смерть Канта ясна, как и его жизнь. Исполненный долг. Увядание. Кончина. Подробности просты. Субботу 11 февраля Васянский весь день провел у постели умирающего. «Я спросил его, узнает ли он меня. Он не мог ответить и лишь протянул губы для поцелуя. Я был потрясен: он тянулся ко мне своими бледными губами. Это было прощанье и благодарность за многолетнюю дружбу и помощь. Я ни разу не видел, чтобы он целовал кого-либо из своих друзей». Васянский больше не уходил. В комнате находилась сестра Канта и его племянник.

Агония длилась сутки. В час ночи он очнулся, выпил несколько глотков подслащенного вина с водой. Сказал: «Хорошо». И снова впал в беспамятство. Сознание больше к нему не возвращалось. К утру побледнел и одеревенел. Взор угас, хотя глаза оставались открытыми. Пульс прощупывался только на левом бедре. Васянскому пришлось стоять на коленях, чтобы не отпускать руки от того места, где еще теплилась жизнь. Дыхание слабело. Задрожала верхняя губа, и дыхание исчезло. Несколько секунд бился еще пульс, все слабее, реже и пропал совсем. Было 11 часов 12 февраля 1804 года. Кант умер.

* * *

Еще в 1799 году он распорядился относительно собственных похорон. Просил, чтобы состоялись они на третий день после кончины и были по возможности скромными: пусть присутствуют только его близкие и друзья, а тело предадут земле на обычном кладбище.

Получилось иначе. С Кантом прощался весь город. Доступ к покойному продолжался шестнадцать дней. Держались сильные морозы, и в нетопленной гостиной останки философа, который еще при жизни почти превратился в скелет, могли противостоять тленю. Гроб несли 24 студента, за гробом шел строем весь офицерский корпус гарнизона и тысячи сограждан. Сенат университета встретил похоронную процессию у собора, где прозвучали слова последнего прощанья. Священника не было.

Похоронили Канта в профессорском склепе, примыкавшем к собору с северной стороны. Это была старинная пристройка, которая уже через несколько лет пришла в полную ветхость. В 1809 году ее снесли и на ее месте соорудили прогулочную галерею, получившую название «Стоя кантиана». В конце галереи находилась могила Канта, над которой теперь установили его бюст и высекли двестише:

Здесь увековечен достойно великий учитель, Юноша, думай о том, как обессмертить себя!

«Стоя кантиана» просуществовала лишь до конца XIX века. В 80-х годах над могилой философа возвели часовню в псевдоготическом стиле. Но и она оказалась недолговечной. В 1924 году мемориал Канта был снова перестроен и приобрел наконец тот вид, который имеет сегодня. Строгие прямоугольные колонны несут портик. Внизу под ним на каменных плитах — каменный гроб. На стене надпись:

IMMANUEL KANT 1724—1804

Могила Канта — единственное сооружение в центре современного Калининграда, чудом пережившее вторую мировую войну. Ныне остров, окаймленный с двух сторон рекой, полностью очищен от развалин. Высятся лишь руина собора, к которой примыкает кантовский мемориал. 22 апреля 1974 года, когда исполнилось 250 лет со дня рождения Канта, сюда пришли философы, приехавшие из разных городов страны, и принесли живые цветы...

Юбилей широко отмечался в Советском Союзе. В Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Минске, Калининграде прошли научные конференции, посвященные философии Канта. Увидели свет монографии В. Ф. Асмуса и Г. В. Тевзадзе, был издан ряд других индивидуальных и коллективных работ. Журнал «Коммунист» писал в связи с юбилеем: «Иммануил Кант принадлежит к числу тех мыслителей, имена которых знаменуют начало идейных движений, имевших историческое значение. От него ведет свое происхождение немецкая классическая философия — один из источников марксизма. В немецкой классической философии новый, буржуазный мир, пришедший на смену феодализму, «выговорился» до конца, сказав все что мог в обоснование своей прогрессивной роли в развитии человечества и ясно обнаружив свою историческую ограниченность, противоречивость и непоследовательность. Пожалуй, ярче всего отразились они именно у Канта. Тем не менее он смог, отозвавшись на запросы своего времени, так поставить и определенным образом решить ряд важных проблем, что это на многие годы определило развитие европейской философской мысли»

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Человек умирает, мысль остается. Бессмертие философа в том, что он смог, что успел сказать, что было услышано. Бессмертие не имеет прописки, бессмертие интернационально.

Вместо эпилога вниманию читателя предлагаются три этюда о связях Канта с русской культурой. Один посвящен забытому прижизненному эпизоду, два других — эпизодам из русского бессмертия Канта. Все вместе поможет подвести итог.

Работая над перепиской Канта, встретил я незнакомое имя — Белосельский. Заглянул в справочники. В БСЭ, в «Философской энциклопедии» и в «Краткой литературной» — ни слова. Из «Русского биографического словаря» (1908, Спб.) почерпнул следующие сведения.

Князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский (1752—1808) был образованнейшим человеком своего времени, состоял членом Петербургской академии наук, Российской академии словесности, Академии художеств, Академии древностей в Касселе, Академии словесности в Нанси, Болонского института. Белосельского знали как дипломата и поэта. Он был посланником в Дрездене и Турине. Писал главным образом по-французски. На русском языке (в сотрудничестве с Державиным) его перу принадлежит текст оперы «Олинька или первоначальная любовь». О философских заслугах Белосельского справочники молчат.

Между тем именно на них обращает внимание Кант. В наброске письма Белосельскому он говорит: «Вашему сиятельству суждено было разработать то, над чем я трудился в течение ряда лет, — метафизическое определение границ познавательных способностей человека, но только с другой, а именно, с антропологической стороны».

Мы знаем, что Кант не был льстецом, а в эпистолярном жанре не отличался прилежанием. Мы помним, как не откликнулся он на приглашение королевы Луизы. Как не ответил он математику Ламберту, который направил ему свои соображения о философском методе с просьбой дать им оценку. Готовя ответ Белосельскому, Кант извел лист бумаги на черновик, где тщательно оттачивались формулировки. Что бы это все значило?

Добираюсь до тринадцатого тома Полного собрания сочинений Канта, где содержатся комментарии к его переписке. Оказывается, Белосельский прислал Канту свой написанный по-французски и изданный в 1790 году в Дрездене трактат «Дианиология, или Философская схема мышления». («Дианойя», или в другом прочтении «дианийя», по-гречески — «ум», «размышление».)

Теперь оставалось найти сам трактат, понравившийся Канту. Это оказалось несложно. Звонок в Ленинскую библиотеку, через четверть часа ответ: книга есть, правда, второе издание. Лондон, 1791. Сообщают шифр. И даже выдают книгу на дом. Выдали, конечно, по ошибке: книга редчайшая. Но пока суд да дело, сняты ксерокопии, и уже идет работа над переводом. Потом в Музее книги обнаружилось и первое, дрезденское издание. И даже немецкий перевод, изданный в 1791 году во Фрейберге. (Есть сведения, что «Дианиология» публиковалась в свое время также на английском и итальянском языках.)

При переводе на русский пришлось учитывать два обстоятельства. Прежде всего необходимо было дать адекватную философскую терминологию, без которой сочинение Белосельского легко превращается в абракадабру. Другая проблема — стилистика. Французский язык со времен «Дианиологии» не претерпел тех изменений, которые произошли в нашем. Поэтому Белосельского надо переводить современным русским языком, как переводят, скажем, Ларошфуко. Кстати, именно у последнего Белосельский учился краткости, выразительности, изяществу. Во вступлении к своему трактату Белосельский приводит три редакции 65-го афоризма Ларошфуко. Первоначально текст занимает полстраницы, затем автор сокращает его, а в третьем варианте остается одна фраза: «Нет недостатка в похвалах осмотрительности, однако она не может оградить нас даже от самого ничтожного случая». Параграфы «Дианиологии» также сжаты до предела.

Для вящей наглядности Белосельский сопровождает свои рассуждения схемой. Текст трактата, по сути дела, комментарии к ней. Представьте себе пять концентрических окружностей, каждая изображает познавательную способность. В центре — «инертная неопределенность», представляющая собой лишь потенцию познания. Низшая сфера познания — животная «тупость», где господствуют чувства и инстинкт. Далее, «сфера простоты или суждения», здесь руководствуются здравым смыслом и интуицией. Затем «сфера рассудка», отличительные черты которой — ясность, последовательность, упорядоченность. Выше расположена «сфера прозорливости или трансценденции», ее особенность — познание предмета как целого. Это сфера философии. Здесь видят сразу множество опосредований. Комментируя этот раздел, Белосельский говорит об игре как школе, где тренируются творческие силы. И наконец, «сфера духа» — область творческого воображения, гения. Дух — вершина познания, он «показывает больше, чем ожидают увидеть», он — враг «застоя и пределов», единственный предел для него — сама жизнь: воображение должно оперировать только реальным материалом, не фантомами, иначе на своих крыльях (выразительно изображенных на схеме) оно может легко унести в «пространства вымыслов». Между познавательными «сферами» Белосельский располагает «пространства ошибок», как бы указывая на рубеж, за которым познание превращается в свою противоположность. «Сферы» — узенькие полоски, «пространства» — довольно широкие полосы, автор явно убежден, что ошибки, безрассудство и глупость в человеческом мире превосходят по размеру способности умножать и усваивать знания.

Кант увидел в схеме Белосельского все те познавательные способности, которые описаны в «Критике чистого разума». Был ли Белосельский знаком с этим произведением? В какой мере вообще духовное влияние Канта было его уделом? Сказать трудно. Прочитав впервые «Дианиологию», я невольно представил себе русского дипломата учеником Кенигсбергского философа, посылающим на отзыв учителю плоды своих раздумий над его трудами. Как заманчиво было это предположение! Тем более что в одной немецкой книге (К. Ставенхаген. «Кант и Кенигсберг») встретилось упоминание о Белосельском как о русском студенте Канта. Но исследователь, как следователь, должен отдавать себе полный отчет в достоверности выдвигаемой им версии. В опубликованных матрикулах Кенигсбергского университета той поры имя Белосельского не значится. Может быть, русский аристократ был вольнослушателем? Нет никаких достоверных свидетельств о его пребывании в городе Канта. Нет данных и о знакомстве с трудами Канта. Формирование философских взглядов Белосельского происходило под влиянием французских энциклопедистов — Даламбера, Вольтера, Руссо, Монтескье, Кондильяка, имена которых мы встречаем на страницах «Дианиологии». (Имя Канта не упоминается ни разу.)

Помимо колоссальной разницы в основательности разработки затронутых проблем, есть между Белосельским и Кантом одно принципиальное отличие в самом подходе к делу. Для Канта перечисленные способности присущи познанию как таковому, в той или иной степени любому человеку. Для Белосельского каждая отмеченная им «сфера» — своего рода разряд, в который природа зачисляет человека, в пределах которого он может себя совершенствовать, но за рамки которого он выпрыгнуть не может. Белосельский видит социальное неравенство и не одобряет его, неравенство способностей он считает естественным и непреодолимым. Человеку остается лишь правильно определить свою принадлежность к той или иной сфере и развивать способность, данную ему от рождения.

Белосельский приложил к своему трактату еще одну схему, в которой дал «дианиологическую» классификацию некоторых знаменитостей, распределив их по четырем своим интеллектуальным «сферам». Аргументами он себя не утруждал. Можно лишь гадать, почему в «сфере суждения» наряду с философом Эпиктетом и художником Дюрером оказалась мадам де Помпадур. В «сфере рассудка» мы видим Людовика XIV, Лютера, Пуссена, Эпикура, Юма. В «сфере прозорливости» — Кромвеля, Кальвина, Локка, Паскаля. В «сфере духа» — Петра I, Фридриха II, Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Шекспира, Платона, Декарта, Руссо. Здесь трактат Белосельского опускается до уровня светской беседы — занимательной, но необязательной.

В творчестве Белосельского «Дианиология» не случайная вещь. Не могу сказать, что я досконально изучил его (хотя оно, безусловно, того заслуживает), но кое-что все же узнал и даже добрался до некоторых неопубликованных произведений. В рукописном «Диалоге на смерть и на жизнь» Белосельский говорит о пользе игры, сравнивает дарование игрока с разумом математика и ссылается при этом на «Дианиологию». В конце диалога — изречение, созвучное пафосу трактата: «Наслаждайтесь всем досыта, но не до усталости». Мудрый, уравновешенный человек был Александр Михайлович Белосельский. А вот афоризм, перекликающийся с идеей о неизменности людской природы: «Гора переменила свое место — верь, ежели угодно. Человек переменил свой нрав — не верь!» Все это хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Там же находится один документ, имеющий уже прямое отношение к биографии Канта.

Как разворачивались дальнейшие поиски? Есть о Белосельском две работы. Русская — А. А. Верещагин. «Московский Аполлон». Петроград, 1916 (тираж 300 экземпляров!); и французская — А. Мазон. «Двое русских — французские писатели». Париж, 1964. Верещагин описывает альбом «московского Аполлона», как называли Бело-сельского современники. Он был «любимцем муз», знатоком живописи и музыки, сочинял стихи — французские и русские, мы находим их в альбоме. Рядом — письма Вольтера, Мармонтеля и других знаменитостей, автографы Екатерины II и Павла I. Попутно Верещагин рассказывает о жизни владельца альбома. Он с похвалой отзывается о дипломатических донесениях князя из Турина, содержащих объективный анализ революционных событий во Франции, что, впрочем, повлекло недовольство императрицы и послужило причиной отозвания его на родину. Журит Верещагин Белосельского за фривольную «Олиньку», постановка которой вызвала скандал, чуть было не закончившийся бедой для автора. О «Дианиологии» Верещагин упоминает мимоходом и притом крайне пренебрежительно. По его мнению, это «философский сумбур».

Мазон оперирует более обширным кругом источников, чем Верещагин. Он привлек архивные материалы и впервые опубликовал ряд неизвестных французских произведений Белосельского. Интересны сообщаемые им сведения о воспитателе молодого князя. Это был француз Тьебо, юрист и писатель, член Берлинской академии наук, впоследствии якобинец. Что касается «Дианиологии», то Мазон пересказывает ее содержание, но, ссылаясь на Верещагина, оценивает ее невысоко.

Мы все же доверимся Канту. После известной нам общей восторженной характеристики трактата в черновике письма следует разбор схемы познания, принадлежащей Белосельскому. Сначала Кант буквально повторяет то, что написано в «Дианиологии». Но затем идут уточнения и отклонения. И текст обрывается. К какому выводу пришел Кант? На чем он остановился? Самого письма в Полном собрании сочинений нет. Может быть, оно вообще не было отправлено?

Не будем спешить с выводами. Заглянем снова в книгу Мазона. В приложениях к ней опубликованы интересные материалы о подготовке несостоявшегося русского издания «Дианиологии» («Умословия»!). Сохранилась часть перевода, титульный лист с цензорским разрешением от 3.1.1795 года, предисловие переводчика. Как курьез, Мазон воспроизвел включенный в предисловие перевод письма Канта Белосельскому. Он полагал, что это мистификация, дело рук какого-нибудь льстеца из окружения князя. Мазон усомнился в подлинности письма, ибо в архиве князя ему не удалось обнаружить немецкого оригинала, и он «не нашел его следов в Германии». К тому же перевод письма кем-то перечеркнут.

Скептицизм — полезная вещь для историка, но только при соблюдении одного правила: любое сомнение поверяй сомнением же, семь раз проверь! Мазон поспешил с негативной оценкой «Дианиологии». Мазон плохо искал «следы» письма Канта в Германии. (Достаточно было заглянуть в Полное собрание сочинений, чтобы увидеть черновик, начальные фразы которого совпадают с окончательным вариантом.) Мазон, как я убедился впоследствии, неточно воспроизвел хранящийся в архиве перевод.

Под публикацией Мазона стоит ссылка на архив Литературного музея. Там меня ждало разочарование: ничего подобного нет и никогда не было. В Театральном музее когда-то хранился фонд княгини Зинаиды Волконской (дочери А. М. Белосельского), где находятся интересующие меня материалы. Теперь это все в ЦГАЛИ — фонд 172, опись 1, единица хранения 153. Открываю папку, и на вкладыше, где расписываются читатели, вижу отметку: «Для Мазона». Это значит, что французский славист сам с текстом не работал, для него сняли машинописную копию, причем сделали это небрежно — с пропусками и ошибками, затрудняющими понимание и без того неудобочитаемого текста. Есть в публикации Мазона многоточие, в подлиннике на этом месте большая клякса. Беру лупу и вижу *le bon sens* (здравый смысл). Француз здесь не встал бы в тупик. Перевод письма Канта действительно перечеркнут. Иначе с ним обойтись было нельзя: он выполнен ужасно, некоторые слова перевраны до неузнаваемости. Только немецкий черновик позволяет понять их смысл. Заглядывая в черновик, вспоминая, что мне приходилось встречать в других местах у Канта, я выправляю перевод. В результате возникает следующая реконструкция, публикуемая здесь впервые.

КАНТ - БЕЛОСЕЛЬСКОМУ

«Дианиология» — драгоценный подарок, который Вашему Сиятельству угодно было преподнести мне прошлым летом, — благополучно попала в мои руки. Два экземпляра книги я передал лицам, способным оценить ее достоинства. Все истекшее время я думал о том, чтобы выразить свою признательную благодарность Вашему сиятельству, но различного рода обстоятельства препятствовали этому. К тому же мне хотелось кое-что сказать о том поучительном уроке, который я извлек для себя, чего я коснусь лишь в самых общих чертах.

Чтобы изобразить по школьным канонам Ваше замысловатое разделение познавательных способностей и усвоить с пользой Ваши понятия, я представляю себе две *страны* или области, отдаленные друг от друга (наши врожденные предрасположения, наша природная метафизика). Страна рассудка в широком значении этого слова есть способность мыслить, страна созерцания есть простая способность чувствовать, воспринимать.

Первая из этих стран состоит из трех сфер. Первая сфера — сфера *рассудка* или способности понимать, создавать понятия, объединять созерцания. Вторая представляет собой сферу *суждения* или способности применять понятия к частным случаям *in concrete*, то есть приводить в соответствие с правилами рассудка, и это составляет собственно ум, *le bon sens*. Третья есть сфера *разума* или способности выводить частное из всеобщего, то есть мыслить по основоположениям.

Если эти три умственные способности первой страны будут употреблены по аналогии с высшим законодательством разума, направленным на истинное завершение человека, и создадут систему, целью которой является мудрость, то они составят *сферу философии*. А если приведут себя в соответствие с низшей способностью (простым созерцанием), а именно с самой существенной ее частью, которая представляет собой творчество и состоит в воображении (не поработавшая себя при этом законами, а отдаваясь стремлению черпать из самих себя, как это имеет место в изящных искусствах), то они составят особую сферу *гения*, что равнозначно слову «дар», «творец».

Таким образом, я могу обнаружить пять сфер.

Если, наконец, воображение уничтожает себя произвольным своим действием, оно вырождается в обычное помрачение или расстройство ума; когда оно не повинуется больше разуму, да еще силится поработить его, человек выпадает из сословия (сферы) человечества, низвергаясь в сферу безрассудства или безумия.

Прошу Ваше Сиятельство проявить снисходительность к этим незрелым моим мыслям. Они приведены здесь в подтверждение того, что я размышлял над содержанием Вашего глубокомысленного сочинения.

Остаюсь и проч.».

Сопоставляя окончательный вариант письма с первоначальным наброском, мы видим, что философ несколько умерил пыл своих похвал. В текст письма не попал тот панегирик Белосельскому, который мы цитировали выше. Но разговор идет на равных. И надо признать: без помощи Канта оценить подлинные достоинства «Дианиологии» трудно, может быть, невозможно. Пример тому Верещагин и Мазон.

Но значение письма Канта не только в этом. Перед нами предельно сжатая итоговая характеристика философского учения Канта, начертанная рукой автора. Суть дела нам уже знакома. Рассудок, способность суждения, разум — три способности мышления, три кита, на которых держится мир философии, приведенный в систему. Рассудок — основа науки, он формирует понятия. Способность суждения пользуется ими в конкретных случаях жизни и деятельности. Первоначально Кант понимал способность суждения предельно узко, но затем она превратилась у него в центральное звено системы, порождающее искусство и культуру. Разум — контрольная инстанция, направляющая рассудок, ограждающая его от ошибок, это сфера нравственности, практического осуществления философских принципов.

Трехчленная структура философии не изобретение Канта. Истина, красота и добро — триада, восходящая к Сократу. Кант лишь всесторонне исследовал эти понятия — и в их разобщенности, и в их противоречивой связи. Кантовским трем «Критикам» соответствует идея Маркса о трех видах освоения мира — теоретическом, практическом и практически-духовном. Ни один из них не «снимает» другого. Они рядоположены, как в системе Канта. Примат — за практикой.

Между Кантом и Марксом — Фихте, Шеллинг, Гегель. Корифеи диалектики, фундамент которой заложил Кант. Но Канту принадлежит не только «нулевой цикл». Есть нити, непосредственно протянувшиеся от родоначальника немецкой классической философии к современной науке. Такова идея синтеза чувственности и рассудка на основе продуктивного воображения — в гносеологии. Таково акцентирование высокой роли долга — в этике. Таков анализ красоты — в эстетике. Таков проект вечного мира — в теории международных отношений.

Пафос философии Канта — творчество. На нем замыкаются все духовные потенции человека. Но обратите внимание, как обеспокоен Кант, чтобы творческое воображение не выпрыгнуло за пределы реального и разумного. Ум человеческий, здравый смысл должен стоять на страже. После Канта будут предприняты попытки дискредитировать понятие здравого смысла. (Русские переводчики Гегеля придумают даже уничижительный вариант термина — «обыденное сознание».) Для Канта здравый смысл — гарант безопасности, ориентир не хуже веры. А вся философия представляет собой своеобразную поправку науки к здравому смыслу и одновременно коррекцию здравым смыслом научных достижений.

* * *

Теперь нам пора вернуться к мнимому поединку Достоевского с Кантом. Голосовкер уверяет, что «Достоевский против Канта». Он ошибается, он явно спутал Канта с кем-то другим. Может быть, с Гегелем, о котором Достоевский всегда судил строго. «Гегель, немецкий клоп, хотел все примирить на философии», — Достоевского возмущала мысль обрести истину в какой-либо отвлеченной системе знаний. Гегелевскому афоризму «все действительное разумно», концепции разума в истории он противопоставил не менее решительный тезис: «Все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать — что благоразумно. На первом слове поперхнетесь». Гегель предоставил мировому духу (который вселяется в великих людей) право «растоптать иной невинный цветок». В романе «Преступление и наказание» показано, что из этого может приключиться.

С Кантом иное дело. Конечно, если бы на глаза Достоевского попали бы его «докритические» рассуждения о фатальном оптимизме, Канту не поздоровилось бы. Вспомним «бунт» против бога Ивана Карамазова, который рассказывает о восьмилетнем мальчике, затравленном собаками. «Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками». Молодой Кант, мы помним, выступал в роли такого «шутника».

Но Достоевский скорее всего этого не знал. Он в лучшем случае прочитал «Критику чистого разума». А идеи зрелого Канта к нему приходили, как давно уже подмечено, обходным путем через Шиллера, которым он восхищался.

В наши дни об этом написал Н. Вильмонт в работе, которая так и называется «Достоевский и Шиллер». Есть там кое-что и о Канте и прежде всего справедливое несогласие с выкладками Голосовкера. Если отвлечься от характеристики философии Канта как «мещански-эклетиической» и рассуждений о каком-то «глубоко антигуманистическом убеждении Достоевского», если простить литературоведу неадекватное воспроизведение некоторых философских идей, то в целом работа Вильмонта заслуживает одобрения, так как доказательно вводит русского писателя в круг идей немецкого гуманизма. Удивляет, впрочем, конечный вывод — решительное отрицание (на мой взгляд, непреложного) факта, «что Кант и Достоевский — единомышленники».

В чем я вижу единство мышления Канта и Достоевского? Они сходились в главном — в концепции свободной личности. Взгляды Канта нам известны: свобода есть следование долгу, а формула долга — счастье других. Послушаем теперь Достоевского: «Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже в гораздо высочайшей степени, чем та, которая определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить собственный живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего и не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие были точно такими же самоправными и счастливыми личностями».

У Достоевского, как подметил Н. Бердяев, было «исступленное чувство личности». Писатель не штудировал параграфы кантовских «Критик», однако не только «обходным», а и прямым путем приходило к нему главное у Канта. Они пили из одного источника, имя которому Новый завет. Они сходились в понимании христианской этики.

Христианство неоднородно. Достоевский (как и Кант) отверг католический вариант, увидев в нем лжеслужение богу. Кант стоял в оппозиции к ортодоксальному протестантизму, официальное православие относилось с недоверием к Достоевскому. Они сходились в своей неортодоксии.

Религия Христа и для Канта и для Достоевского — воплощение высшего нравственного идеала личности. Об этом говорится на страницах этических работ Канта. Философский шедевр Достоевского «Легенда о Великом инквизиторе» трактует ту же проблему, добавляя к ней новые штрихи, неведомые Канту.

Сюжет восходит к средневековью. Если бы Христос сошел снова на землю, говорили противники Ватикана, католики предали бы и распяли его. Иван Карамазов фантазирует на эту тему: XVI век. Севилья. Накануне в присутствии короля и придворных при стечении народа сожгли разом сотню еретиков. Он появляется тихо, незаметно, но толпа сразу узнает его.

Узнает и Великий инквизитор, кардинал — палач и теоретик палачества. Приказывает арестовать, а затем в темнице держит перед ним обвинительную речь-исповедь. Он обвиняет пришельца в том, что, возвестив свободу, тот сделал людей несчастными, ибо ничего и никогда не было для человека невыносимее свободы.

Инквизитор напоминает Христу, как в пустыне искушал его дьявол: обрати камни в хлебы. Поступи он так, побежало бы за ним человечество, как благодарное и послушное стадо. «Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же это свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами... Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество устами своей премудрости и науки провозгласит, что преступления нет, и, стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с нас добродетели!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой... Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным?»

За хлебом небесным пойдут тысячи и десятки тысяч. А как быть с миллионами и десятками миллионов, которые не в силах пренебречь хлебом земным для небесного? Палач уверяет (а может быть, и искренне верит), что ему дороги слабые. Пусть они порочны и бунтовщики, но под конец именно они станут послушными. «Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что, став во главе их, мы согласились выносить свободу и над ними господствовать — так ужасно под конец им станет быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы обманем опять, ибо тебя уже не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать».

Для Достоевского, как и для Канта, ложь — тяжелейший грех. Лгать нельзя, даже «из человеколюбия». В первую очередь — самому себе. Ложь — мать всех пороков. Ложь рождает страх. Если вы задумались над вопросом, что делать, то для начала не лгите!

Великий инквизитор упрекает Христа за то, что он не ответил на вековую тоску человечества по объекту поклонения. «Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но человек ищет преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно *все вместе*. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и звали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами...»

Нет у человека заботы мучительнее, повторяет Христу инквизитор, чем найти того, кому бы поскорее передать свою свободу. «Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя — о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, кто обольстит его совесть... Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья, — эти три силы: чудо, тайна, авторитет».

Христос отверг все эти три искушения дьявола. Он отказался сотворить чудо — превратить в хлеб камни пустыни, овладеть тайной — броситься вниз с кровли храма, чтобы ангелы подхватили его и понесли, отказался от высшего авторитета — власти над царствами земными. Вера не нуждается в доказательствах, так толкует эту евангельскую притчу Достоевский. «В вере никакие доказательства не помогают», — подсказывает Ивану Карамазову «черт», его больная совесть. «Доказать тут нельзя ничего, — настаивает старец Зосима, но добавляет, — а убедиться можно... Опытom деятельной любви. Постарайтесь любить ваших близких деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души вашей».

Ход рассуждений знаком нам и по «Критике чистого разума», и по трактату «Религия в пределах только разума». Кант отверг логические доказательства бытия бога, отверг традиционные устои веры — чудо, тайну и благодать, исходящие от высшего авторитета. К осознанию любви как нравственно формирующего фактора Кант пришел на последнем отрезке своего философского пути. Достоевский — где-то в начале. На Семеновском ли плацу в

ожидании расстрела, когда жить «оставалось не более минуты»? Кант в результате пережитой им нравственной революции научился уважать людей, Достоевский — любить их. Не только всех скопом, все человечество, но и отдельных людей, тех, что рядом. Последнее, как ни странно, особенно трудно.

«Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого: чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству и, быть может, действительно пошел бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось, а между тем я и двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уже его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть: одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще». Такова, по Достоевскому, исповедь извращенного гуманистического сознания.

Великий инквизитор тоже по-своему любит людей, И он знает их слабые стороны. Человек ищет не столько бога, сколько чудес, убеждает он Христа. «И так как оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником... Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки... О, мы убедим их, что они тогда только станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя».

Перед глазами Великого инквизитора встает заманчивая перспектива «нового порядка», где миллионные массы людей, лишенных свободы, будут радостно гнуть спину на благо правящей элиты. «Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы позволим им грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет прощен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же грешить потому, что любим их, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. А нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить и с их женами или любовницами, иметь или не иметь детей — всё судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят разрешению нашему, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного».

Достоевскому открылись социально-психологические глубины, неведомые Канту. Это не удивительно: между «Критикой чистого разума» и «Братьями Карамазовыми» промежуток ровно в сто лет, а Достоевский заглядывал вперед по крайней мере на полвека. Он имел в виду католицизм, но предвидел социальную мифологию XX века, освобождающую человека от химеры-совести, перелагающую на фюрера всю полноту ответственности, разрешающую мелкие грешки в пределах общего культа аскетического самопожертвования. Кант еще убежден, что христианство покончило с ветхозаветным авторитаризмом. Достоевский видит: возникла реальная угроза идее свободной личности.

Католицизму и секуляризованной ветхозаветной проповеди Достоевский противопоставляет православие, имея в виду не официальный культ, не мистическую веру, а олицетворенное человеколюбие. Православие для Достоевского — судьба русского народа, который «всегда страдал как Христос». Распятый Иисус — образ России, тех, кто в ней обездолен, унижен, затравлен. С ними сердце и ум Достоевского.

Если не различать официальную церковь и православие Достоевского, то увидеть близость Достоевского Канту невозможно. «Мерзавцы дразнили меня необразованною и

ретроградно верую в бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание бога, какое положено в «Инквизиторе» и в предшествующей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в бога». Религия для Достоевского «есть только формула нравственности». Хотя в отличие от Канта он считает, что «нравственность исходит из религии». И кантовскому изречению «Страшен бог без морали» как бы противопоставляет свое: «Совість без бога есть ужас».

* * *

В сочинениях Л. Н. Толстого имя Канта не редкость. Писатель изучал философа в подлинниках и в переложениях, чем ближе к старости, тем основательнее. Иногда полемизировал с ним, чаще старался опереться. В конце жизни пришел к выводу, что они полные единомышленники, всегда, однако, сетовал на труднодоступность Канта.

Их первая серьезная встреча произошла по поводу «Войны и мира». Задумав роман-эпопею, Толстой решил положить в его основу четкую философию истории. За помощью пришлось обратиться к истории философии. Мимо «Критики чистого разума» пройти было немислимо. Однако Кант в сознании Толстого слился с Шопенгауэром. «Я читал Канта, — вспоминал он впоследствии, — и почти ничего не понял, и понял его только тогда, когда стал читать и особенно перечитывать Шопенгауэра, которым одно время очень увлекался».

Главные категории философии истории — причинность, свобода, необходимость. Почему случилось так, а не иначе, задается вопросом историк. Ответ Толстого: «Почему происходит война или революция? мы не знаем; мы знаем только, что для совершения того или другого действия люди складываются в известное соединение и участвуют все; и мы говорим, что это так есть, потому что немислимо иначе, что это закон».

Значит ли это, что Толстой фаталист, что он отрицает свободу воли? Отнюдь нет. «Представить себе человека, не имеющего свободы, нельзя иначе как лишенным жизни». Если нет свободы, то человек не отвечает за свои поступки, нет греха, нет преступления. Но свобода, по Толстому, существует рядом с необходимостью, отдельно от нее. В своих личных поступках человек свободен, но в делах истории он — игрушка слепой необходимости, не поддающейся ни контролю, ни осознанию. «Какое бы мы ни рассматривали представление о деятельности многих людей или одного человека, мы понимаем ее не иначе, как произведение отчасти свободы человека, отчасти законов необходимости». Одно противостоит другому. Диалектической связи между свободой и необходимостью Толстой не видит. Слова Канта, которыми открывалась статья «Идея всеобщей истории», о том, что закономерность в истории возникает на основе свободных, случайных поступков людей, были написаны не для него. Он их либо не прочитал, либо не оценил.

Открытие Канта Толстым произошло в октябре 1887 года. Как это случилось, мы узнаем из письма к Н. Н. Страхову: «Я в большом волнении. — Я был нездоров простудой эти несколько дней и, не будучи в силах писать, читал и прочел в 1-й раз Критику практического разума Канта. Пожалуйста, ответьте мне: читали ли вы ее? когда? и поразила ли она вас?»

Я лет 25 тому назад поверил этому талантливому пачкуну Шопенгауэру (на днях прочел его биографию русскую и прочел Критику спекулятивного разума, которая есть не что иное, как введение полемическое с Юмом к изложению его основных взглядов в Критике практического разума) и так поверил, что старик заврался, и что центр тяжести его — отрицание. Я и жил 20 лет в таком убеждении, и никогда ничто не навело меня на мысль заглянуть в самую книгу. Ведь такое отношение к Канту все равно, что принять леса вокруг здания за здание. Моя ли это личная ошибка или общая? Мне кажется, что есть тут общая ошибка. Я нарочно посмотрел историю философии Вебера, которая у меня случилась, и увидел, что Г. Вебер не одобряет того основного положения, к которому пришел Кант, что наша свобода, определяемая нравственными законами, и есть вещь сама в себе (т. е. сама жизнь), и видит в нем только повод для элукубраций Фихте, Шеллинга и Гегеля и всю заслугу видит в Критике чистого разума, т. е. не видит совсем храма, который построен на расчищенном месте, а видит только расчищенное место, весьма удобное для гимнастических упражнений. Грот, доктор философии, пишет реферат о свободе воли, цитирует каких-то Рибо и др., определения которых представляют

турнир бессмыслиц и противоречий, а кантовское определение игнорируется, и мы слушаем и толкуем, открывая открытую Америку. Если не случится среди нашего возрождения наук и искусств через выделение жемчуга из навоза, мы так и потонем в нашем нужнике невежественного многокнижия и многозаучивания подряд».

А за несколько дней до этого Толстой писал П. И. Бирюкову: «Я не совсем здоров, кашляю и сижу дома и не могу писать — читаю. Много испытал радости, прочтя в 1-й раз Канта Критику практического разума. Какая страшная судьба этого удивительного сочинения. Это венец всей его глубокой разумной деятельности, и это-то никому не известно. Если вы не прочтете в подлиннике, и я буду жив, переведу или изложу, как умею. — Нет ли биографии Канта в Публичной библиотеке, попросите от меня и пришлите».

Отныне Толстой становится страстным популяризатором кантовской этики. Наряду с Буддой, Конфуцием, Сократом, Христом, Магометом, Руссо, Сковородой Кант для него — учитель человечности. Мысли Канта включает он в знаменитый «Круг чтения» и дважды издает их в виде отдельного сборника. Но внутренняя связь между учением Канта о нравственности и теорией познания ему по-прежнему не видна. Он славит «гениального Канта, поставившего свою этику независимо от своей метафизики».

Работая над трактатом «Что такое искусство?», Толстой заинтересовался эстетикой Канта. К сожалению, судя по всему, знакомство с «Критикой способности суждения» ограничилось лишь чтением одного из немецких пособий по истории эстетики, на которое Толстой и ссылается в тексте трактата. В результате взгляды Канта переданы неадекватно: «красота есть только получаемое нами особого рода бескорыстное наслаждение»; столь важные для немецкого философа связи с истиной и добром оказываются оборванными. Мнимую позицию Канта Толстой подвергает критике, особенно достается «наслаждению», которое в глазах русского писателя является синонимом праздности имущих слоев общества. Искусство, по Толстому, представляет собой средство общения людей между собой, доступное всем.

Но если отвлечься от слов и взглянуть на суть дела, то можно обнаружить нечто общее в эстетических концепциях Толстого и Канта. В черновом наброске «О том, что называют искусством» Толстой сравнивает искусство с игрой, и мы узнаем знакомый ход рассуждений. «Игра — необходимое условие жизни людей, молодых или устраивающих праздник жизни людей, когда есть избыток физических сил, не направленных на материальную деятельность и искусство — необходимое условие жизни взрослых и старых людей, когда силы физические все направлены на труд или силы эти ослабели, как это бывает в болезнях и старости. И то и другое необходимо человеку для отдыха от того круга труда, сна и питания, в котором он вертится со дня своего рождения и до смерти, как и всякое животное, у него всегда были и будут эти два вида забавы — игры и искусства... Искусство есть один из видов забавы, посредством которой человек, не действуя сам, а только отдаваясь получаемым впечатлениям, переживает различные человеческие чувства и этим способом отдыхает от труда жизни». Чем кантовское «бескорыстное наслаждение» отличается от «забавы» Толстого? Судите сами.

В последние годы жизни одна из любимых книг Толстого — «Религия в пределах только разума». В дневниках то и дело встречаются записи: «Читал Канта, восхищался», «Очень хорошо», «Очень близко» и т. д. Все это по поводу кантовской философии религии. Толстому импонирует ее нравственный пафос. Ему близко кантовское понимание бога как любви к людям.

«Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит, мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Так думает герой Толстого князь Андрей Болконский, смертельно раненный в Бородинском сражении и прощающийся с жизнью. Таков ответ русского классика на извечный вопрос философии и искусства о природе человека. Ответ в духе Канта.

Человек умирает, мысль остается. Мысль обретает самостоятельную жизнь. Пробуждает мысль других. Становится достоянием многих. Мысль идет вглубь, взрывая новые пласты бытия, подчиняя их воле и разуму тех, кому жить, кому дерзать, кому нести ответственность.

Бессмертие философа в том, что он успел сказать, что было услышано, понято, подхвачено, осуществлено.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1724, 22 апреля — В Кенигсберге родился Иммануил Кант.

1730 — Поступил в начальную школу.

1732 — Поступил в гимназию.

1737 — Смерть матери.

1740, 24 сентября — Кант зачислен в Кенигсбергский университет.

1746 — Смерть отца.

Началось печатанье работы «Мысли об истинной оценке живых сил». Работа вышла в 1749 году.

1747 — Кант учительствует в семье пастора Андерша (Юдшен близ Гумбинена).

1750 — В семье майора Хюльзена (Арнсдорф близ Остероде). *1753* — В семье графа Кайзерлинга (Раутенбург, округ Тильзит).

1734 — Возвращение в Кенигсберг.

Июнь — «Исследование вопроса, претерпела ли Земля в своем вращении вокруг оси некоторые изменения».

Август — «Вопрос о том, стареет ли Земля с физической точки зрения». *1755, март* — «Всеобщая естественная история и теория неба».

17 апреля — Представлена диссертация «Об огне».

13 мая — Магистерский экзамен.

12 июня — Возведение в ученую степень магистра.

27 сентября — Защита габилитационной диссертации. «Новое освещение первых принципов метафизического познания».

1756, январь — апрель — Две статьи и книга о землетрясении в Лиссабоне.

10 апреля — Защита диссертации на право получения профессуры. «Физическая монадология».

1757, весна — «План лекций по физической географии».

1758, январь (по июль 1762) — Кант — русский подданный.

Весна — «Новая теория движения и покоя».

Декабрь — Кант безуспешно добивается профессуры, освободившейся после смерти Кипке.

14 декабря — Прощение на имя императрицы Елизаветы.

1759, октябрь — «Опыт некоторых рассуждений об оптимизме».

1760, июнь — «Мысли, вызванные кончиной господина Функа».

1762 — «Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма».

Лекции Канта слушает Гердер (до 1764). *Декабрь* — «Единственно возможное основание для доказательства бытия бога».

1763 — «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин».

1764 — «Наблюдения над чувством возвышенного и прекрасного».

«Опыт о болезнях головы».

«Исследование степени ясности естественной теологии и морали»,
1765 — «Уведомление о расписании лекций на зимнее полугодие 1765 г.».

1766, февраль — Кант назначен помощником библиотекаря в королевском замке.

«Грезы духовидца».

1768 — «О первом основании различия сторон в пространстве».

1769 — Приглашение на должность профессора в Эрланген.

1770, январь — Приглашение в Иену.

31 марта — Назначение на должность ординарного профессора логики и метафизики в Кенигсберге.

21 августа — Защита диссертации «О форме и принципах чувственного и интеллигибельного мира».

1771 — Рецензия на сочинение Москати.

1772, 21 февраля — Письмо к М. Герцу с изложением идей «Критики чистого разума».

1772, май — Кант ушел с должности помощника библиотекаря.

1775 — «О различных человеческих расах».

1776—1777 — Две статьи о «Филантропине».

1778 — Министр Цедлиц уговаривает Канта перейти на работу в Галле.

1780 — Кант — член сената Кенигсбергского университета.

1781, май — «Критика чистого разума» вышла в свет.

1783 — «Пролегомены ко всякой будущей метафизике». Рецензия на книгу Шульца «Введение в учение о нравственности».

1784 — Кант покупает собственный дом.

Ноябрь — «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане». Декабрь — «Ответ на вопрос: что такое Просвещение».

1785, январь и ноябрь — Рецензии Канта на книгу Гердера «Идеи к философии истории человечества». Март — «О вулканах на Луне». Апрель — «Основы метафизики нравов». Ноябрь — «Об определении понятия человеческой расы».

1786, январь — «Предполагаемое начало человеческой истории».

Весна — «Метафизические начала естествознания».

Лето — Кант избран ректором университета.

Октябрь — «Что значит ориентироваться в мышлении».

7 декабря — Кант избран членом Берлинской академии наук.

1787, июнь — Второе издание «Критики чистого разума».

31 декабря — Письмо к Рейнгольду с изложением трехчленной структуры философской системы.

1788, январь — «Об употреблении телеологических принципов в философии».

Весна — «Критика практического разума».

Лето — Второй ректорат Канта.

1783 — Канта посещает Карамзин.

1790 — «Критика способности суждения». Третье издание «Критики чистого разума».

- 1791, август — Фихте приехал в Кенигсберг, чтобы познакомиться с Кантом.
- Сентябрь — «О неудаче всех попыток теодицеи».
- 1792, апрель — «Об изначально злом в человеческой природе».
- 1793, весна — «Религия в пределах только разума».
- Сентябрь — «О поговорке: «Может быть, это верно в теории, но не годится для практики»».
- 1794, май — «Нечто о влиянии Луны на погоду».
- Июнь — «Конец всего сущего».
- 28 июля — Избрание в Петербургскую академию наук.
- 12 октября — Кант получил выговор от короля за выступления по вопросам религии.
- 1795 — «К вечному миру».
- 1796 — «Об органе души».
- 23 июня — последняя лекция Канта.
- 1797 — «Метафизика нравов».
- Июль — «Оповещение о скором подписании договора о вечном мире в философии».
- 14 июня — Кенигсбергские студенты отмечают 50-летие литературной деятельности Канта.
- Сентябрь — «О мнимом праве лгать из человеколюбия».
- 1798, 4 апреля — Кант избран членом Академии наук в Сиене (Италия).
- Осень — «Спор факультетов», «Антропология».
- 1799, август — Публичное заявление по поводу наукоучения Фихте.
- 1800 — Последняя опубликованная самостоятельно работа — послесловие к немецко-литовскому словарю. Сентябрь — Иеше издает «Логику» Канта.
- 1801, 14 ноября — Кант просит освободить его от обязанностей члена академического сената.
- 1802 — Ринк издает «Физическую географию» Канта.
- 1803 — Ринк издает «О педагогике» Канта.
- 15 декабря — последняя запись в дневнике.
- 1804, 12 февраля — Кант умер.
- 28 февраля — похороны.
- Май — Ринк издает «Об успехах метафизики в Германии со времени Лейбница и Вольфа».

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Kant I. Gesammelte Schriften. Bd. I—XXIX, B., 1902—

Kant I. Briefwechsel. Hamburg, 1972.

Кант И. Сочинения в шести томах. М., 1963—1966.

В академическом Полном собрании сочинений Канта на языке оригинала издано почти все написанное Кантом или записанное за ним. Ряд писем, не вошедших в Полное собрание сочинений, опубликован в однотомнике переписки, изданном в 1972 году. В шеститомное

Собрание сочинений, выпущенное издательством «Мысль», включены основные сочинения философа, переведенные на русский язык, за исключением следующих работ:

Кант И. Из писем. — «Вопросы философии», М., 1974, № 4,5.

Кант И. Конец всего сущего. — «Философские науки», М., 1973, № 6.

Кант И. Логика, Пг., 1915.

Кант И. I. Об известной поговорке «Это, может быть, верно в теории, но не годится для практики»; II. О мнимом праве лгать из человеколюбия. Спб., 1913 (первая статья вошла в Собрание сочинений).

Кант И. О педагогике. М., 1896.

Кант И. Предполагаемое начало истории человечества. — В кн.: «Родоначальники позитивизма», вып. 1. Спб., 1910.

Кант И. Религия в пределах только разума. М., 1906.

* * *

Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч., т. 3.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., г. 20.

Энгельс Ф., Диалектика природы. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20.

Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Полн. собр. соч., т. 18.

Ленин В. И. Философские тетради. Полн. собр. соч., т. 29.

* * *

Архив Академии наук СССР. Фонд 1, опись 3, дело 72.

Центральный государственный архив древних актов. Фонд 25.

Центральный государственный архив литературы и искусства. Фонд 172, опись 1, дело 153.

* * *

Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М., 1973.

Афасижев М. Н. Эстетика Канта. М., 1975.

Бородай Ю. М. Воображение и теория познания. М., 1968

Геллер И. Личность и жизнь Канта. Пг., 1923.

Долгов К. М. Кант и кризис буржуазного философско-эстетического сознания. — В кн.: «Контекст. 1975». М., 1977.

Критические очерки по философии Канта. Киев, 1975.

Нарский И. С. Кант. М., 1976.

Паульсен Ф. Иммануил Кант. Его жизнь и учение. Спб., 1905.

Тевзадзе Г. Иммануил Кант. Тбилиси, 1974. (На груз. языке; книга содержит изложение текста по-русски.)

Философия Канта и современность. М., 1974.

Фишер К. История новой философии. Т. IV, V. Спб., 1910.

Шульц И. Разъясняющее изложение «Критики чистого разума». М., 1910.

- Cassirer E. Kants Leben und Lehre. Berlin. 1921.
- Eisler R. Kant — Lexikon. Hildesheim, 1961.
- Gause F. Kant und Königsberg. Leer, 1974.
- Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Berlin, 1912.
- Jaspers K. Plato — Augustin — Kant. München, 1961.
- «Kant-Studien». Philosophische Zeitschrift der Kant — Gesellschaft. 1897 — 1fd. Beihefte und Sonderhefte.
- Lehmann G. Beiträge zur Geschichte und Interpretation der Philosophie Kants. Berlin, 1969.
- Ritzel W. Immanuel Kant. Zur Person. Bonn, 1975.
- Stavenhagen K. Kant und Königsberg. Göttingen, 1947.
- Thom M. Immanuel Kant. Leipzig, 1974.
- Vorländer K. Immanuel Kant. Der Mann und sein Werk. Leipzig. 1924.
- Zum Kantverständnis unserer Zeit. Berlin. 1975.